ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 10—11
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 1924

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Главлит 28185. Тираж. 5200 экз.

Типография „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ", Пименовская ул., д. 1|16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—Фихте и Великая Французская Революция 5
И. Вайнштейн.—Г. Лукач и его теория овеществления 23

Г. Тымянский.—Д. Толанд 49

К 100-летию со дня рождения Уильяма Томсона-Кельвина (1824—1924 г.).

П. Орлов.—Научная деятельность Уильяма Томсона (Кельвина). 56
А. Эйнштейн.—К 100-летию со дня рождения лорда Кельвина 62
У. Томсон.—О вихревых атомах 65
Э. Цейтлин.—Вихревая теория материи, ее трактовка и значение 78
А. Тамарлин.—Диалектический материализм и теория относительности (окончание). 92

И. Рубин.—Производственные отношения и вещные категории 115
В. Поляков.—Капитализм и внешний рынок 133

А. Бернштейн.—Основные взгляды Фердинанда Лассаля 153
Н. Рубинштейн.—М. Н. Покровский—историк России 189
М. Покровский.—Несколько замечаний на статью т. Рубинштейна 211

Трибуна.

С. Гоникман.—Ревизор. 213
Ник. Карев.—О „новой эре" в философской критике 222

Библиография.

Ник. Карев.—Обзор книг по ленинизму. 230
Н. Луппол.—История философии в марксистском освещении, ч. 2. 234
Г. Тымянский.—Л. Фейербах. Сочинения, том. 3. 235

П. Сапожников.—Ленинский сборник, кн. I. . . . . —
И. Луп пол.—Рахман—Д. Локк 247
Н. К.—Макс Адлер.—Энгельс как мыслитель. 251
Орлов.—Новые идеи в химии, № 9. 253
З. Ц.—З. Лебединский—Вильям Томсон—лорд Кельвин. 255
З. Ц.—Я. Френкель.—Теория относительности 257
Б. Завадовский.—Филипченко.—Изменчивость и эволюция 261
Х. Лурье.—Бернштейн 264
В. Позняков.—Гриневич.—Народное хозяйство Германии 268

Фихте и Великая французская революция.

А. Деборин.

Великая российская революция 1917 года поставила в порядок дня проблему социалистического преобразования современного общества, основанного на частной собственности и на антагонизме классов буржуазии и пролетариата.

Так как весь мир распадается ныне в общем и целом на два больших класса—богатых тунеядцев и трудящихся бедняков, как выражается Энгельс, то революция в России вызвала к себе повсюду среди трудящихся бедняков восторженное отношение, а среди богатых тунеядцев—дикую злобу и ненависть.

Происходящие в продолжение последних семи лет события в России имеют, разумеется, не национальный, а всемирно-исторический характер, и именно в силу этого своего характера они намечают ход и направление исторического развития современного мира.

В известном смысле можно сказать, что человечество до сих пор живет от революции к революции. Европа долгое время питалась идеями, рожденными в пламени Великой французской революции. В ближайшую эпоху угнетенное человечество будет жить идеями, проблемами и конкретными лозунгами, выдвинутыми российской пролетарской революцией. Международный пролетариат будет отныне отправляться от русской революции в своей неизбежной борьбе за социализм, подобно тому, как буржуазия всех более отсталых стран в своих стремлениях отправлялась от французской революции, живя на протяжении более ста лет ее идейным наследством.

Со времени Парижской Коммуны 1871 г. Европа вступила в новый исторический класс: наступила эпоха пролетарских революций. Но Парижская Коммуна была, во-первых, лишь эпизодом, во-вторых, она произошла при неподготовленной еще не только во Франции, но и в других европейских странах, исторической обстановке. Она была лишь некоей репетицией к настоящей пролетарской революции. Иной характер носит уже революция 1917 г. в России. Это уже не эпизод и не репетиция, а начало новой органической общественно-исторической формации.

П. Сапожников.—Ленинский сборник, кн. I. . . . . —
И. Луп пол.—Рахман—Д. Локк 247
Н. К.—Макс Адлер.—Энгельс как мыслитель. 251
Орлов.—Новые идей в химии, № 9. 253
З. Ц.—З. Лебединский—Вильям Томсон—лорд Кельвин. 255
З. Ц.—Я. Френкель.—Теория относительности 257
Б. Завадовский.—Филипченко.—Изменчивость и эволюция 261
Х. Лурье.—Бернштейн 264
В. Позняков.—Гриневич.—Народное хозяйство Германии 268

Фихте и Великая французская революция.

А. Деборин.

Великая российская революция 1917 года поставила в порядок дня проблему социалистического преобразования современного общества, основанного на частной собственности и на антагонизме классов буржуазии и пролетариата.

Так как весь мир распадается ныне в общем и целом на два больших класса— богатых тунеядцев и трудящихся бедняков, как выражается Энгельс, то революция в России вызвала к себе повсюду среди трудящихся бедняков восторженное отношение, а среди богатых тунеядцев—дикую злобу и ненависть.

Происходящие в продолжение последних семи лет события в России имеют, разумеется, не национальный, а всемирно-исторический характер, и именно в силу этого своего характера они намечают ход и направление исторического развития современного мира.

В известном смысле можно сказать, что человечество до сих пор живет от революции к революции. Европа долгое время питалась идеями, рожденными в пламени Великой французской революции. В ближайшую эпоху угнетенное человечество будет жить идеями, проблемами и конкретными лозунгами, выдвинутыми российской пролетарской революцией. Международный пролетариат будет отныне отправляться от русской революции в своей неизбежной борьбе за социализм, подобно тому, как буржуазия всех более отсталых стран в своих стремлениях отправлялась от французской революции, живя на протяжении более ста лет ее идейным наследством.

Со времени Парижской Коммуны 1871 г. Европа вступила в новый исторический класс: наступила эпоха пролетарских революций. Но Парижская Коммуна была, во-первых, лишь эпизодом, во-вторых, она произошла при неподготовленной еще не только во Франции, но и в других европейских странах, исторической обстановке. Она была лишь некоей репетицией к настоящей пролетарской революции. Иной характер носит уже революция 1917 г. в России. Это уже не эпизод и не репетиция, а начало новой органической общественно-исторической формации.

Французская революция вызвала к себе также двоякое отношение. Реакционные правительства европейских держав не ограничились одной блокадой революционной Франции; они организовали крестовый поход против революционной страны, поддерживали и создавали контр-революционные восстания внутри страны. Но угнетенные народы, изнывавшие под ярмом дикого деспотизма и социального угнетения, встретили революцию с энтузиазмом. Мировоззрение их передовых мыслителей складывалось под непосредственным идейным влиянием французской революции. Классический немецкий идеализм в значительной степени является своеобразным „комментарием" к французской революции.

Проблемы прогресса, исторического развития, общества, государства, собственности, равенства отныне встали в центре философских интересов. Революционные взгляды Фихте сложились под влиянием великих событий во Франции. Проблема собственности впервые встала перед ним в связи с конфискацией церковных и помещичьих владений революционным народом.

Выступая в защиту французской революции, Фихте стремился доказать правомерность революции вообще и ее насильственных актов по отношению к собственникам. Дальнейший толчек к углублению своих взглядов Фихте получил от заговора равных Г. Бабефа.

Его первоначальные взгляды на собственность, изложенные им в 1793 г., получают дальнейшие развитие в „Основах естественного права по принципам наукоучения", написанных в 1796 г., и завершаются „Замкнутым торговым государством" 1800 года. В последних двух произведениях, особенно во втором, получают окончательную, законченную формулировку так называемые социалистические взгляды Фихте, которые проходят красной нитью и во всех остальных его произведениях. Таким образом, начав с теоретической критики собственности в связи с „практической" ее критикой революционным правительством Франции, Фихте кончил, под влиянием „заговора равных", требованием материального равенства всех граждан, требованием переустройства общества на „социалистических" началах.

I.

Одной из первых работ Фихте является его сочинение „К исправлению суждений публики о французской революции". К этой работе непосредственно примыкает статья—речь „О востребовании свободы мысли". Куно Фишер правильно замечает, что „философская речь дышит в обоих сочинениях пламенем страстного убеждения и часто изливается потоками красноречия, напоминающими язык и пафос самой революции"[1]).

Для Канта принцип свободы является основным исходным

[1]) Куно Фишер, История новой философии, том VI, стр. 250.

пунктом во всех его построениях. Это постулат „практического" разума, который должен быть положен в основание морали, права, государства и проч. Принцип „свободы" диктовался процессом назревания отношений в Германии.

Эту традицию продолжает Фихте с удивительной последовательностью, опираясь на „практическое" революционное движение во Франции. Он исходит из того убеждения, что до заключения так наз. общественного договора человек знает только закон морального самоопределения, составляющий основу неотчуждаемых прав человека. Свобода составляет часть нашего существа, нашего я; она есть истинная стихия нашей личности. Поэтому она неотчуждаема; но так как свобода мысли есть форма проявления нашей свободы вообще, то она также неотчуждаема. Стало быть, свобода мысли составляет неотчуждаемое право личности.

Свобода и деятельность неотделимы друг от друга. Человек предназначен для деятельности, и „единственное наше счастье на земле—если счастье вообще существует,—это свободная, не стесняемая ничем самодеятельность"; все наслаждение сводится к напряжению наших сил во имя определенных целей, которые мы сами себе ставим. Властители, а с ними и служители религии, обычно указывают нам на другой мир, где мы получим воздаяние за наше пассивное терпение и страдание в этом мире. В этих страданиях они видят высшую человеческую добродетель. Но на самом деле мы должны пожинать плоды нашей деятельности, а не страдания[1]).

Фихте протестует против того, что короли держат народ в невежестве и темноте; истина может открыться человеку только благодаря свободному исследованию, которое встречает со стороны властителей всяческие препятствия. Ваше царство, обращается он к ним, есть царство тьмы, которое не выдерживает света истины. Господство королей возможно лишь среди ослепленных и одураченных людей. Невежество и тьма—вот стихия, которой они себя окружают; дневного света они боятся, так как просвещенные граждане с проклятием отвернутся от таких властителей[2]).

Источником власти государя является общество. Общество с своей стороны может передать своему уполномоченному—государю—лишь те права, которые были отчуждены обществу в силу договора отдельными лицами. Но свобода мысли относится к неотчуждаемым и неотъемлемым правам личности. Стало быть, всякое стеснение или ограничение в этом отношении со стороны государей есть возмутительное насилие, против которого личность должна всячески бороться. Свобода мысли имеет своей целью познание и распространение истины. Нет свободы мысли, нет исследования истины без права

[1]) Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten, Fichtes Sämmtliche Werke, 1845, VI. B., S. 29.

[2]) Ibidem, стр. 34.

сообщения ее другим. Лишение права свободного обмена мыслями означает уничтожение самой свободы мысли. Стало быть, власть не имеет права ставить какие бы то ни было преграды свободному исследованию истины и свободному сообщению ее другим.

„Век просвещения и свободы" прежде всего и поставил себе целью завоевание или „востребование свободы мысли" от узурпировавших ее правителей. В результате это движение восемнадцатого века привело во Франции к революции, которая являлась, по мнению реакционеров, прежде всего пагубным следствием свободы мысли. Таким образом, перед Фихте возникает задача обоснования правомерности революции и вместе с ней задача „исправления суждений публики о французской революции".

Произведение Фихте о французской революции, ныне по весьма понятным причинам основательно забытое, заслуживает того, чтобы на нем несколько подробнее остановиться. Фихте подвергает исследованию вопрос о правомерности и целесообразности революции. Он исходит из того, что заинтересованные стороны не могут решить вопроса о правомерности революции, потому что они судят о ней пристрастно. Лучшим судьей может быть человек, который не является ни угнетателем, ни угнетенным. Фихте идеалист и в значительной степени утопист. Ему кажется, что правильное суждение о революции может иметь человек, стоящий „над классами". Интересы людей, полагает он, извращают человеческое суждение. Очень часто люди кричат о несправедливости, когда им препятствуют делать несправедливое другим. Это совершенно правильно. Естественно, что от интересов каждого зависит и его точка зрения на революцию. Помещик, у которого отнимают его имущество, считает этот акт по отношению к себе несправедливым и неправомерным. Но угнетаемые им рабы, говорит Фихте, заявляют с своей стороны, что богатые не принадлежат к народу и не должны пользоваться человеческими правами. Такая точка зрения соответствует интересам угнетенных. Сам Фихте также становится, не в пример современным буржуазным философам-идеалистам, на сторону угнетенного народа. Но ему кажется, что необходимо отвлечься от эмпирических интересов и подняться в сферу чистой мысли—разума.

Чувства, т.-е. эмпирические интересы, извращают таким образом истину, которая доступна разуму. Эти чувственные интересы определяют характер нашего сознания и направление воли. Вопрос о закономерности революции есть вопрос морально-правовой. Не интересы и не история, а нравственный закон решает вопрос о допустимости революции.

Исторически существующие государства зиждутся на праве сильнейшего, на насильственном угнетении и подавлении слабых. Но правовое государство покоится или должно покоиться на договоре, состоящем в добровольном согласии членов гражданского общества подчиниться закону. Если человек соглашается,

чтобы чужая воля диктовала ему законы, то он тем самым отказывается от своего человеческого достоинства. Человек должен признавать только те законы, которые он сам себе дает. Конечная цель всякого государственного союза сводится к установлению свободы. Поэтому государственный строй, основанный на рабстве, является противным культуре и подлежит изменению вследствие его неправомерности. Нет неизменного государственного строя. Государственный строй, противоречащий конечной цели всякого государственного союза, должен быть изменен. Таким образом, Фихте в качестве идеалиста исходит из некоего абсолютного порядка и с высоты этого морально-идеального порядка оценивает правомерность данного эмпирического государственного строя, вместо того, чтобы исходить из законов развития действительности и реальных интересов передового класса. Но требовать от Фихте такой научной постановки вопроса не следует. Реальные исторические процессы облекаются у него в сугубо-идеалистическую форму, принимая характер моральных требований.

Неизменность общественного и государственного строя находится в непримиримом противоречии с „духом человечества", как выражается Фихте. Оставлять существующий строй в неприкосновенности, неизменным, значит оставаться на достигнутой ступени культуры и остановить развитие человечества. Это должно повести к тому, чтобы наши потомки через тысячи лет сохранили наш способ мышления, наши современные политические учреждения, теоретические и нравственные убеждения. Естественно, что такое обязательство, если бы оно было дано при заключении общественного договора, не может иметь силы, так как оно не правомерно, противно „духу человечества". Фихте, как мы видим, исходит из бесконечного прогресса, который не может или, вернее, не должен быть остановлен. Содержанием бесконечного прогресса является культура к свободе (Cultur zur Freiheit). Таков закон разума, такова нравственная задача и цель человечества, а, стало быть, и государственного союза.

Существующие государства основаны на рабстве и противоречат тем самым своему назначению. Отсюда следует, что изменение существующего политического строя является нравственной задачей, моральным долгом граждан. Человечество не может остановиться в своем развитии, в своем стремлении к прогрессу. „Нет неизменного государственного строя,—говорит Фихте:—необходимость изменения вытекает из самой природы его; дурной строй, противоречащий необходимой, конечной цели всякого государственного союза, должен быть изменен; хороший, способствующий осуществлению этой цели, изменяется сам. Первый подобен тлеющим гнилушкам, не дающим ни света, ни тепла; второй напоминает свечу, пожирающую самое себя и потухающую с наступлением дня"[1]).

[1]) Ibidem, стр. 103.

Как ни туманна и идеалистична постановка вопроса у Фихта, в конце XVIII в. она имела прогрессивное и даже революционное значение. Право на изменение государственного строя является таким же неотъемлемым, как и право на бесконечное развитие, на бесконечный прогресс. Государство основано, если не фактически, то принципиально, на договоре; но всякий договор может быть расторгнут, если стороны не соблюдают его.

Естественно-правовая теория общественного договора, разумеется, не выдерживает научной критики. Это чисто идеалистическое построение. Но эта теория исторически сыграла огромную революционную роль, поскольку она служила орудием борьбы с историческими правами королей, дворянства и духовенства. Естественные права имеют в глазах Руссо или Фихте несравненные преимущества перед историческими правами.

Итак, в случае нарушения королями общественного договора, народ имеет право на революцию. В сущности, это даже не право, а обязанность народа. Вот тот вывод, к которому приходит вслед за другими теоретиками естественного права Фихте.

Право на изменение государственного строя установлено незыблемо; но некоторые утверждают, что расторжение договора связано с возмещением убытков государству, что государство имеет право претендовать на нашу собственность и образование, тех кто устраивает революцию. В связи с этим для Фихте возникает вопрос о правовом основании собственности. Рассуждения Фихте на этот счет чрезвычайно любопытны.

Первоначально,—говорит он,—мы сами являемся нашей собственностью. Никто не может быть нашим господином. Чистое „я" в нас является господином нашей чувственности, всех наших духовных и телесных сил. Вокруг нас существуют вещи, которые не принадлежат непосредственно нашему чувственному я. Мы имеем право пользоваться нашими силами, прилагая их к вещам и превращая их в средство для наших целей. Преобразование вещей нашими силами есть истинное правовое основание собственности. Кто обрабатывает вещь и придает ей известную форму, тому она и принадлежит. Стало быть, труд составляет основу права собственности. Возражают,—продолжает Фихте,—против лозунга: „кто не работает, пусть не ест". Конечно, есть может и тот, кто не работает, если я по доброй воле даю ему есть. Но речь идет о том, что кто не работает, тот не имеет права требовать, чтобы ему дали есть, если бы даже он и умирал с голоду. Каждый человек должен трудиться, если он хочет жить, ибо только личный труд дает право на вещь.

Человек не может создавать ничего нового. Он только преобразует сырой материал, придавая ему определенную форму. Поэтому сырой материал не может быть предметом частной собственности; он не принадлежит никому. Каждый имеет на него право, и каждый может использовать его для своей работы. Только человеческий труд придает материи целесообразную форму. Права собственности на материю не существует. Материя, или сырой материал, никому не принадлежит. Право собственности существует лишь в отношении формы. В основании всякой формы лежит материя, образующая, так сказать, ее субстанцию. И именно эта материя, к которой относится, естественно, земля и всевозможные средства производства, не может составлять предмета частной собственности. Существует лишь один способ присвоения материи—это акт формирования, преобразования ее посредством труда в целесообразную вещь. Источником собственности является человеческая деятельность, его работа. Вещь, к которой не был приложен человеческий труд, есть вообще материя, или сырой материал.

Таким образом право на сырой материал, на материю природы, есть право присвоения, право же на преобразованный материал есть право собственности. Но если сырой материал не может принадлежать никому,—рассуждает Фихте,—то он не может принадлежать и всем, не может принадлежать и государству. Моя собственность есть продукт моего труда, и потому государство не может на нее претендовать. Материя не является моей собственностью, но она также не является и собственностью государства. Государство, таким образом, не может быть собственником ни сырого материала, ни обработанной мною вещи. Из этих любопытных рассуждений необходимо сделать тот вывод, что вместе с формой, ввиду неотделимости ее от материи, и сырой материал должен считаться собственностью того, чьей собственностью является форма, т.-е. того, кто вложил в инертную материю свой живой труд. Отсюда, с другой стороны, следует, что кто не работает, у того не может быть вообще собственности. Словом, так как государство не имеет права на мою собственность, то при расторжении договора, т.-е. в случае революции, оно не может требовать от меня возвращения ему моей собственности (как и вознаграждения за мое образование). Ни собственность, ни образование не приобретены мною при помощи государства, хотя и в пределах государства.

Личность и бытие человека находятся под охраной нравственного закона, как неотчуждаемые права. В качестве личности, морального существа человек есть дух, и он живет, так сказать, в мире духовном; в обществе он представляет собою человека, живущего в мире явлений. Только в обществе человек заключает договоры в отношении отчуждаемых прав. В государственном союзе человек—гражданин. В естественном, т.-е. изолированном, дообщественном, состоянии человек находится исключительно под нравственным законом; в обществе, т.-е. в мире явлений, нравственный закон не определяет всецело действий человека, поскольку предметом договора являются отчуждаемые права и поскольку общественный союз есть область свободного произвола. Гражданский договор, из кото-

рого возникает государственная власть, имеет своим субъектом гражданина и предметом—любую часть свободного произвола.

Итак, человек как бы живет в трех мирах: в мире духовном, в мире общественном и в государстве. Не трудно заметить, что гегелевское противопоставление гражданского общества государству примыкает к фихтевскому разграничению понятий общества и государства, человека и гражданина.

В случае расторжения моего договора с государством в качестве гражданина, я, однако, остаюсь членом общества, которое гораздо шире государства и охватывает область договоров вообще,—я остаюсь человеком. Государство не имеет права преступать пределы своей власти. Собственность приобретена мною не в качестве гражданина, а в качестве человека в силу моего договора с обществом, а не с государством, в силу моих человеческих и естественных прав, а не в силу политических прав. Государство призвано лишь защищать мои права, мою собственность и лишь до тех пор, пока я не выхожу из государственного союза. В последнем случае государство перестает меня защищать, но оно, вместе с тем, не имеет никаких прав на мою собственность. Те же соображения высказывает Фихте и относительно приобретенного мною в обществе при помощи государства образования. Образованием, культурой мы обязаны всему человечеству, а не государству.

Все эти рассуждения нужны Фихте в целях оправдания революции и обоснования ее правомерности. Мысль его сводится таким образом к тому, что общество стоит над государством, что последнее существует для первого, что мы всем обязаны обществу, всему человечеству, а не государству, что человек выше гражданина, а потому человеческие права имеют все преимущества перед гражданскими, что мы имеем право выйти из государственного союза и притом свободны в отношении его от возмещения убытков за приобретенные нами собственность и образование.

Расторжение государственного договора или выход из государственного союза составляют внутренний смысл всякой революции. Граждане имеют право совершить революцию, которая означает разрушение старого и создание путем договора нового государства. В старом государстве образуется новое государство прежде, чем первое окончательно рухнет. Фихте не видит здесь ничего опасного или особенного. Ибо в каждом современном государстве существует несколько „государств": духовенство, дворянство, военщина и проч. Все эти отдельные сословия образуют самостоятельные государства в государстве, у которых имеются не только обособленные, но и противоположные другим гражданам интересы. Они образуют действительно враждебные друг другу государства [1])...

[1]) Ibidem, стр. 153. „Alles dieses sind sie ja Staaten im Staate, die nicht nur abgesondertes sondern ein allen übrigen Bürgern entgegengesetztes Interesse haben... Es sind wirklich feindselige Staaten.

II.

Теперь посмотрим, имеют ли право господствующие классы на возмещение убытков в случае революции? Фихте отвечает на этот вопрос отрицательно. Он считает правомерным конфискацию новым государством церковных и помещичьих земель.

Революция имеет целью установление такого государственного строя, при котором все граждане равноправны, говорит Фихте. Господствующие классы при старом порядке пользовались специальными привилегиями, т.-е. получали больше прав, чем угнетенные классы, в силу так называем. „покровительного договора", обеспечивающего помещикам и другим привилегированным сословиям особые преимущества. Естественно, что претензии привилегированных классов не могут препятствовать прогрессу революции, как выражается Фихте. И прежде всего потому, что „покровительственные договоры" расторжимы. Преимущества, далее, не могут претендовать на вечное существование. Лишаясь привилегий, помещики теряют то, на что они не имели законного права,—напр., подвластных крестьян и рабочих.

В целях равномерного распределения имуществ Фихте требует уничтожения преимуществ помещиков, отмены крепостной зависимости крестьян и „освобождения" рабочих сил человека.

Умеренное вознаграждение, которое может быть дано „пострадавшим" классам, должно иметь целью создание для них условий, которые дали бы им возможность перейти к новой трудовой жизни.

В отношении предметов бывают договоры на человеческие силы (рабочий договор) и на вещи (торговый договор). Право собственности в силу этих договоров может существовать только по отношению к вещам. Право собственности отчуждаемо. Непосредственная собственность человека, из которой вытекают все другие виды собственности, суть его силы. Кто свободно распоряжается этими силами, тот уже в них обладает непосредственно собственностью; посредством употребления человеческих сил приобретают право собственности на вещи. Полное отчуждение права собственности нельзя мыслить иначе, как через отчуждение свободного использования наших сил. Это значит, что другому передаются права распоряжаться ими, но вследствие этого они, т.-е. силы, становятся собственностью другого. В таком положении,—говорит Фихте,—находились прежде рабы, а ныне крепостные крестьяне. Но даже и это отчужденное права собственности на свои собственные силы связано с одним непременным условием: господин должен обеспечить своего раба средствами существования. Каждый человек имеет право на жизнь.

Таким образом раб имеет право на средства существования, взамен отчужденных им своему господину сил. Человеческие силы

отчуждаются господином полностью или частью. Напр., современный рабочий, в силу „свободного" договора, вынужден отчуждать капиталисту, если не всю свою личность, как древний раб, то во всяком случае почти всего себя. Само собой разумеется, что все права господ, вытекающие из таких договоров, могут быть угнетаемым классом или обиженной, обманутой партией, как выражается Фихте, односторонним актом уничтожены.

Фихте разражается благородным гневом против тех, кто живет в роскоши и богатстве, заставляя других работать на себя. Есть люди, которые жалеют тех, кто вынужден был неожиданно променять жизнь в роскоши на жизнь умеренную. „Ведь при таких жалобах считается совершенно безусловной система, чтобы только один известный класс смертных имел, уже не знаю какое, право удовлетворять все потребности, какие только может измыслить самое распущенное воображение; чтобы другой имел их не столько, сколько первый, третий не столько, сколько второй, и т. д., пока, наконец, не дойдешь до класса, который должен обходиться без самого необходимого, чтобы иметь возможность доставлять этим высшим смертным самое ненужное. Или основу этого права видят только в привычке и рассуждают так: если одно семейство пожирало необходимое для миллионов, то оно должно непременно продолжать это делать" [1]). При этом сердобольные люди обычно указывают на то, что первые привыкли жить в роскоши, а вторые привыкли жить в лишениях. Но это ложь, справедливо заявляет Фихте. Никогда нельзя привыкнуть к голоду, к противоестественной пище, потере сил и проч. Если находят наивным изречение: кто не работает, пусть не ест, то мы считаем наивным, т.-е. несправедливым,—говорит Фихте,—другое изречение, которое сводится к тому, что кто работает, пусть не ест. И, действительно, современный буржуазный строй или всякое классовое общество так организовано, что кто работает, тот не ест, т.-е. имеет лишь самое необходимое, а кто не работает, тот ест.

Не привычка, а природа решает вопрос о необходимом и не необходимом. Каждый человек должен иметь самое необходимое. Это его неотъемлемое право человека. И если в государстве находится хотя бы один человек, которому невозможно трудом своим приобрести самое необходимое для жизни, то роскошная жизнь других должна быть безжалостно ограничена. Гражданский договор, лишающий хотя бы одного члена общества средств к жизни, подлежит уничтожению. Каждый член общества обязан трудиться. Только при условии целесообразного применения своих сил гражданин имеет право на средства к жизни. И, с другой стороны, никто не имеет права оставлять неиспользованными свои силы и жить на счет других. При расторжении договора или, иначе выражаясь, в случае революционного переустройства общества, обеспеченные прежде классы, жившие эксплоатацией чужого труда, должны приспособиться к новым требованиям и условиям жизни. Они должны начать трудовую жизнь. Нечего ссылаться на силу привычки, состоящей в том, чтобы не трудиться и много проживать. Они должны постепенно приучиться к труду и стать полезными членами общества.

[1]) Там же, стр. 184.

При всем своем идеалистическом понимании общества и государства, Фихте сумел, однако, понять лучше многих своих современников великое всемирно-историческое значение французской революции и выдвинутых ею социальных проблем. В этом отношении он стоит на много голов выше Канта. Государство—не идеальное, а фактическое, реальное—не представляется Фихте единым целым. Напротив того, он хорошо видит не только классовый характер государства, но и его специфическое назначение. Обращаясь к современному ему государству и роли в нем дворянства, Фихте заявляет, что в сущности дворянство образует государство в государстве. Поскольку политическая власть находится в руках дворянства, ему противостоит вся масса остальных граждан, образующих, с своей стороны, самостоятельное „государство". Разница между ними только та, что государство дворян является господствующим.

Далее, Фихте развивается то положение, что дворянство, как господствующий класс (государство, как он выражается), подавляет в обществе все остальные классы, осуществляя классовую диктатуру, выражаясь современным языком. В самом деле, привилегии дворянства делают его обособленным классом; гражданские права других классов уничтожаются, они не имеют доступа к государственным должностям и превращаются таким образом в рабов. Фихте готов допустить, что буржуазия будет в этом отношении не лучше дворянства. Достигнув власти, она также может проникнуться цеховым, т.е. классовым, духом. Но этому разделению на классы,—говорит Фихте, положило начало дворянство. „Если бы никогда не было дворян и буржуа, если бы не было ничего, кроме просто граждан, то ни дворянин, ни буржуа не оказывали бы предпочтение своим, ибо все были бы тогда своими" [1]).

III.

В своих лекциях о назначении ученого [2]) Фихте поднимает ряд чрезвычайно важных проблем о назначении общества государства, человека вообще и ученого в частности. К этим проблемам он обращается и в последующих своих произведениях. С одинаковой энергией подчеркивается философом во всех его работах практиче-

[1]) Ibidem, стр. 237.

[2]) „Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten", первое издание вышло в 1794 году.

ский характер человеческого мышления, несмотря на всю отвлеченность его рассуждений. На-ряду с диалектическим методом, которым Фихте пользуется при исследовании означенных проблем, наше внимание должны привлечь также и те положительные результаты, к которым он приходит в своем учении.

Человек,—говорит Фихте,—предназначен для жизни в обществе, изолированная от общества жизнь делает человека несовершенным существом. Государство и общество, как это уже было выяснено в другой связи, не тождественны. Государство есть только эмпирически обусловленная форма общества. Жизнь в обществе является целью и назначением человека, но этого нельзя сказать о государстве. Государство не принадлежит к необходимым формам человеческого общежития. Оно является при определенных условиях средством для основания совершенного общества. Общество есть цель, а государство—средство. Все человеческие учреждения, которые выполняют роль средства, обречены на уничтожение. Они сами себя отрицают и уничтожают, достигнув цели, ради которой они существуют. Поэтому,—заключает Фихте,—цель всякого правительства—сделать излишним правительство [1]). Как бы испугавшись такого радикального вывода, Фихте спешит успокоить своего читателя, что время для этого еще не наступило, что пройдут, как он выражается, мириады и мириады лет, пока люди достигнут такого „совершенства".

Но для Фихте не подлежит сомнению, что в своем развитии человеческий род достигнет той степени, когда государство станет излишним. Что касается общества, то оно является, так сказать, самоцелью. Через общество происходит развитие и совершенствование рода. Назначение общества и состоит в бесконечном прогрессе и совершенствовании человеческого рода. „Общественность" есть особое свойство или способность человека, которая подлежит, на-ряду с другими человеческими способностями, развитию и совершенствованию. Жизнь разумных существ в обществе должна быть основана не на субординации, а на координации, на кооперации. Не господство одних людей над другими, а совместная жизнь на началах свободы является принципом общежития. Но то, что является идеалом, т.-е. необходимым следствием истинного „понятия" о человеке и обществе, еще очень далеко от осуществления в жизни. Общественный инстинкт в человеке еще очень мало развит. Человечество стоит еще на низшей ступени развития,—мы еще рабы. Мы еще не обладаем чувством нашей свободы или самодеятельности. Ибо в противном случае мы бы хотели видеть и в других людях свободных людей. Человек, который считает себя господином других людей, сам является рабом. Во всяком случае, — прибавляет Фихте, — такой человек имеет рабскую душу. Современное общество состоит из разных сословий. Различие сословий предполагает их неравенство. Неравенство бывает двух родов: естественное и моральное, т.-е. общественное. Естественное неравенство имеет своим источником природу. По природе своей люди физически неравны. Социальное же неравенство имеет своим источником общественные отношения. Основой всякого опыта является природа или то, что Фихте называет независимым не-я. Природа различным образом действует на разных людей, на их способности и склонности. Отсюда получается, что индивидуумы различны и неравны физически, понимая под физическим всю совокупность наших способностей, как телесных, так и духовных. Но закон тождества или гармонии нашей личности, наше чистое „я" требует, чтобы в индивидууме были развиты одинаково все его способности. Конечная цель общества состоит в осуществлении полного равенства всех его членов и во всестороннем развитии их способностей. Общество, как выражается Фихте, должно исправить ошибки природы.

Разум ведет постоянную борьбу с природой. Он стремится к господству над ней. Опыт, как выражается Фихте, должен согласовываться с нашими практическими понятиями, в этом заключается деятельность людей или то, что называется культурой. Каждый отдельный человек борется с природой, т.-е. подчиняет ее своим практическим потребностям. И на своем участке борьбы может добиться успешных результатов. Зато на других участках он будет побежден, т.-е. будет беспомощно противостоять природе. Только общество в целом объединяет силы всех людей, и эти объединенные силы идут на пользу отдельного члена общества. Таким образом получается, что физическое неравенство индивидуумов служит основанием для их равенства общественного. Физическое неравенство служит связью, соединяющей всех людей в одно целое. „Никто не имеет права работать только для собственного наслаждения, замкнуться и уйти от других людей, сделав себя бесполезным для них. Ибо только благодаря труду, работе общества, он в состоянии был приобрести образование. Образование является в известном смысле продуктом общества, его собственностью. Человек отнимает у общества его собственность, когда он не хочет ему служить. Долг каждого не только быть полезным членом общества, но направить все свое знание и все свои силы на конечную цель общества, которая состоит в том, чтобы облагораживать все больше и больше человеческий род, т.-е. сделать его все более свободным от власти природы, более самодеятельным и самостоятельным. Так из этого нового неравенства возникает равенство, а именно: равномерное развитие культуры во всех индувидуумах". Конечно, фактически дело далеко не обстоит так, как это изображается Фихте. Но мыслитель подчеркивает, что наши практические идеи требуют, чтобы люди поступали так в интересах всего человеческого рода. И главное, мы

[1]) „Der Staat geht, ebenso wie alle menschlichen Institute, die blosse Mittel, auf seine eigene vernichtung aus: es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung überflüssig za machen (Fichte's Werke, 1845, VI. B., стр. 306).

должны стремиться к тому, чтобы идеи эти осуществлялись, чтобы создано было такое общество, в котором каждый, работая для себя, работает на других и, работая на других, работает на себя...

Мы не считаем нужным остановиться на вопросе о назначении ученых или самой науки и связанных с этим вопросом других проблемах. Необходимо только подчеркнуть, что научное познание, с точки зрения Фихте, призвано служить человеческому прогрессу, развитию человеческого рода. Общество не может довольствоваться отвлеченным знанием потребностей и наклонностей человека. Наука должна ставить себе задачей развитие и удовлетворение этих потребностей, способностей и наклонностей. Она должна ставить себе практические задачи в смысле отыскания средств, необходимых для удовлетворения потребностей человека. Недостаточно указать человечеству его недостатки, необходимо найти средства для устранения недостатков. Речь идет не о том, чтобы знать вообще, каковы потребности и наклонности людей, и не о том, чтобы знать вообще, какие средства необходимы для их развития. Необходимо итти еще дальше: определить, на какой ступени культуры стоит человечество в данную историческую эпоху, и какова ближайшая ступень общественного развития. Совершенно правильно Фихте, вопреки своему идеализму, подчеркивает, что это последнее знание не может быть просто выведено из оснований разума, т.-е. чисто-априорным путем. Необходим для разрешения последней задачи, так сказать, исторический опыт. Разум может априорно указать ход человеческого развития вообще, цель этого прогрессивного развития и пр., но он не в состоянии определить, на какой ступени человечество стоит в данный исторический момент. Поэтому на-ряду с философским знанием для общества огромное значение имеет историческое знание.

В пятой лекции „Назначение ученого" Фихте ведет полемику с Руссо. Эта полемика чрезвычайно интересна. Два диалектика столкнулись друг с другом. Посмотрим, как аргументирует Фихте. Речь идет о критике взглядов Руссо по вопросу о влиянии наук и искусств на благосостояние человечества. Фихте, как мы уже знаем, видит назначение человечества в развитии культуры и всех потребностей и способностей людей. Сословие ученых имеет своим назначением стоять на страже интересов культуры. Оно должно всячески способствовать ее эволюции, ее поступательному шествию вперед. Руссо стоит, как известно, на противоположной точке зрения. Культура является для него источником всех бедствий человечества. Он зовет назад к естественному состоянию, в котором и видит единственное спасение человечества.

Таким образом,—говорит Фихте,—для Руссо регресс есть прогресс, естественное состояние—конечная цель человеческих стремлений. В естественном состоянии у человека не будут развиты его потребности и способности. Он будет жить животною жизнью. Пороки сами собою исчезнут, ибо там, где нет потребностей, нет и пороков.

Но вместе с пороком,—говорит правильно Фихте,—исчезает и добродетель.

Фихте в своем диалектическом понимании исторического процесса стоит, конечно, несравненно выше Руссо. В то время как последний выступает как романтик, видящий золотой век не впереди, а позади настоящего, Фихте стоит вполне на прогрессивной точке зрения. Очень часто,—говорит он,—люди считают, что то, к чему надлежит стремиться и чего необходимо еще достигнуть, уже потеряно. Руссо забывает или не понимает, что человечество может приближаться к этому состоянию лишь посредством труда, забот и борьбы. Природа без человеческой руки дика и невозделана. И это хорошо, ибо этим человек принуждается выступить из пассивного естественного состояния и активно на нее воздействовать, обрабатывая ее, что и ведет к превращению его из произведения природы в свободное разумное существо. Первые шаги его по этому пути связаны с трудом и нищетой. Но развитие потребностей и необходимость их удовлетворения заставляют его трудиться. Источником порока являются не потребности, напротив того,—потребности суть стимулы к деятельности и добродетели. Источником порока является леность и пассивность. Руссо видел человеческие страдания, но ему было чуждо деятельное стремление к устранению страдания. Бабьи вопли по поводу испорченности людей, их страданий и бедствий,—говорит Фихте,—ни к чему не ведут. Необходимо действовать, бороться, если хотят сделать людей более счастливыми.

„Назначение нашего рода в том, чтобы объединиться в единое, вполне известное себе во всех своих частях и одинаково построенное тело. К этой цели с самого начала вели природа и даже страсти и пороки людей; значительная часть пути к ней уже осталась позади, и можно рассчитывать на то, что эта цель, условие дальнейших успехов, будет достигнута. Пусть не спрашивают, однако, историю о том, стали ли люди в общем нравственнее. Они развили громадную, многообещающую и сильную произвольную деятельность, но их положение почти необходимо приводило их к тому, что они употребляли эту деятельность почти исключительно во зло" [1]). В другом месте Фихте развивает ту мысль, что человечество пока с трудом завоевывает себе пропитание и обеспечивает себе существование среди противодействующей ему природы. Природа становится все более проницаемой для нас, человеческая же сила должна над ней властвовать. „Нужда в человеческом труде должна постепенно уменьшаться до тех пределов, в каких он необходим человеческому телу для его развития, роста и здоровья, и этот труд должен перестать быть тяжестью,—ибо разумное существо не предназначено быть носильщиком тяжестей".

Мы оставляем в стороне вопрос о том, к чему „предназначен" человек. С нашей точки зрения человек не получает ниоткуда назна-

[1]) Фихте, Назначение человека, русский перевод, стр. 92.

чения. Но верно то, что в своей борьбе с природой общество действительно проходит тот путь, который изображен Фихте: путь от бедствий, нищеты, полного подчинения природе к состоянию, при котором человек покоряет природу, становится ее господином. Это завоевание достигается посредством деятельности—тяжелой борьбы и труда, где потребности и наклонности человека служат стимулами развития. Зло порождает добро; порок — „добродетель"; рабство переходит в свою противоположность — в свободу. „Я хочу быть господином природы, а она должна быть моим слугою; я хочу иметь соответствующее моей силе влияние на природу, но она не должна иметь никакого влияния на меня". Разумеется, Фихте хватил через край, когда заявил, что природа не должна иметь никакого влияния на нас. Но это заключение вытекает из его идеалистически-фантастической точки зрения, состоящей в том, что бесконечный прогресс ведет к полному освобождению человечества от не-я и превращению в чистое „я", т.-е. в свободное разумное существо, которое уже вовсе не признает природы, а всецело над ней господствует, которое превратилось в чистый дух. Диалектика этого мирового процесса состоит в том, что чистое я, составляющее сущность и начало всего, через борьбу с не-я, приходит к самому себе путем преодоления и снятия не-я.

Общий мировой диалектический процесс Фихте формулирует следующими словами: „Эту вечную жизнь и движение во всех жилах чувственной и духовной природы мой глаз видит сквозь то, что другим кажется мертвою массой; он видит, как эта жизнь все повышается и растет, проясняясь до более духовного выражения себя. Вселенная не есть для меня уже возвращающийся в себя круг, беспрестанно повторяющаяся игра, чудовище, пожирающее себя для того, чтобы вновь родить себя таким, каким оно уже было; она одухотворилась пред моими глазами и носит на себе собственную печать духа—постоянное поступательное шествие по прямой линии, идущей в бесконечность, к более совершенному. Солнце восходит и заходит, звезды заходят и вновь появляются, и все сферы движутся в своем круговом танце; но никогда они не приходят в то положение, в каком они были раньше; в светящих источниках жизни заключается жизнь и развитие. Всякий час, принесенный ими, всякое утро, всякий вечер спускаются на мир, неся новый рассвет; новая жизнь и новая любовь струятся из сфер, как роса из тучи, и объемлют природу, как прохладная ночь—землю" [1]).

С точки зрения Фихте нет вообще ничего пребывающего, устойчивого и застывшего; существует лишь непрестанная смена, прогрессивное развитие, движение. Внутренняя сущность вселенной есть деятельность. Фихте эту деятельность облекает в костюм долженствования, конечно, но тем, не менее, деятельность, пусть

[1]) Фихте, Назначение человека, стр. 131.

и моральная, лежит в основе нашего теоретического сознания. Благодаря такой постановке вопроса, Фихте вынужден рассматривать мир, как предмет или арену человеческой деятельности и практики. Мало того, вопрос о реальности мира есть для него вопрос практический, а не теоретический. Так он говорит: „мы вынуждены признать, что мы действуем вообще и что должны действовать известным образом; мы вынуждены принять известную сферу этого действования; эта сфера есть действительно и на самом деле существующий мир, каким мы его находим, и наоборот—этот мир безусловно есть только сфера нашего действования и отнюдь не—что-нибудь больше. Сознание действительного мира вытекает из потребности действования, а не наоборот—потребность действования из сознания мира; эта потребность есть первое, сознание мира есть производное. Мы действуем не потому, что познаем, но познаем потому, что предназначены действовать; практический разум есть корень всякого разума" [1]).

Возвратимся, однако, к диалектике общественно-исторического процесса. Фихте установил, что природа, страсти и пороки людей ведут их к высшему общественному состоянию, при котором человек господствует над природой, интересы общественного целого гармонически сливаются с интересами отдельных граждан. На высшей ступени культуры государство, служившее ранее орудием человеческого прогресса и органом угнетения, становится излишним и само себя уничтожает. Фихте в одном месте называет государство „странным соединением", „неразумною случайностью", но такая характеристика соответствует его идеалистической точке зрения, которая, однако, не мешает ему видеть и действительность в настоящем ее свете.

Фихте предвидит наступление революции, которая создает „истинное государство", как он выражается. Ибо притеснение и угнетение господствующими классами народа должно вызвать их сопротивление. Привилегированные сословия заботятся только о своих привилегиях. Народ до поры до времени терпит. Но когда угнетение достигает высшей меры и станет совершенно невыносимым, угнетенные в отчаянии вновь приобретут ту силу, которая необходима для борьбы и победы. Фихте надеется, что тогда установится истинное государство.

Установление же внутреннего мира, устранение поводов для внутренней борьбы поведет за собой и прекращение внешних войн. Так необходимо следуют из установленного правового устройства внутри государства и из укрепления мира между отдельными гражданами правомерность во внешних отношениях народов друг к другу и всеобщий мир государств. А установление правового устройства внутри государства и освобождение первого народа, становящегося истинно-свободным, необходимо вытекает из гнета господ-

[1]) Фихте. Назначение человека, стр. 84.

ствующих сословий на подчиненные, все растущие и становящиеся, наконец, невыносимыми; этого прогресса с уверенностью можно ожидать от страстей и ослепления господствующих сословий, не устранимого никакими предостережениями". Войны возможны лишь между государствами, основанными на неравенстве. „Невозможно,—говорит Фихте,—чтобы целая нация постановила итти войной на соседнюю страну для грабежа, ибо в государстве, в котором все равны, награбленное не может стать добычей немногих, но должно быть разделено поровну между всеми, а доля, которая досталась бы каждому, не стоит войны. Война с целью грабежа возможна и понятна только там, где выгода достается немногим угнетателям, а потери, труд, расходы падают на многочисленное войско рабов"[1]).

(*Продолжение следует.*)

---

[1]) Фихте, Назначение человека, стр. 94.

Г. Лукач и его теория „овеществления".

И. Вайнштейн.

Философские уклоны, имеющие место среди людей, выдающих себя за марксистов, обнаруживают произвольность умозрительного философствования, которое в философии диалектического материализма должно встречать своего непреклонного врага.

История человеческой мысли, понятая под углом зрения диалектического мировоззрения, менее всего является почвой для строительства гипотез, создавания подозрительных концепций, носящих на себе печать традиционных философских устремлений. Верная и глубокая мысль, открывающая эпоху в истории, становится часто центром притяжения философствующих лиц, философская изобретательность которых хватается за эту мысль, чтобы прикрывать ею свои сомнительные узоры. Подобным сомнительным узором является теория овеществления Г. Лукача [1]). Маркс, как известно, вскрыл фетишистский характер товара и показал, что стоимость не фетиш, невидимо присутствующий в товаре, а производственное отношение в обществе, основанном на индивидуальном обмене между товаропроизводителями. Структура товарного общества вообще, и капиталистического в частности, такова, что вещь становится точкой скрещения и сочетания трудовых связей. Товар создает связь в таком обществе, где отсутствует планомерный регулирующий контроль над производством и где оторванная от производителя вещь попадает на рынок, как единица товарного обращения, подчиненная его специфическим законам. „Отдельные частные работы реализуются фактически лишь как звенья совокупного общественного труда, реализуются в тех отношениях, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве между самими производителями" („Капитал", т. I, стр. 41). Вещь отрывается от производителя потому, что сами производители оторваны друг от друга. Преодоление этого отрыва осуществляется в товарной циркуляции, которая вещно устанавливает общественную связь. Чтобы понять сознание такого общества и образующих его классов, ведущих между собой борьбу, использующих свой идеологический и политический аппарат, как средство в этой борьбе, необходимо выйти за пределы вещности, обратиться к живым конкретным деятелям этой борьбы. Вещи между собой не борются. Если же общественное сознание является важным фактором в этом взаимном историческом состязании, то его, конечно, необходимо понять в аспекте того социально-классового интереса, который находит свое выражение

[1]) См. перевод его статьи „Материализация и пролетарское сознание" в „Вестнике Коммунистической (ранее Социалистической) Академии".

в живых агентах исторического процесса. Гениальность марксового открытия состояла в вскрытии за отношениями вещей отношений людей и, наоборот, в установлении необходимости овеществления производственных отношений в товарном обществе. Лукач, исходя из факта товарного фетишизма, который Маркс так гениально вскрыл, усмотрев за этим таинственным божком человеческие отношения, пытается построить цельную „монистическую" теорию овеществления, по образу и подобию которого формируются все явления данного общества, включая также его сознание. Однако построение Лукача находится в самом решительном противоречии с духом диалектического материализма.

Прежде всего, когда Маркс говорит о капитале, „как автоматическом детище", в котором потеряны все следы его происхождения, он в данном случае вовсе не описывает, как думает Лукач, „склонность сознания к материализации", а говорит о преломлении определенной формы социальных отношений, выступающих, как отношения вещей, в сознании буржуазного теоретика и предпринимателя. Политическая экономия есть наука об отношениях м е ж д у л ю д ь м и, которые представляются, как отношения между вещами. Капиталистическое хозяйство есть товарное хозяйство, отдельные клеточки которого—частнохозяйственные предприятия—управляются формально независимыми товаропроизводителями, непосредственная связь между которыми устанавливается в процессе обмена. Говоря о товарном фетишизме и всех его модификациях в капиталистическом обществе, Маркс меньше всего психологизирует, описывая склонности сознания, а характеризует производственные отношения людей, свойственные капиталистическому обществу. Рубин вполне прав, говоря, что теорию товарного фетишизма правильнее было бы назвать „общей теорией производственных отношений капиталистического общества".

У Лукача мы читаем: „И поскольку капиталистическая политэкономия не идет дальше этой, ею же самой созданной, упрощенности, постольку являются бесплодными попытки буржуазной мысли понять идеологическую сущность материализации". Что же это за упрощенность, созданная капиталистической политэкономией, мешающая ей понять идеологическую сущность материализации? Необходимо сказать, что усматривать в товарном фетишизме упрощенность, созданную капиталистической политэкономией, совершенно несовместимо с диалектическим пониманием общественных явлений. Товарный фетишизм, конечно, не упрощенность, созданная капиталистической политэкономией, а форма, присущая обществу, в котором люди связываются при посредстве вещей. Капиталистическая политэкономия в ее различных стадиях отражает различные фазы капиталистического общества и, следовательно, толковать в данном случае о какой-то произвольно созданной упрощенности, препятствующей понять будто бы идеологическую сущность материализации, совершенно несостоятельно.

„Даже те мыслители, — продолжает дальше Лукач, — которые совсем не хотят отрицать наличность самого факта материализации и его более или менее отрицательных для человека последствий, неспособны подвигаться ни на шаг вперед в деле анализа этого явления и не делают никаких попыток оторваться от произвольных, оторванных от внутреннего существа капитализма, и поэтому поверхностных и пустых форм его проявления и проникнуть в сущность феномена материализации".

Как понимать то, что теоретики капиталистической экономики „отдают себе ясный отчет в его отрицательных для человека последствиях"? Для какого человека? В каких последствиях? Согласно Лукачу, теоретики капиталистической политэкономии не идут дальше описания, и их углубление вопроса ограничено кругом форм проявления этой материализации. На деле же не совсем так. Капиталистические теоретики не только описывают, но также объясняют. Но в том-то и дело, что корень этих объяснений, не идущих дальше определенной грани, необходимо искать не на почве вещественности, а на почве а н т а г о н и с т и ч е с к о й о б щ е с т в е н н о с т и, какая побуждает этих теоретиков даже „отрицательные для человека последствия" превращать в вечное благо и спасительный стержень социального благополучия. Возьмем, например, классическую экономию и ее виднейшего представителя Рикардо. В чем его существенное отличие от Маркса? Почему Рикардо не проник в сущность „явления материализации"? Согласно Рикардо, как известно, величина стоимости изменяется в зависимости от изменения производительности труда. Труд является и для Рикардо субстанцией стоимости товара. Но стоимость товара, как производительный труд, не является для Рикардо социальной категорией, а вечной формой общественного производства. „Правда,—говорит Маркс,—политическая экономия анализировала, хотя недостаточно, стоимость и величину стоимости и раскрыла скрытое в этих формах содержание. Но она ни разу даже не поставила вопроса: почему это содержание принимает такую ф о р м у, другими словами—почему труд выражается в стоимости, а продолжительность труда, как его мера, величине стоимости продукта труда" (Капитал, т. I, стр. 47—48). Классическая экономия исследовала процесс производства в его материально-технической основе, но она совершенно не рассматривала его под углом зрения общественного антагонизма.

Экономические категории Маркса, категории стоимости, денег, капитала, вскрытые скальпелем диалектического метода, говорят уже не только о производственных отношениях вообще — таковые имеют место и у классиков,—а об определенной форме отношений между капиталистами и рабочими. Дело, следовательно, не только в вещественном характере производственных отношений, но в их определенной социально-антагонистической форме, которую они приобретают на данной стадии развития производительных сил. Не вещественный характер производственных отношений в капиталистическом обществе, а данный интерес господствующего класса, составляющий непреодолимую предпосылку экономического мышления его теоретиков, определял точку зрения Рикардо, согласно которой капитал есть „накопленный труд", т.-е. поощрял его видеть лишь „средства производства" там, где наличествует социально-классовая противоположность. Именно классовый интерес препятствует буржуазному теоретику преодолеть фетишистскую точку зрения, проникнуть в сущность овеществления и, таким образом, стать на точку зрения диалектического материализма, т.-е. мировоззрения рабочего класса. Но даже возможное проникновение буржуазным теоретиком в суть овеществления еще не гарантирует его от идеологических и фетишистских иллюзий, если цели классового интереса подавляют и сковывают его теоретический кругозор. Если капитал не есть автоматический фетиш, не деньги, высиживающие деньги, то он является стоимостью, создающей прибавочную стоимость, т.-е. общественным отношением эксплоатации и угнетения, возможным благодаря владению господствующим классом накопленным трудом, т.-е. средствами производства. Констатирование же такой социальной формации есть уже преодоление классовой точки зрения буржуазии и всякого рода идеологических и социальных иллюзий, которое естественно не может иметь места у буржуаз-

ного теоретика, как такового. Тайну всякой общественной конструкции следует искать в отношении владельцев средств производства к непосредственным производителям. Теоретики буржуазии, как и всевозможные разновидности теоретического оппортунизма, направляют свои усилия к идеологическому искажению и притуплению классовых противоречий, что и приводит к „идеологизации" данных общественных отношений и затемнению их диалектической сущности. Обнаружение же этой диалектической сущности невозможно без обращения к данному типу производственных отношений людей, проливающему свет на все феномены данного общества, как материализации, так и идеализации. Марке проник в идеологическую сущность овеществления, вскрыл социальную подоплеку товарного фетишизма, когда он стал рассматривать процесс истории диалектически. Тогда-то вместо немой вещности развернулась драма социальной борьбы. Правда, производственные отношения в товарном обществе вообще, а в капиталистическом — в частности, выступают как отношения вещей. Однако не эти отношения вещей, а именно отношения людей, руководимых экономическими интересами, освещают основные проблемы данного общественного бытия в его многообразных социальных и идеологических преломлениях.

В начале было действие. Когда Плеханов охарактеризовал диалектический материализм, как философию действия, он собственно высказал только ту мысль Маркса, которую последний применил к оценке материализма Фейербаха в отличие от диалектического материализма. „Главный недостаток материализма—до Фейербаховского включительно—состоял до сих пор в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый внешними чувствами, мир в форме объекта или в форме созерцания, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не субъективно. Поэтому деятельную сторону, в противоположность материализму, развивал до сих пор идеализм, но развивал отвлеченно, так как идеализм не признает конкретной деятельности, как таковой. Фейербах хочет иметь дело с конкретными объектами, действительно отличными от объектов, существующих лишь в наших мыслях, но он не доходит до взгляда на человеческую деятельность, как предметную деятельность". Дело в том, что историческая закономерность осуществляется не вне этого субъективного действования, а в процессе такого действования, которое захватывает, проникает, освещает вещественность, теряющую в аспекте этого действования свой мистический таинственный характер, приобретающую человеческую физиономию. Проблема капиталистического общества для Маркса есть проблема производственных отношений между капиталистами и рабочими, принявших вещную форму. Но методологическая оригинальность Маркса состояла в социологическом преодолении этой вещественности, выразилась в разоблачении этого вещественного фетиша.

Мы уже видели, что одно из основных отличий диалектического материализма Маркса от материализма Фейербаха заключается в том, что он рассматривает действительность не только в форме объекта, но и в форме конкретной человеческой деятельности, т.-е. субъективно. Ленин,—гениальный мастер в сфере революционного действования, указывал, что революция может не произойти, если к объективным предпосылкам революции не присоединятся субъективные, а именно способность революционного класса на революционные массовые действия. Оппортунистический объективизм всегда предпочитает ограничиться объектом, предоставляя ему безраздельную инициативу в области революционного действия, переходя в свете такого объективизма в полное политическое непротивление.

Диалектическому материализму, как теории революционного действия, противоречит такая теория материализации, которая в „вещи", призрачной объективности, ищет тайну всей структуры человеческого сознания (Материализация и пролетарское сознание, стр. 209), совершенно игнорируя субъективную сторону, выступающую в форме классового антагонизма. „Как и при всякой исторической, и социальной науке,—превосходно говорит Маркс,—по отношению к экономическим категориям нужно постоянно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове здесь дан субъект, в нашем случае—современное буржуазное общество, что поэтому категории выражают форму бытия, условия существования, частью только отдельные стороны этого определенного общества, этого субъекта" (Введение к критике полит. экономии, стр. 31). Общественное, а не вещественное бытие людей определяет их сознание. Материалистическая теория истории в общественных отношениях ищет объяснения феноменов, имеющих место в данном общественном целом.

Естественно, что поскольку отношение людей принимает форму отношения вещей, подобный вещный характер общественных отношений неминуемо накладывает особый отпечаток и на такое общество, сравнительно, например, с обществом, в котором люди в процессе производства связываются непосредственно, а не через посредство вещей. Буржуазия,—говорит Маркс,—превратила в меновую стоимость личные достоинства человека и на место бесчисленного множества благоприобретенных и патентованных свобод оставила одну беззастенчивую свободу торговли. Словом, эксплоатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплоатацией прямой, бесстыдной и сухой. Буржуазия лишила обаяния все те почетные роды деятельности, на которые до сих пор смотрели с благоговейным трепетом. Врача и юриста, священника и поэта, человека науки, она превратила в наемных работников". Универсальный обмен образовал, согласно Маркса, такой порядок, что даже те вещи, „которые до того были передаваемы, но не обмениваемы, были даруемы, но не продаваемы, были приобретаемы, но не покупаемы,—добродетель, любовь, убеждения, знания,—все стало, наконец, „продажным". Приведенные слова Маркса с классической четкостью отмечают всеобщее проникновение меновой стоимости во все явления социального и идеологического порядка. Но не следует упускать из виду, что в данном случае Маркс эту универсальную материализацию называет открытой, прямой, бесстыдной и сухой эксплоатацией. Феномен овеществления рассматривается им не в его самодовлеющей отчужденности, как ключ ко всем явлениям данного общества, а как непосредственное выражение социального антагонизма, выступающего в форме товарного фетиша. У Лукача же социальный момент совершенно затушевывается моментом вещности. „Бессовестность журналистов,—говорит Лукач,—проституирование их воззрений и убеждений нужно рассматривать как кульминационный пункт капиталистического овеществления". О каких же журналистах идет речь у Лукача? Конечно, не о пролетарских. Речь, следовательно, идет о буржуазных журналистах. Но проституирование их воззрений характерно вообще для „дипломированных лакеев буржуазии", характерно опять-таки, как орудие классовой борьбы. Проституирование журналистами своих воззрений следует рассматривать вовсе не как кульминационный пункт капиталистического овеществления, а как одну из форм борьбы капиталистического класса, борьбы,

конечно, являющейся не борьбой за истину, а борьбой за власть, не брезгающей ни лицемерием, ни простатуированием.

„Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна". Гениальность Маркса, который всегда руководствовался диалектическим методом, состояла в вскрытии конкретных моментов, скрытых под вещественной оболочкой. Капитал для Маркса есть не вещь, не накопленный труд, а „социальная форма, которую принимают средства воспроизводства на базисе наемного труда". Так, неопределенная вещность сводится к общественной определенности, которая является той центральной проблемой, решение которой влечет неизбежное раскрытие всех проблем данного общества. Маркс всегда требовал конкретности, что ярко выразилось в его основном теоретическом требовании, чтобы в методе политической экономии „субъект, т.-е. общество, постоянно витало в нашем представлении, как предпосылка". Маркс, напр., упрекает Гегеля, который начинает философию права с владения, как простейшего правового отношения субъекта. „Но никакого владения не существует до семьи или до отношения господства и подчинения, которые являются гораздо более конкретными отношениями". Поэтому было бы правильнее сказать, что существуют семьи, роды, которые еще только в л а д е ю т, но не и м е ю т с о б с т в е н н о с т и. Итак,—говорит Маркс,—хотя простейшая категория может существовать раньше конкретной, но в своем полном внутреннем и внешнем развитии она может встречаться только в сложных общественных формах, в то время когда более конкретная категория является совершенно развитой и в менее развитых общественных формациях" (Введение, стр. 27). Определенная производственная организация, тайна которой скрывается в отношении собственников средств производства к непосредственным производителям, составляет средоточие всех нитей данной социальной структуры. Когда же во главу угла выдвигается вещность, „как прообраз всех форм объективного и всех им соответствующих форм субъективного", то это означает такое поглощение субъективного объективным, какое коренным образом противоречит диалектическому материализму,—философии действия.

Приводя слова Энгельса, что в современном государстве право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, „но также быть е г о в ы р а ж е н и е м в н у т р е н н е - с о г л а с о в а н н ы м, которое благодаря внутренним противоречиям не шло бы само против себя, что для достижения этого точность отражения экономических отношений страдает все более и более", Лукач говорит следующее: „Вряд ли здесь необходимо приводить дальнейшие примеры, характеризующие выращивание обособления и взаимную борьбу между отдельными „пружинами" управления (стоит лишь напомнить об отделении военного аппарата от гражданского управления), между факультетами и т. д". Интерпретация не совсем верная. Энгельс собственно хочет сказать, что право, как идеологическое орудие господствующего класса капиталистов, имеет еще своей задачей затушевывать и притуплять острые углы этого господства, что оно стремится скрывать свою классовую сущность и предстать как внеклассовое, вечное и безотносительное к чьему-либо интересу, что подобное искаженное отражение экономических отношений буржуазным правом тем чаще, чем реже случается, что „кодекс" законов представляет собою резкое, несмягченное правдивое выражение господства одного класса". Кажется, ясно. У Энгельса речь идет о классовом праве, которое стремится увенчать себя цветком вечности, препятствуя различению его подлинной классовой природы. Все, если можно так выразиться, выверты и искажения права ставятся Энгельсом

в тесную связь с его классовым характером. А как обстоит дело у Лукача? Подобное отрешение права от его экономической базы характеризует для Лукача борьбу между пружинами, факультетами. Если мы внимательно приглядимся к его „монистической" теории, то пред нами всплывает одно очень интересное обстоятельство, а именно аналогия с некоторыми чертами в мировоззрении Богданова. Такова роль, которая приписывается Лукачем специализации. Специализация фигурирует у Богданова как основное грехопадение, как роковой источник царствующих и возникающих диссонансов, преодоление которого универсальным организационным опытом есть осуществление высшей социальной гармонии. Указывая на рационализацию отдельных функций в капиталистическом обществе, имеющую место наряду с иррациональностью и проблематической „закономерностью" целого, Лукач говорит: „Но эта рационализация, обособление отдельных функций неизбежно порождает тенденцию к тому, чтобы каждая из последних, независимо от других отдельных функций общества, подчинялась логике специализации и развивалась самостоятельно дальше. И эта тенденция, понятно, усиливается с ростом нормализации при разделении труда. Ибо, чем больше является разделенным труд, тем сильнее обособляются профессиональные кооперативные интересы специалистов, которые и являются носителями этих тенденций. Это движение в сторону обособленности не ограничивается частью какой-либо определенной области. Оно даже делается еще более заметным, если мы рассматриваем большие отрасли, которые создаются на основе разделения труда". Логика специализации, таким образом, фигурирует и у Лукача, как та разрывающая сила, благодаря которой утрачивается представление о целом, действительность разбивается на фрагменты, а наука превращается в систему, для которой лежащий за ее пределами мир, и вместе с ним в первую голову ее собственный материал познания, методически и принципиально будет представляться как непознаваемый". Но эта же логика специализации приводит к „борьбе пружин", т.-е. затемнению действительной социальной классовой борьбы, способной единственно вскрывать всякого рода иррациональности, проявляются ли они в анархии общественного производства или же в какой-нибудь идеологической разновидности, напр., в философской системе какого-нибудь Шпенглера. Именно классовое отношение, как пружина социального прогресса, как диалектика общественного процесса, мешает, напр., буржуазному теоретику встать на диалектическую точку зрения. Но в том-то и дело; что у Лукача диалектическая методология уступает методологии овеществления. „Мы уже здесь подчеркивали и неоднократно,—говорит Лукач,—что явление кризиса составляет проблему, которая воздвигает непреодолимые препятствия для буржуазной экономической мысли. Если мы теперь, вполне сознавая всю односторонность этого, рассматриваем этот вопрос с чисто методической точки зрения, то обнаруживается, что как раз успех экономической рационалистики, превращение экономики в абстрактную, со возможности усложненную математическими формулами систему законов, создает методические границы для понимания проблемы кризисов".

Не будет преувеличение, если я скажу, что сам Лукач находится в плену формализма, который от него заслоняет действительную сущность вещей. Дело в том, что методическую границу для понимания проблемы кризисов создает для буржуазного экономиста вовсе не экономическая рационалистика, ибо наука и есть применение рационального метода к эмпирическим данным, а ненависть к рациональному зерну диалектики, применение которой, напр., к проблеме

кризисов, есть прикосновение к самым опасным и смертельным язвам капиталистического общества. Энгельс, рассматривая кризисы с диалектической точки зрения, указывает, что они вытекают из самой сущности капиталистической промышленности и конкуренции, что „при современной беспорядочной системе производства и распределения продуктов, при производстве не ради непосредственного удовлетворения потребностей, а ради наживы, при системе, при которой каждый работает и обогащается на свой риск и страх, не может не грозить каждый момент застой". Энгельс далее говорит, что кризис, наступавший с начала последнего столетия через каждые 5—7 лет, каждый раз был сопряжен с величайшей нищетой рабочих, общим революционным возбуждением и величайшей опасностью для всего существующего порядка. Диалектическое толкование проблемы кризиса связано у Энгельса, с одной стороны, с констатированием определенной системы распределения продуктов, капиталистического способа производства, а с другой стороны, тесно связывает его отрицательное действие с тем классом, который от него непосредственно страдает, приходя от него в революционное возбуждение, угрожающее всему существующему порядку. Совершенно ясно, что буржуазные теоретики в толковании кризисов методологически будут избегать тех моментов, которые ведут по линии революционно-классового разрушения их источника, т.-е. капиталистического общества, что, напр., диспропорциональность между производством и потреблением, которая говорит о социально-классовой противоположности труда и капитала, уступит место теоретическим усилиям отыскать причины кризисов в диспропорциональности между элементами одного только производства. Совершенно ясно, что не рационалистика является в данном случае определяющей для буржуазного теоретика, а, наоборот, определенное общественное отношение определяет его методологию, конечно, ведущую к совершенно иным следствиям, нежели методология пролетариата. Лукач, повидимому, чует что-то неладное в такого рода толковании, выделяющем рационалистическую методологию, как определяющую силу для социальных феноменов, и делает такую спасительную оговорку—„непостигаемость и иррациональность кризисов для буржуазного сознания, хотя и связано внутренно с классовым положением и с классовыми интересами буржуазии, но формально все это есть неизбежный результат самого его метода" (М. и П. С., 16). Но такое разделение Лукачем между внутренним, повидимому, содержанием и формой, не спасая положения, делает его, наоборот, еще более шатким и сомнительным. Лукач, чтобы оправдать методологическую неизбежность такого непонимания проблемы кризиса для буржуазного теоретика, ссылается на теорию Тугана-Барановского, в которой последний, давая анализ кризисов на протяжении почти столетия, пытается почти совсем выбросить из экономии факт потребления и создать экономию чистого производства. Но совершенно ясно, что, рассматривая кризисы с точки зрения чистого производства и не касаясь совершенно потребления, буржуазный теоретик теоретически затушевывает основную социальную характеристику кризисов, как восстание производительных сил против существующего способа производства, затушевывает то абсурдное противоречие, „смысл которого заключается в том, что производителям нечего потреблять, т. к. нехватает потребителей" (Энгельс). Повторяю, не экономическая рационалистика обусловливает иррациональность и непостижимость кризиса для буржуазного теоретика, а определенная классовая тенденция предначертывает для него те рамки, преступить которые ему не дано. Тут, однако, всплывает следующий вопрос: если роковая и непреодолимая преграда к постижению основной сущности социальных явлений заключается для буржуазного теоретика в формально-теоретическом методе, то, ведь, есть так называемая интуитивная школа (Бергсон, Джеме), которая гносеологически восстает против узурпаторских притязаний рационализма, выдвигая интуицию, как наиболее правомочный орган познания, способный посредством симпатии проникнуть в самые недра жизни. Не окажется ли тогда философия Бергсона в роли спасителя познания от парализующего его формализма? Не оттуда ли засияет свет, ибо конструкция Лукача логически так и ведет к подобным выводам. Не суждено ли и иррациональному интуитивизму Бергсона проникнуть также в явления материализации? Послушаем Лукача: „Возможно сомнение в ценности формального познания при его сопоставлении с живой жизнью (Филос. иррац. от Гамана до Бергсона). На-ряду с этими случайными тенденциями, основная тенденция философского развития заключается в том, чтобы признать результаты и методы отдельных наук необходимыми и фактически данными и поставить перед философией цель вскрыть значение такого метода познания и оправдать его". Лукач, таким образом, различает основную и случайную тенденцию в философии. „Жизненная" тенденция философии оказывается случайной в сравнении с основной рационалистической тенденцией, которая безналежно удаляется от возможности проникнуть в явление материализации. Однако совершенно непонятно, как можно считать случайностью, напр., интуитивное направление в философии, которое гносеологически обосновывает всякого рода религиозные причуды, идущие в разрез с основными данными научного мышления, но идеологически целесообразные для буржуазного теоретика и класса капиталистов. Разве, напр., случайно иррациональное устремление у Джемса с его апофеозом религиозного чувства, прославлением религиозных контрастов, обогащающих и усложняющих мир, так как последний становится „более богатым оттого, что есть дьявол, если есть и архангел Михаил, который может придавить своей ногой главу его". Подобная идеологическая фразеология далеко не случайна в упадочной философии буржуазии, теоретики которой стремятся водрузить знамя научной поповщины, преследующей идеологическое приручение классовой борьбы и предохранение от всех связанных с ней революционных потрясений. „Не случайность же в самом деле,—восклицает Ленин, — что за маленькую школу эмпириокритиков хватаются и английские спиритуалисты, вроде Уорда, и французские неокритицисты, хвалящие Маха за борьбу с материализмом, и немецкие имманенты".

Если, таким образом, оказывается, что архибуржуазные философы становятся на точку зрения иррационального в их стремлении преодолеть рационалистический формализм, то точке зрения Лукача совершенно противоречат его слова, „что радикальное изменение самой исходной точки зрения совершенно невозможно на базисе буржуазного общества". Если стать на его точку зрения, то „жизненная" философия Бергсона, хоть и „случайная", все же является таким радикальным изменением формалистической точки зрения, так как, ведь, она претендует на проникновение в сущность вещей, выдвигает сущность, как достойный объект гносеологических усилий в противовес формально-рационалистическим достижениям интеллекта, касающимся только отношений. Довольно грустный результат.

Джон Толанд.

Г. Тымянский.

I.

Писать о Джоне Толанде—значит писать о забытом выдающемся человеке, общественном деятеле и мыслителе. История знает много замечательных мыслителей, оставивших глубокий след в истории научной мысли и философии и забытых после смерти. Даже Бенедикт Спиноза долго был совершенно забыт, и лишь в конце XVIII века о нем вспомнили и стали его изучать. Спиноза нашел своего мессию в лице Лессинга и немецких идеалистов начала прошлого столетия. Последние многие части своих учений основывали на философии Спинозы. Толанд же продолжает оставаться неизвестным по настоящий день. О нем пишут иногда, посвящают ему несколько строк или страниц, но по настоящее время не существует монографии, посвященной этому замечательному человеку, борцу и мыслителю.

Геттнер в своей истории литературы уделяет Толанду несколько страниц, в которых излагает его религиозные воззрения, но оставляет в стороне его философские воззрения. Все же Геттнер выражает недоумение по поводу того, что философы совершенно не интересуются Толандом, несмотря на глубокий интерес, который могут вызвать его философские произведения. Это недоумение Геттнера легко объясняется тем обстоятельством, что Д. Толанд был атеистом и материалистом и в своих произведениях нисколько не пытался, подобно многим философам того времени, скрывать или замаскировывать свои взгляды. Насколько откровенные и смелые мысли Толанда заставляли говорить и писать о себе при жизни его, настолько о нем, точно по соглашению, стали молчать после его смерти. Лишь в недавнее время стали нередка вспоминать о Тольнде. Альберт Ланге в своей истории материализма уделил ему место среди английских материалистов. Он соглашается с тем, что Толанд представляет собою чрезвычайно интересного и последовательного мыслителя-материалиста, оказавшего большое влияние не только на современников, но и на целое поколение английских общественных деятелей, людей науки и философов. А. Ланге отмечает также влияние Толанда на французских материалистов XVIII века, которые во многом непосредственно заимствовали от последнего свои философские и религиозные взгляды. Все же А. Ланге уделяет Толанду чрезвычайно мало места и почти не говорит о его философских взглядах. В 70-х годах прошлого столетия, под влиянием развития монистических взглядов, в Германии появилась маленькая брошюра Бертольда, содержащая изложение 4-го и перевод 5-го из писем, содержащихся в его „Письмах к Серене". Эти два письма как раз и содержат философские воззрения Толанда. Затем

обзор произведений Толанда дает Маутнер в его „Истории атеизма". Все эти исследователи, писавшие о Толанде, как это видно из их собственных признаний, лишь отчасти пользовались произведениями самого Толанда, достать которые в высшей степени трудно, вследствие их редкости. Главным источником для изучения Толанда служил труд немецкого пастора Торшмида, составившего в 1766 г. библиотеку английских свободных мыслителей, в которой Толанду посвящены 3-й и 4-й тома. В этих томах библиотеки Торшмида даны не столько изложения сочинений самого Толанда, сколько краткие содержания возражений тех лиц, которые выступали против Толанда. Хотя эти возражения противников Толанда носят большей частью характер брани по его адресу и занимаются распространением всякого рода клеветы про него, все же эта книга дает отчасти понятие о том отношении, которое вызвали к себе сочинения Толанда, а также о том влиянии, которое его сочинения оказывали на современников. Та ненависть и злоба, с которой говорят о Толанде его критики, в том числе и сам Торшмид, показывают, что Толанд был опасным человеком, имел значительное влияние на своих современников, что к нему прислушивались и иногда даже соглашались с ним. Живой, экспансивный характер Толанда, его темперамент борца, способность немедленно отзываться на всякие волнующие политические и общественные явления, его плодовитость, как писателя — все эти черты, которые, с одной стороны, привлекали к нему друзей и создавали вокруг него группу лиц, сочувствовавших ему в его деятельности, но, с другой стороны, создавали ему неисчислимое количество заклятых врагов. Последние тем яростнее нападали на него, что Толанд находил защитников в лице „свободных мыслителей" Англии, иногда знатных и влиятельных людей, и вследствие своей политической деятельности вступал иногда в сношения с царствующими лицами и значительными людьми своего времени, вроде Софии-Шарлотты, Лейбница и Локка.

Толанд начал свою деятельность, как последователь Локка, в особенности его учения о религии и веротерпимости.

XVIII век в Англии был преимущественно веком религиозной борьбы. Усиление буржуазии, ее вступление на политическую арену, борьба с королями, революция, гражданская война,—все эти общественные события преломлялись в своеобразных формах, в религиозных взглядах и убеждениях англичан того времени. Люди вступали в партии, сближались, расходились, становились друзьями или врагами, субъективно полагая, что причиной этого являются расхождения по вопросам о трансубстанции, тринитарстве, двойном крещении и т. п. Религиозные вопросы находились в центре борьбы. Социальные интересы, лежавшие в основании борьбы групп и классов, в сознании людей имели второстепенное значение. Когда социальная борьба в Англии всколыхнула широкие низы, последние, чуждые религиозного фанатизма католиков, сторонников англиканской церкви, пуритан и пресвитериан, стали выдвигать на-ряду с требованием социальных реформ и требование веротерпимости, права всех свободно исповедывать какие-угодно религиозные убеждения и выполнять свои религиозные обряды. Идея веротерпимости скоро стала популярной не только среди левеллеров, к которым принадлежали, главным образом, ремесленники и крестьяне, но и среди средних и высших классов. Фанатизм пуритан, их эксцентрическое благочестие, разговоры и писания, в которых преобладали цитаты из библии, их отвращение ко всем человеческим удовольствиям и развлечениям, их строгая, почти аскетическая жизнь скоро стали раздражать практически настроенных англичан. В памфлетах, брошюрах стали появляться насмешки против „святых" и против идеи

христианского государства вообще. Все чаще стали раздаваться голоса против какой бы то ни было религиозной борьбы. Народ устал от долгого религиозного исступления. Поэтому, когда на смену революции наступила политическая реакция, она в то же время явилась реакцией против религии. „Веселое" царствование Карла II было временем совершенного пренебрежения религией, отвращения ко всему, что напоминало религиозные споры. Двор, высшие классы, даже буржуазия точно свободно вздохнули после душных религиозных собраний и стали всячески чуждаться всего, что напоминало эпоху ожесточенной борьбы церквей. Даже такой философ, как Гоббс, который в политическом отношении был сторонником абсолютной монархии, в области религии был ярым врагом духовенства и церкви. Однако антирелигиозное направление реакции было лишь временным настроением, вызванным враждой к революции и всему, что напоминало ее. Между тем противорелигиозно были настроены не только реакционные элементы, не только двор и золотая молодежь, но и либеральные элементы Англии, недовольные политической реакцией и реставрацией, сторонники верховенства народа и его свободы. Они тоже выступали против религиозного дурмана времени Кромвеля и царства „святых", и если занимались и сейчас религиозными вопросами, то не с целью доказывать религиозные догматы и проповедывать ту или иную религию, а, наоборот, с тем, чтобы проповедывать религиозную свободу и веротерпимость. Лозунг левеллеров, отделение церкви от государства, был подхвачен в особенности группой лиц, которые несколько позже назвали себя „свободными мыслителями" и известны в литературе как деисты. Таким образом деизм, не только как теоретическая проблема, но и как общественное движение объясняется в Англии, во-первых, реакцией против религиозного увлечения начала XVII века, во-вторых, усилением буржуазии и осуществлением ряда ее либеральных требований и, в-третьих, влиянием демократических идей левеллеров. Деисты, однако, занимались не только тем, что выставляли общественно-политические требования, они представляли собою и философское течение, ставившее себе целью философски обосновать свои стремления и идеалы в области политических и религиозных реформ. Первым, кто высказал идеи, близкие деизму в Англии, был врач Томас Браун, родившийся в Лондоне в 1605 г. Его книга „Религия врача" (Religia medici), написанная во время первых смут гражданской войны, пользовалась чрезвычайным успехом. Она была переведена на немецкий, французский, голландский и итальянский языки. Во время реставрации она была настольной книгой для всей английской знати, черпавшей из нее материалы, которыми она обосновывала свое отрицательное отношение к религии и с помощью которых боролась с фанатизмом пуритан. Книга эта, однако, по своему содержанию не заслуживает того распространения и того восторга, какой она вызвала в свое время. Ее успех объясняется тем, что она появилась во-время. Она не содержит последовательного изложения деизма. Ее содержание, часто встречающиеся противоречия при рассмотрении одних и тех же проблем, ее стремления к обнаружению в природе таинственных сил, независимых от материи, грубые суеверия, которыми она во многих местах проникнута, таковы, что ее успех вызывает удивление. Вследствие противоречий, которые в ней встречаются, она вызвала ряд недоразумений. Ее автора считали своим католики в Париже, а в Риме ее ввели в список запрещенных книг, квакеры хотели его привлечь на свою сторону, а в Германии ее считали атеистической. Достоинства книги в том, что написана она талантливо и пытается дать исследование религии на основании не откровения, а разума. Она противопоставляет древнее христианство, с его наивностью и простотой церковному, которое является продуктом насилия императоров, честолюбия и жадности епископов. Последние идеи и являются характерными для всего последующего деизма. Браун не отрицает безусловно религиозных догматов. Он ищет общее во всех христианских религиях, и это общее он видит в „совести". В книге иногда звучат слова об общечеловеческой дружбе и проповедуется мораль, напоминающая этику стоиков. В эпоху реставрации пользуется большим вниманием, как враг религии, Томас Гоббс. Гоббс—сторонник сильной государственной власти и враг всякой личной свободы. Он резко критикует веру в боговдохновенность, в непосредственное божественное откровение. Как материалист и рационалист, он враг всяких „чудес", всего, что нельзя объяснить и понять посредством разума. Отдельная личность, по его мнению, не в силах установить, какая религия истинна, а потому должна подчиниться государством установленной религии. Таким образом Гоббс, требуя от всех граждан подчинения государственной религии, превращает самое религию в государственное установление. Он признает необходимость подчинения догматам не в силу их откровения и объективной истины, а в силу того, что государственная власть требует веры в них.

Учение Гоббса, проникнутое религиозным скептицизмом, хотя и имело значение для развития свободомыслия в религиозном отношении, не оказало, однако, непосредственного влияния на развитие деизма в Англии. Философом деизма, его обоснователем является Джон Локк. Трезвый мыслитель, настроенный враждебно против схоластики, проникнутый научными идеями нового времени, он и в области политической, и в области религиозной был либеральным человеком, проповедником идей либеральной буржуазии. Если Гоббс удовлетворял своей политической доктриной и атеистическим материализмом консерваторов и королевский двор, то свободолюбие Д. Локка, его политические убеждения раздражали консерваторов и вызывали сочувствие в среде либеральной буржуазии. Ему пришлось за свои взгляды бежать из Англии и долгое время жить в Голландии, где он написал свой знаменитый „Опыт о человеческом разуме". Его религиозные взгляды выражены в указанной большой работе, но главным образом в его письмах о веротерпимости (Letters of toleration) и разумном христианстве (The reasonebleness of christianity, as delivered in the scriptures). Но и Локк не является последовательным деистом. Религиозные авторитеты были еще настолько сильны в то время, что нужно было обладать большим героизмом, чтобы высказывать хотя бы самые скромные сомнения в религиозных догматах. Быть же последовательным в этой области—значило вызвать к себе враждебное отношение не только со стороны церкви и ее служителей, но и всего общественного мнения. Деизм сам по себе является не последовательным учением, поскольку он результат компромисса между религией и наукой. Деизм же англичан вообще, а в особенности деизм Локка еще скромнее, еще осторожнее.

Локк не отрицал совсем откровения, он считал возможным согласование откровения с разумом. По его мнению, откровение легче дает нам истины, которые разум добывает с трудом. Сущность христианства он видел в идее мессии. Христос-мессия освободил человечество от ответственности за первородный грех, и дарованная им человечеству новая жизнь зависит от добродетели каждого. Таким образом религия основывается у Локка на нравственности, она побуждает к нравственной жизни. С другой стороны, так как все христианские секты согласны с идеей мессии, а магометане, иудеи и

язычники с его точки зрения также могут быть людьми нравственными, хотя и с большим трудом, то отсюда следовало требование широкой веротерпимости. Впрочем, следует отметить, что Локк не распространял своей веротерпимости, вероятно, из-за политических соображений, на католиков. Ход мыслей Локка, способ его изложения, его доводы, вера в разум не только оказали большое влияние на деистов, но последние в первое время почти дословно повторяли идеи Локка. Даже Толанд в первых своих произведениях почти дословно повторял аргументы Локка. Стариком Локк переписывался с юношей, который писал ему, что он хочет искать истину, независимо от того, нравится ли она кому-нибудь. Этот юноша был Коллинс, один из выдающихся свободных мыслителей Англии. В своей, пользовавшейся известностью, книге „Рассуждение о свободомыслии" (A discourse of free thinking. London, 1713) он пошел, под влиянием Толанда, значительно дальше Локка и совершенно отрицает откровение. Он смело отбрасывает все религиозные авторитеты, не считаясь с теми ширмами, за которыми Локк и другие скрывали свои деистические убеждения, а откровенно признает разум единственным авторитетом. Он доказывает, что языческие ученые выдающиеся люди, упоминающиеся в библии, вроде Соломона, пророков и даже апостолов, были свободными мыслителями. Ту же идею—значение разума, отрицание откровения, искание разумного элемента в священном писании, указание на властолюбие и жадность священников, как на причины религиозных учений и таинств—развивали более или менее талантливо и другие деисты: Толанд, Тиндаль, Вульстон, Лайонс.

Однако самым выдающимся и глубоким из них был все же Джон Толанд, в чьей личности, как в фокусе, сосредоточились религиозные сомнения его времени и политические идеалы века. Для Толанда деизм был лишь ступенью в его религиозно-философском развитии; он пошел значительно дальше своих современников и единомышленников и, делая последовательные логические выводы из принятых посылок, построил стройную материалистическую систему философии.

Относительно жизни Джона Толанда существуют немногие данные, которые, однако, далеко не являются ни в достаточной степени полными, ни в достаточной степени достоверными. Уже относительно года его рождения имеются разногласия. Некоторые считают годом его рождения 30 ноября 1670 года, другие—1671 г. Оба утверждения не точны, так как основываются на случайных замечаниях Толанда. Все же более вероятным следует считать 1671 год, так как в примечании к „Океана" Гаррингтона и в Апологии, появившейся в 1697 г., Толанд указывает именно на этот год своего рождения. Родился он в Ирландии вблизи Лондондерри. О его семье ничего не известно. Единственным источником в этом отношении является свидетельство, которое Толанд в 1708 г. поручил составить для себя трем монахам-францисканцам. В этом свидетельстве указано, что Толанд происходит из старинной и знаменитой семьи, которая жила в продолжение многих столетий на так называемом полуострове Енис Овен, на севере Ирландии, близ Лондондерри. Однако этому документу особенно доверять не следует. Известно только, что Толанд родился и воспитывался в католической семье. „Когда мне еще не было семи лет,—рассказывает он в своей Апологии,—я почувствовал ненависть к папизму, ненависть, которую я испытываю по настоящий день и которую буду чувствовать с божьей помощью всегда" [1]). „Богу угодно было,—пишет он далее,—чтобы я, воспитавшийся с колыбели в самом грубом

[1]) An Apologyu, p. 14.

суеверии и идолопоклонстве, сделал мой собственный разум и разум людей, умеющих извлекать из него пользу, орудием моего обращения. Таким образом, я очень рано стал привыкать к размышлению и исследованию и учился защищать свой разум, как и свои чувства, от плена каких-либо лиц или какого-либо общества". В школе Толанд сильно увлекся изучением классиков, и характерно для юного Толанда, что место в истории Ливия, где установление Нумой римской религии объясняется политическими целями, так ему понравилось, что он это место выучил наизусть. Свою любовь к классикам Толанд сохранил в продолжение всей жизни и в своих сочинениях. Впоследствии он часто ссылается на классические авторитеты.

Из Редкастеля, вблизи Лондондерри, Толанд в 1687 году отправился в Глазго, где поступил в университет. После трехлетнего пребывания там, он отправился в Эдинбургский университет, который окончил в 1690 г. (30 июня), был избран Master of Arts и получил от профессоров обычный диплом. Затем он вновь возвращается в Глазго, где получает от магистрата свидетельство о том, что во время пребывания в качестве студента в Глазго обнаружил себя деятельным протестантом. Отсюда Толанд направился в Англию и жил некоторое время в протестантских семьях, а затем направился в Голландию, где поселился в Лейдене, чтобы иметь возможность в Лейденском университете закончить свое образование. В Лейдене Толанд завязал знакомство с английскими диссентерами, которые оказали ему щедрую поддержку. Толанд в среде диссентеров пользовался большим успехом, так как последние обратили внимание на его незаурядные умственные способности и таланты и возлагали на него большие надежды в будущем. После двухлетнего пребывания в Лейдене, Толанд возвратился в Англию и направился в Оксфорд, где стал собирать в знаменитой университетской библиотеке Бодлея материалы для своих будущих работ. По этому поводу благочестивый пастор Торшмид возмущенно заявляет, что он использовал библиотеку для „грешных целей". Через некоторое время работы в библиотеке Толанд написал небольшое рассуждение, в котором пытается доказать, что трагическая смерть консула Атилия Регула не имела места в действительности, а представляет собою только легенду. Однако задачей его работы, в библиотеке было собирание материалов для более значительной работы, которую он задумал, повидимому, еще в Голландии и выполнил в 1695 г. Эта работа сделала его одним из известнейших людей в Англии того времени и произвела огромное впечатление на современников. Книга эта вышла в свет в Лондоне анонимно и носит название „Христианство, лишенное тайн" [1]) (Christianity not mysterious). Однако потребовавшееся через несколько месяцев второе издание уже содержит имя Толанда. Третье издание вышло в 1702 году. Эта книга вызвала невероятное озлобление среди духовенства, на нее обрушились представители всех религиозных групп, которые стали засыпать автора ушатами грязи. Следует указать, что еще до издания этой книги в 1691 г. Толанд написал в стихотворной форме памфлет (Tribe of Levi), направленный против духовенства, который начинается следующими словами: „С того времени, как человечество, ради наказания, обременено несчастиями, и на Египет обрушились десять мук, не было ни в одном государстве большей беды, нежели самое ужасное, самое отвратительное несчастье—поп". На это произведение в свое время последовал ответ под названием Rabsakeh Vapulans, который был

[1]) The miscellaneous Works of m-r J. Toland, p. II (находится в Институте Маркса и Энгельса в Москве).

наполнен грубейшей бранью по адресу Толанда и в котором между прочим приводятся две биографические заметки, достоверность которых сомнительна, но которые были подхвачены недругами Толанда. Одна говорит о Толанде, как о сыне католического священника, а так как католические священники не имеют права жениться, то отсюда следует, что Толанд незаконнорожденный. Несмотря на опровержения биографов Толанда, эта версия была все же подхвачена врагами Толанда, а если принять во внимание, что в то время такого рода предрассудки имели большое значение, то факт незаконнорожденности мог явиться значительным неудобством в жизни. Второе замечание говорит об участии Толанда в восстании Монмута, после подавления которого Толанд будто бы был арестован и приговорен к биче-ванию в каждом ирландском городе. По вследствие требования испугавшегося пытки Толанда лучше повесить его, чем подвергнуть такому наказанию, то его, принимая во внимание молодой пятнадцатилетний возраст, совершенно освободили. Сейчас же, после опубликования „Христианства, лишенного тайн", о Толанде стали рассказывать всякие небылицы. Так откуда-то распространилось мнение, что Толанд задался целью основать новую секту, что он будто еще 14-летним мальчиком хвалился, что в 30 лет будет главой секты, а в сорок создаст народное движение, не уступающее движению, вызванному Кромвелем. О всех нападках и гонениях на Толанда, вызванных появлением этой книги, можно судить, как из слов самого Толанда, так и из переписки Моллине с Локком. О Толанде заговорили во всех церквах, священники обличали его во время проповедей, последнее дало повод одному знатному лорду, как рассказывает сам Толанд, объяснить прекращение посещений церкви тем, что вместо Христа там речь идет только о некоем Толанде. Против Толанда ополчилась и пресса, и один священник Петер Броун—senior fellow колледжа троицы в Дублине, прямо обратился к светской власти за помощью против Толанда. Петер Броун впоследствии стал епископом, и Толанд иронически выразился, что это он сделал его епископом. Толанд был призван к жюри при суде королевской скамьи в Дублине, хотя, как рассказывает сам Толанд, большинство судей его книги не читали, а те, которые читали, чистосердечно сознались, что в ней ни слова не поняли. Еще до суда городской судья Дублина обратился к судьям с просьбой защитить церковь от ее врагов, в особенности от толандистов. Дело показалось настолько серьезным, что его перенесли в парламент в Дублине. 14 августа 1697 г. в ирландский парламент было внесено предложение о принятии мер против книги Толанда, и 9 сентября было принято решение о сожжении книги „Христианство, лишенное тайн", рукой палача, ареста ее автора и возбуждения против него судебного преследования. Вот как гласит приговор: „Книга, носящая название „Христианство, лишенное тайн", содержащая много учений, противоречащих христианской религии и ирландскому богослужению, должна быть сожжена рукою палача, автор книги Джон Толанд должен быть взят под стражу сержантом парламента и против него должно быть возбуждено преследование за то, что он эту книгу написал и издал". 11 сентября книга действительно, была сожжена перед воротами парламента и на площади перед ратушей в Дублине в присутствии шерифов и всех констеблей. Одновременно с предложением сжечь книгу было внесено в парламент предложение сжечь самого автора. Толанд спасся от заключения в тюрьму бегством в Англию. Это бегство пришлось как раз кстати, так как Толанд остался без средств и вынужден был в последнее время делать долги. Следует, однако, указать, что суровые преследования, которым подвергся Толанд в Ирландии, объясняются не только распространением его книги и выраженными в ней взглядами, хотя страх образования новой секты во главе с Толандом сильно беспокоил духовенство и власти, но и характером Толанда. Толанд в молодости не сдерживал своего горячего темперамента и не любил молчать о своих взглядах. Обладая живым умом и ученостью, будучи остроумным и общительным, он охотно развивал свои взгляды и убеждения везде, где ему нравилось, не особенно заботясь о личности своего собеседника, ни о том, удобное ли это место для выражения философских и религиозных идей. Он часто посещал кофейни, гостиницы, пирушки, на которых любил высказывать крайние идеи, бранил и высмеивал духовенство, поражал своих слушателей ученостью и знакомством со многими великими людьми. Неудивительно, что этим он отталкивал от себя всех „благомыслящих", осторожных людей. В зрелые годы Толанд, наученный горьким опытом, понял преимущества сдержанности и стал значительно осторожнее в выражении своих взглядов; он сам сознавался, что в молодости обнаруживал в выражении своих взглядов не много мудрости и скромности, но зато много задора и искренности.

Обращаясь, однако, к изданному им труду, вызвавшему столько толков и обрушившему на голову автора столько несчастий, мы должны признаться, что читатель сейчас не заметит там ничего такого, что достойно было такого шума и озлобления. Однако,—говорит Бертольд [1]),— если мы обратим внимание на то, как Локк, замешанный в борьбу по поводу Толанда Штиллингфлитом, епископом Уорчестерским, поспешил отмежеваться от выводов, сделанных Толандом из высказанных им же самим идей, если мы далее обратим внимание, как Лейбниц, отдавая должное способностям Толанда, защищал безоговорочно церковь, мы приобретем в полной мере масштаб для оценки значения книги Толанда. Книга начинается предисловием, в котором Толанд дает несколько исторических сведений об истории религиозной борьбы и задается целью отыскать путеводную нить для решения вопроса о методе изучения религиозных учений. Толанд находит решение этой проблемы в применении разума к толкованию религиозных догматов. Он замечает, что таинства давали слишком много материалов для религиозной борьбы и ненависти, и что следует во избежание дальнейших споров осветить таинства согласно истинного смысла священного писания. Единственным основанием достоверности он признает разум и доказывает, что в христианском учении нет ни одного предложения, которое имело бы сверхразумный или неразумный смысл. Доказательством этой идеи заняты все три части книги. В первой части он отвечает на вопрос, что представляет собою разум и что следует понимать под этим понятием; во второй части он доказывает, что христианское учение не противоречит разуму; в третьей части он утверждает отсутствие тайн и отсутствие в учении Христа элементов сверхъестественного и неразумного. В первой части Толанд дает следующее определение разума: разум—способность души, которая, сравнивая темные и сомнительные вещи с вещами, точно известными, объявляет последние достоверными. Затем Толанд различает между вещами, которые ведут нас к познанию чего-либо, и вещами, вызывающими у нас убеждение в чем-либо. Познание вообще есть ощущение согласованности или несогласованности идей друг с другом. Это ощущение может быть двоякого рода: или душа сразу замечает, без сравнения с другими понятиями, согласованность или

[1]) Berthold, Der Monismus der gegenwart.

несогласованность идей, или она должна для этого привлечь другие понятия. Первое дает нам те основные положения, которые не нуждаются в доказательстве; другое дает нам понятие разума. Затем, различая между знанием и убеждением, он указывает средства для достижения того и другого. Средствами для достижения знания являются опыт, как чувственный, внешний, так и внутренний; средством же убеждения являются согласованность наших понятий с вещами, о которых у нас имеются представления. Эта часть книги всецело согласуется с основаниями философии Локка, хотя делает более решительные выводы и выражается более резко, чем Локк. Толанд прямо заявляет, что в священном писании не может быть выражено ничего, что не было бы согласно с разумом, ибо, если бы хотя одно такое предложение существовало, то оно не могло бы стать понятным ни одному человеку и, следовательно, явилось бы для него бесполезным и не могло бы служить побуждением к добрым поступкам. Если мы не желаем видеть в боге источника всякого невежества, то мы должны признать, что в его учении нет ничего противоречащего разуму. Все, что сказано в священном писании, истинно и должно быть принято не потому, что это сказано в священном писании, а вследствие согласованности положений писания о совершенствах бога с основаниями разума. Всем истинам откровения следует предъявлять два требования: во-первых, чтобы они были возможны, во-вторых, чтобы они были понятны человеческому уму. В этих требованиях лежит критерий истинного пророчества. Откровение, не отвечающее хотя бы одному из этих постулатов, может быть смело отброшено. Однако Толанд оговаривается, что здесь речь идет не об индивидуальном, конкретном разуме, который, конечно, может быть ложным и не может служить критерием истины, а об абстрактном разуме, способности души вообще. Человеческий разум вовсе не так слаб, как представляют себе его некоторые, и многие склонны находить тайны потому только, что не доверяют уму. Впрочем, само понятие тайны имеет двоякий смысл. Нечто может быть названо тайной, будучи по существу вполне понятно и естественно, но запутано и затемнено всевозможными искусственными словами, представлениями и церемониями. Тайна может иметь и другой смысл, а именно, что нечто совершенно непонятно и ни в коем случае не может быть постигнуто силами нашей души. Если обратиться к христианству,—говорит Толанд,—то мы в нем найдем большинство тайн первого рода. Правда, христианское учение говорит о таких вещах, сущность которых нам неизвестна, как, напр., бог, справедливость и т. п., но дело в том, что мы вообще не знаем сущности вещей, а лишь постольку имеем понятие о вещах, поскольку они для нас в общежитии полезны и необходимы и поскольку мы знаем их основные свойства. Здесь Толанд чрезвычайно осторожно становится на точку зрения скептицизма и тем самым вступает в противоречие с ранее выраженной верой в разум. Следует указать, что в этой работе Толанд еще далеко не установил своих философских взглядов и находится под сильным влиянием Локка, а также Ньютона. Последние стали выдвигать вместо крайнего рационализма Декарта, Спинозы, Гоббса значение опыта, и тем самым возбуждали некоторые сомнения в абсолютной способности разума познать истину. Толанд отрицает какое-либо чудо и, переходя к понятию таинства, разъясняет, что под чудом понимают не то, что противоречит разуму, а скорее то, что человеческим разумом не понято. Замечательна последняя глава книги Толанда, в которой он пытается дать риторическое объяснение образованию таинств и чудес в христианстве. Здесь мы имеем также одну из немногих в то время попыток подойти с историческим анализом к общественным явлениям. Христианство первоначально не имело никаких таинств и имело совершенно трезвый и разумный характер, но под влиянием приверженцев других религий, относившихся с презрением к простоте христианского богослужения, последние стали, заимствуя у язычников и иудеев, облекать свои религиозные обряды в таинства. Священники, зараженные хитростью, жадностью и честолюбием, старательно сохраняли и умножали эти таинства с тем, чтобы при их помощи добиться почестей и держать народ в темноте. Благодаря духовенству современное христианство не имеет ничего общего с ранним христианством.

Все эти мысли, выраженные в книге, вызвали чрезвычайно богатую полемическую литературу. Против Толанда было написано множество книг не только в Англии, но и в других странах Европы. Среди оппонентов находились такие люди, как Лейбниц. Сам Толанд, после бегства из Ирландии, находился в Лондоне и занимался журналистикой, составляя статьи по вопросам политики. Он решил не вмешиваться в вызванную его книгой полемику, и в письме к некоему Гоперу пишет, что он больше не будет вмешиваться в религиозные споры. Однако интерес Толанда к религиозным вопросам был настолько силен, что он оказался не в состоянии сдержать свое обещание, и в 1697 г. выпустил небольшое произведение „An Apology"—защита м-ра Толанда в письме от него самого к члену палаты общин в Ирландии. В этом письме, которое приложено к 3-му изданию его „Христианства, лишенного тайн", Толанд рассказывает то, что с ним произошло в Ирландии, указывает, что парламент обошелся с ним жестоко и объявляет себя верным сыном реформированной церкви.

II.

Через некоторое время Толанду, однако, снова пришлось почувствовать удары судьбы. В 1699 году он выпустил собрание прозаических сочинений Мильтона, которому предпослал биографию последнего, еще и поныне не потерявшую своей ценности. В этой биографии Толанд тщательно выяснил спорный вопрос о происхождении брошюры „Eikon Basilike", изданной сейчас же после осуждения Карла I. Эта брошюра содержит размышления заключенного в темнице короля и выдержала в короткое время 50 изданий. Мильтон, по предложению парламента, написал опровержение, в котором доказал, что автором этой брошюры является не король, а некий д-р Гауден, вознагражденный за это епископством. Толанд, в биографии Мильтона, поддержал его точку зрения, и это возбудило сильнейшее раздражение реакционеров. С другой стороны, Толанд не мог на сей раз удержаться, чтобы не высказать своих религиозных взглядов и тем самым вновь возбудить против себя духовенство. Приводя доказательства Мильтона относительно личности автора брошюры и доказывая, каким путем создалось это ошибочное мнение, Толанд замечает: „Когда я серьезно подумаю, что это имело место каких-нибудь сорок лет тому назад, в наш просвещенный век, во время, когда одна партия следит за действиями другой, после великой революции в области житейских и религиозных отношений, то я больше не удивляюсь, как могли быть изданы и найти распространение столько подложных книг, приписанных Христу, апостолам и другим великим людям, при том в древние времена, когда обманы были столь частыми, что нельзя было никого упрекнуть в этом, когда сношения между людьми были далеко не столь частыми, как теперь, и вся земля была покрыта тьмой суеверий. Я скорее полагаю, что подложность многих книг осталась не открытой благо-

даря отдаленности этого времени, смерти свидетелей и потере всяких памятников, которые могли бы нас научить истине. При том мы должны принять во внимание, как трудно всегда было слабейшей стороне вскрыть проделки правящей партии, в особенности, когда последняя сжигала и уничтожала враждебные ей книги". Этим замечанием Толанд еще раз выразил подозрение в подлинности откровений Христа и книг, приписываемых апостолам и другим авторитетам церкви. Современный читатель увидит в этом замечании Толанда лишь невинное требование приложения историко-критического метода к священным книгам. Гердер, например, читая это замечание Толанда, выразился о нем, как о предшественнике современной библейской критики. Однако во время Толанда это замечание возбудило против него жестокую ненависть духовенства. Эта ненависть стала еще более опасной вследствие того, что духовенство нашло сочувствие в своей борьбе против Толанда и свободомыслящих среди английских консерваторов. Конец XVII века в Англии характерен реакционным настроением. Все, что напоминало революцию, вызывало крайне враждебное отношение к себе со стороны дворянства и богатой буржуазии, объединившихся в партию консерваторов. Наоборот, демократические элементы английского общества, недовольные разгулом реакции, настроенные враждебно против абсолютизма, объединились в партию либералов, мечтавших о республиканском политическом строе. Либеральная партия, добиваясь демократических реформ, охотно обращалась к истории английской великой революции. Понятно, что деисты, свободомыслящие, идя в философском отношении по стопам Локка, ведя борьбу против всяких авторитетов в религиозной сфере, примыкали и в политических своих взглядах к учению Локка о государстве, и являлись ревностными сторонниками партии либералов. Толанд шел еще дальше своих единомышленников и выступал в своих политических статьях и памфлетах сторонником широкой демократии. Он с восторгом отзывается о времени революции, и его симпатиями к ней свидетельствуется как раз издание им сочинений Мильтона, ревностного демократа и врага королевской власти. В последующих своих трудах, в особенности в своем Пантеистиконе, Толанд еще резче и ярче высказывает свои демократические убеждения. Вследствие агитации, поднятой консерваторами и духовенством против его биографии Мильтона, Толанд выпустил анонимно книгу в 1699 г. под названием „Защита" (Amyntor), в которой пытается защитить высказанные им взгляды. Эта книга возбудила еще большую ненависть против него со стороны духовенства. В 1700 году нижняя конгрегация духовенства, по предложению некоего Гонера, осудила книги Толанда, как атеистические и опасные для общества. Постановление нижней конгрегации было перенесено в высшую, которая выделила из своей среды комиссию, состоящую из епископов и которая должна была дать ответы на следующие два вопроса: во-первых, противно ли закону, чтобы конгрегация духовенства могла решить, является ли какая-нибудь книга еретической, безбожной и противоречащей добрым нравам и, во-вторых, содержат ли предложения, извлеченные конгрегацией духовенства из книг Толанда, какие-либо мнения, противоречащие законам. Комиссия ответила на первый вопрос утвердительно и на второй отрицательно. Толанд был удовлетворен этим заключением комиссии, но последнее еще более разожгло страсти духовенства. Раздались голоса из среды духовенства, требовавшие пересмотра решения, и некоторыми фанатиками были даже высказаны подозрения, что епископы защищали Толанда вследствие согласия с его мнениями. Пока страсти разгорались и споры принимали все более ожесточенный

характер, Толанд счел за лучшее совершенно удалиться из Англии, тем более, что жизнь в Англии, вследствие постоянных преследований, стала для него невыносимой.

Случай для переезда в Голландию скоро представился. Дело в том, что после смерти Вильгельма, последнего сына королевы Анны, вопрос о престолонаследии в Англии по протестантской линии стал усиленно обсуждаться. Толанд написал в 1701 году брошюру „Anglia libera", в которой энергично выступил в пользу прав Ганноверского дома на английский престол. В том же году парламент постановил, что после смерти Вильгельма и Анны наследниками престола должна явиться королева Ганноверская София и ее протестантское потомство. Граф Макклесфильд должен был отправиться с посольством в Ганновер, чтобы вручить Софии акт о престолонаследии. Этим воспользовался Толанд, чтобы также отправиться в Ганновер и передать королеве написанную им в ее пользу брошюру. Несмотря на предубеждение, существовавшее в Ганновере против Толанда, последний своим остроумием, способностями и живостью темперамента чрезвычайно понравился ганноверскому обществу и был хорошо принят королевой. В Ганновере Толанд впервые встретился с Лейбницем и, повидимому, произвел на последнего хорошее впечатление. Сам он рассказывает об этой встрече следующее: „Я познакомился здесь со многими учеными людьми, как, например, с Лейбницем, являющимся тайным советником, но более известным ученому миру своими открытиями в математических науках и составленным им дипломатическим кодексом. Я далеко не согласен с его метафизическими взглядами, хотя возможно, что в этом вина моего собственного рассудка". Последняя фраза является доказательством того, что Толанд вовсе не был столь тщеславным и честолюбивым человеком, каким его обыкновенно рисуют.

Из Ганновера Толанд в том же году направился в Берлин, куда пригласила его королева прусская София-Шарлотта. Последняя была ученицей Лейбница и была известна, как покровительница философии. При ее дворе собирались многие философы и ученые того времени. Сама королева, повидимому, интересовалась вопросами философии, так как известно ее остроумное замечание перед смертью: „Не оплакивайте меня, так как я, наконец, удовлетворю свое любопытство относительно основных вопросов, на которые не мог мне дать ответа Лейбниц, относительно сущности пространства, бесконечности, бытия и ничто". Смелая и остроумная мысль Толанда, его критика религиозных догматов и его материалистическое миросозерцание возбуждали любопытство королевы, и та любила вызывать споры между Толандом и окружающими ее немецкими учеными и богословами. В этих спорах принимал участие иногда и Лейбниц.

Толанд недолго пробыл в Берлине, но вскоре вновь возвратился туда. Во время своего пребывания в Голландии и Германии он написал две замечательные книги. Первая касается опять его отношений к духовенству и консерваторам Англии и носит название: „Vindicus Liberius" или собственная защита Толанда, направленная против нижней палаты английского духовенства и других лиц и содержащая разъяснения и исправления некоторых мест из его книги, а также основы взглядов автора, касающихся церкви и государства, равно как оправдание вигов и республиканцев против ложных представлений их противников, изд. в Лондоне в 1702 г. [1]). Книга эта не носит

[1]) Эпиграфом к этой работе Толанд взял стих Ювенала, смысл которого, направленный против духовенства, следующий: маленьких воров вешают, крупные же гуляют на свободе.

столь резкого характера, как предыдущие. Повидимому, Толанд сильно устал от преследований и в этой книге старается смягчить некоторые резкие места в своих предыдущих произведениях. В политическом отношении Толанд в этой книге хотя и называет себя республиканцем, все же смягчает это понятие и не возражает против конституционно-монархического строя. Он утверждает лозунг: не народ для короля, а король для народа. Затем он обещает, что воздержится от дальнейших изданий его „Христианства, лишенного тайн". Но вышло так, что 3-е издание этой книги вышло как раз в том же году, что и „Vindicus Liberii", что опять дало повод многим обвинить Толанда в неискренности.

Вторая книга, написанная им в Голландии, носит название „Letters to Serena" (Письма к Серене) и содержит пять писем, из которых первые три касаются происхождения и возникновения предрассудков истории бессмертия души у язычников, возникновения идолопоклонства и основания язычества, а последние представляют, во-первых, письмо к джентльмену в Лондоне, в котором доказывается, что философия Спинозы не имеет достаточного основания, и, во-вторых, доказательство, что движение—существенное свойство материи, как ответ на замечания друга по поводу опровержения Спинозы. Книга эта издана в Лондоне в 1704 году и является ныне большой библиографической редкостью [1]). Серена, которой адресованы первые три письма, не кто иная, как королева прусская. В другом произведении, Адейсидемоне, Толанд сам указывает, что он писал Софии-Шарлотте. Биограф Толанда Moshesin усомнился в том, были ли эти письма действительно посланы королеве прусской, тем более, что в бумагах Софии-Шарлотты этих писем не было найдено, а в Берлине о них ничего не знали. Однако возможно, что они действительно были посланы, так как Ленфант сообщает, что он помнит, как в его присутствии Толанд в Шарлоттенбурге читал доклад о предрассудках, являющихся темой первого письма „Писем к Серене". Кроме того, Лейбниц жалуется, что большинство писем, написанных Софией-Шарлоттой и адресованных ей, были сожжены после ее смерти, так что весьма вероятно, что эта участь постигла и письма Толанда.

В первом письме Толанд задается целью выяснить происхождение предрассудков и влияния, оказываемого ими на людей. Толанд видит человека окруженным со всех сторон условностями, преисполненным всевозможных предрассудков, влияющих не только на его способ мышления, но и на его поступки. Стоит человеку развиться, как он уже начинает участвовать в условностях и предрассудках, окружающего мира. Родители производят над ним ряд обрядов; матери, няни пугают его всевозможными чудовищами, рассказывают ему небылицы, внушают ему веру в несуществующее, приобщают его постепенно к ряду условностей, существующих в данном обществе. Школа, университеты не только не изгоняют суеверия молодежи, но, наоборот, заняты тем, что еще увеличивают их число. В школах юноши и девушки изучают литературу, в которой они встречаются на каждом шагу с образами демонов, нимф, гениев, сатиров и всевозможных других чертей. Университеты еще хуже, так как продолжают всевозможные вымыслы, ложные сведения и вообще пустые вещи под видом научных дисциплин. Интересно, что и Толанд, как Декарт и Бекон, настроен чрезвычайно враждебно по отношению к школам своего времени. Профессора не обошли молчанием это письмо Толанда и осыпали его в литературе бранью, а один из них даже выразил

[1]) В библиотеке им. Ленина в Москве среди книг Кожевникова имеется 1 экземпляр.

сожаление, что Толанда в детстве мало секли в школе, так как он был бы тогда умнее и скромнее. Но больше всего опять возмутились священники, так как в конце письма Толанд указал на них, как на самых опасных распространителей суеверия и предрассудков. Во втором письме он исследует вопрос о происхождении идеи бессмертия души. Здесь Толанд высказывает мысли, которые, хотя и не были оригинальными, но все же неоднократно принимались впоследствии за основания многих теорий по истории возникновения религии. По его мнению, идея бессмертия души, т. е. веры в дальнейшую индивидуальную жизнь после смерти, является результатом преданий и воспоминаний о бывших героях и других значительных людях. Первыми, по его мнению, создали это учение египтяне, от которых заимствовали его греки, распространившие его благодаря своим колониям по всему побережью Средиземного моря. Идея бессмертия, таким образом, вовсе не прирождена людям, а является результатом общественных преданий, а понятие души оказывается предрассудком, так как последняя—лишь воспоминание о действительно жившем когда-то человеке. В третьем письме Толанд рассматривает причины образования суеверий, всевозможных религиозных обрядов и церемоний, появления жрецов-оракулов, веры в привидения и т. п. Поводом для изучения этих вопросов послужило появление книги Антона Дальского, в которой эти проблемы поставлены. Однако книга эта не удовлетворила Толанда, так как в ней дано скорее перечисление суеверий чем объяснение их возникновения. Толанд и здесь исходит из анализа древних языческих народов, и делает догадку, что причиной суеверий является стремление преодолеть факт смерти. Язычники, в особенности египтяне, говорит он, не желая примириться со смертью какого-нибудь важного лица, стремясь увековечить его, сохранить его в памяти общества, называют его именем ряд неодушевленных предметов, как, напр., звезды, и затем поклоняются им. Таким образом были созданы названия двенадцати созвездий, которые впоследствии считались богами. Объяснив таким образом происхождение божеств, Толанд затем переходит к любимой теории деистов и просветителей о гибельной роли духовенства для общества. Представления язычников, носившие первоначально вполне понятный характер, затем искажаются жрецами из корыстолюбивых стремлений. Жрецы воспевают умерших героев, превращая их в богов, окружая их всевозможными таинственными и страшными ритуалами и пользуются внушенными ими народу суевериями с целью держать его в страхе и повиновении. Свой анализ суеверий Толанд, однако, не ограничил только языческими религиями. Он не побоялся рассмотреть с этой точки зрения и христианство и осудить его ритуалы, иконы, алтари, музыку и пение при богослужении, посты, паломничества, как суеверия, заимствованные у язычников и поддерживаемые священниками ради властолюбивых целей.

В этих письмах к Серене критика Толандом основ религии, догматов церкви достигает наивысшего развития. Повидимому, Толанд после пребывания в Голландии и Германии окончательно убедился на постоянных спорах с богословами в правоте своих взглядов. „Письма к Серене" уже не носят задорного полемического характера, какой был свойственен его более ранним произведениям. Наоборот, в этих письмах мы встречаем более спокойную форму изложения и видим результаты проделанной значительной умственной работы. Мы замечаем здесь, что Толанд пошел дальше других свободомыслящих и стал совсем отрицать откровение, даже отождествлять бога с миром. И вот, рассматривая это произведение Толанда, мы можем прийти к выводу о сущности религиозной критики Толанда и усмотреть ее не-

достатки. Сущность борьбы Толанда с религией заключается не в его ненависти к какой-нибудь религии во имя другой, лучшей, а в борьбе против религии вообще. Борьба Толанда носит явно социальный характер. Он боролся с религией, как социальной силой, пользующейся властью и сохраняющей свою власть в обществе как прямо—путем насилия, так и косвенно, внедряя в сознание людей суеверные представления и окружая их густой сетью привычек и условностей. В XVII и XVIII в. в., когда буржуазия открыто, с оружием в руках, добивалась власти, она опиралась на науку и во имя ее процветания вела ожесточенную борьбу с религией. Толанд не столько ненавидел религию, сколько любил свободное научное исследование. Но последнее наталкивалось на противодействие религии, а потому приходилось вести с ней решительную борьбу. Заслуга Толанда заключается в том, что он почти первый выступил против религии с открытым забралом, не прикрываясь никакими ширмами и не пряча свои революционные идеи под добронравными масками. Его критика указала путь для всех последующих деистов и просветителей XVIII в. во всех странах Европы. Но она страдала теми же недостатками, что и религиозная философия просветителей. Этот недостаток заключался в отсутствии историзма. Толанд, как и до него Локк, а затем и французские просветители, предчувствовал уже веяние исторического духа, который охватит XIX столетие и проникнет во все отрасли науки и искусства. Толанд для доказательства некоторых своих положений ищет истории их, стремится познать их происхождение. Он интересуется жизнью древних народов, изучает их нравы, быт и культуру, но все его исторические изыскания проникнуты какой-то неподвижностью. Его исторические изыскания подобны картинам, получаемым от волшебного фонаря. Каждая картинка, представляя новый сюжет, остается неподвижной, и создается впечатление, что все они живут не во времени, а расположены в пространстве. Духовенство всегда как будто оставалось тем же эксплоататорским духовенством; оно, по Толанду,—абсолютное зло. Религиозные идеи возникали из материальных явлений, но получали таинственный мистический характер всегда вследствие корыстолюбия и властолюбия духовенства. Религия всегда противоположна научному исследованию. Наш разум также дан всегда как нечто постоянное, охватывающее смутно или ясно те же явления. Поэтому религиозный обман и эксплоатация всегда были известны наиболее умным и прозорливым людям всех веков. Поэтому и истины философии вечны и неизменны и всегда были известны глубоким мыслителям. Поэтому нет ничего нового под солнцем, а есть только количественные изменения. Толанд в своей работе „Адейсидемона", изданной в Гааге в 1708 г., проводит настойчиво эту идею. Он доказывает, что Тит Ливий скептически относился к суевериям и религиозным обрядам, что страх божий, по мнению Ливия, был создан духовенством лишь с целью властвовать над народом, он превращает Ливия в атеиста. В приложенной к „Адейсидемоне" работе о происхождении евреев, Толанд так же пытается доказать, ссылаясь на Страбона, что Моисей был пантеистом, хотя и не совершенным, и высказывал многие идеи, аналогичные идеям Спинозы. Иудейские вероучения и религиозные обряды заимствованы ими у окружающих язычников и частью от египтян.

III.

Это отсутствие исторического подхода к изучению общественных явлений и философских идей, неспособность видеть историю общества, как процесс развития, относится не только к его критике христианства и религии вообще, но и к философским его взглядам, выраженным в 4-м и 5-м письмах к Серене.

Эти письма посвящены решению основных проблем философии, а именно: вопросам о сущности движения и отношения мышления к бытию. Оба письма связаны с именем Спинозы, которого Толанд, будучи в Голландии и Германии, повидимому, усиленно изучал и под чьим влиянием в продолжение остальной жизни находился. Однако из критических замечаний Толанда по отношению к Спинозе видно, что это влияние не было абсолютным. Толанд, как философ, может занять самостоятельное место среди выдающихся мыслителей XVII и XVIII столетий.

Начав свою литературную и публицистическую деятельность с проповеди деизма, во время которой он сохранял еще веру в откровение, он переходит от деизма к проповеди свободомыслия, и, наконец, становится пантеистом, а затем переходит к атеистам и материалистам. Эта эволюция убеждений Толанда объясняется несколькими причинами. Во-первых, борьба с религией, которая продолжалась непрерывно в продолжение всей жизни Толанда, заставляла его искать все более глубокие основания и аргументы для утверждения своих взглядов. В поисках этих аргументов, последовательно мысля, он должен был притти к материалистическим умозаключениям, во-вторых, влияние научных достижений его времени, в особенности развитие геометрии, механики и медицины, вело к материалистическим построениям и, в-третьих, такой причиной явились влияния учений Джордано Бруно, Декарта и Спинозы, которых он усердно изучал в Германии и Голландии. Толанд, однако, находился под влиянием не только великих рационалистов Декарта и Спинозы, но и своих соотечественников—Локка и Ньютона. Оба эти влияния, оба направления мысли объединились и слились в материалистической философии Толанда.

Толанд не написал сочинения, в котором дал бы систематическое изложение своих философских воззрений. Толанд вообще не философ-систематик. Он один из первых и наиболее талантливых публицистов, в лучшем смысле этого слова. Свои идеи он выражал главным образом в письмах к друзьям. Повидимому, любимой формой изложения его воззрений является письмо.

Непринужденный стиль письма, которое, по существу, всегда является скрытым диалогом, больше всего нравится его темпераменту общественного деятеля. В своих произведениях он не столько доказывает, сколько спорит. Одни названия его произведений показывают, что ему приходилось либо нападать, либо защищаться. Но именно потому, что его произведения, по большей части, написаны ad hoc и носят злободневный характер, они читаются легко и доступны не только специалистам, а и широкой публике. Форма частного письма привлекала Толанда еще и потому, что она давала возможность говорить свободнее и откровеннее о многих вещах, излагать которые в сочинении, заранее предназначенном для печати, было не совсем безопасно. В письмах Толанд был также чрезвычайно осторожен и часто, высказывая какую-нибудь смелую мысль атеистического или философски-материалистического характера, вслед за ней приводил ряд фраз, которые имели целью смягчить резкость высказанного. Он в ряде произведений, под влиянием настоящих гонений, стал склоняться к учению об эзотерической и эзотерической философии. То обстоятельство, что широкие круги общества находились под влиянием духовенства и относились к нему враждебно, привело его к убеждению в том, что широкой публике нельзя сразу преподнести голую, неприкрытую истину. В произведениях, рассчитанных на ши-

рокого читателя, необходимо высказывать не всю правду. Однако Толанд был далек от того, чтобы проповедывать две истины: одну для народа, а другую для посвященных,—он меньше всего был склонен к обману. Его требование, скорее—признание необходимости нелегального состояния философии. Он хочет проповедывать философию не открыто, ибо это чревато неприятными последствиями, а вести подпольную агитацию, привлекая к своему учению лишь наиболее подготовленных и ищущих истины, хотя бы последняя и причисла с собою многие неприятности в жизни. Поэтому свое произведение „Пантеистикон" он издает ничтожно в чрезвычайно ограниченном количестве и распространяет его лишь среди друзей. В последнем произведении он говорит о нелегальных философских обществах, существующих во всех центрах Европы, и в особенности в Лондоне. Эти общества устанавливают тайные собрания, на которых во время товарищеского обеда ведут беседы на научные и философские темы. Членами общества являются пантеисты, при чем Толанд указывает, что лишь обычай—тиран языков—противополагает пантеистов атеистам. Существовали ли в действительности такие нелегальные общества пантеистов, т.-е. в действительности атеистов,—неизвестно, хотя духовенство, узнав об этой книге, подняло страшный шум по этому поводу.

Тревога духовенства станет совершенно понятной, если принять во внимание сущность философских воззрений Толанда. В 4-м из „Писем к Серене" он занимается критикой философии Спиноза. Однако эта критика не является ее отрицанием, а лишь дополнением. Характерно, что основное критическое возражение Толанда совпадает с замечаниями Гегеля по поводу спинозовской философии. Толанд в философии Спиноза видит два существенных недостатка. Во-первых, Спиноза, по его мнению, не дал объяснения сущности движения, во-вторых, он признает, что всякая частица материи обладает сознанием.

Первый вопрос касается основной трудности в философии Декарта и Спиноза. Известно, что, признавая существование единой субстанции во вселенной, „имеющей везде ту же природу, хотя различно видоизмененную и наделенную неизменными существенными и неотделимыми атрибутами", Спиноза указал два таких атрибута: протяжение и мышление. К этим двум атрибутам он сводит все многообразие вселенной. Но понятие протяжения не включает никакого разнообразия и в нем нельзя видеть причины различных изменений и движений. Тогда возникает вопрос, какова же причина движения. „Многие философы испытывают крайнее недоумение относительно движущей силы самой по себе, относительно ее сущности. Они недоумевают, где она находится, в материи или вне ее, какими способами она может двигать материю, как она переходит с одного тела на другое и т. д.". „Они вынуждены,—говорит Толанд,—прибегнуть к богу и утверждать, что как он сообщил вначале движение материи, так он постоянно создает и продолжает его, пока есть повод к этому, и что он действительно содействует всякому движению во вселенной". Но такое решение вопроса, конечно, не удовлетворяет Толанда, так как этот ответ не решает проблемы, а ставит ряд других более сложных затруднений. Впрочем,—замечает Толанд,—зачем мне тратить слова по этому поводу, когда во все времена, как говорит Цицерон, когда философы не знают причины чего-либо, они прибегают к помощи „святости бога". Спиноза, однако, не принадлежит к этим философам; напротив, он не признает ни одной сущности, отличной от субстанции мира, он отрицает, что какое-либо существо дало субстанции движение. Между тем, и Спиноза вместе с другими философами согласен в том, что все разнообразные места есть результат движения. Дело, однако, в том, что Спиноза строит все „на обыкновенных понятиях о местном движении", никогда не показывая причины его. Он считает материю недеятельной по природе и признает существование абсолютного покоя и тем самым уклоняется от указания причины, которая вывела бы частицы материи из их абсолютного покоя. Его непростительной для философа ошибкой, по мнению Толанда, является то, что он не пытался определить движение. В письме к Ольденбургу он прямо указывает, что движение не может быть названо атрибутом, так как его понятие предполагает понятие другой вещи. Когда один его поклонник просил его разъяснить это противоречие, он всячески уклонялся от этого.

Когда же корреспондент Толанда обращается к нему с просьбой изложить свою собственную точку зрения по этому вопросу, Толанд отвечает:

„Вы, может быть, не предвидите, какие сомнения вы создаете сами себе, и какой труд вы возлагаете на меня, спрашивая моего мнения о движении. Всегда легче найти ошибки других, чем исправить их, и очень легко дурно понять человека, излагающего свое мнение (особенно вполне новое), прежде чем оно снабжено его доказательствами и объяснениями. Но, так как наша дружба не позволяет мне отказать вам в чем либо, что находится в моей власти, то я открыто объясняюсь с вами по этому поводу. Таким образом, я считаю, что движение присуще материи, т.-е. не отделимо от ее природы, так же, как непроницаемость или протяжение, и что оно должно составлять часть его определения. Но в материи мы различаем величину отдельных тел и протяжение целого, определениями или модусами которого являются эти величины, существуя и погибая по своим различным причинам. Кроме того, чтобы быть лучше понятым, я хотел бы назвать это движение целого действием, а все местные движения, прямые или круговые, быстрые или медленные, простые или сложные, называть по-прежнему движением, так как они лишь разные изменчивые определения действия, которое всегда находится в целом и в каждой части его, и без которого оно не могло бы получить видоизменений. Я отрицаю, что материя есть или была всегда недеятельной, мертвой массой в абсолютном покое, косной или неподвижной вещью. Когда я пишу вам об этом предмете, я надеюсь доказать, что одно это понятие объясняет неизменное количество движения в мире, что одно оно доказывает, что здесь не нужно и не может быть пустоты, что материя без этого не может быть правильно определена, что оно разрешает все затруднения относительно движущей силы и все остальное, что мы упомянули выше".

В пятом из „Писем к Серене" Толанд пытается доказать свою точку зрения. Первым аргументом в пользу активности материи является то, что все частицы материи, все отдельные тела всегда находились в движении и никогда не могли быть в ином состоянии. „Частицы, заключенные даже в середине самых твердых тел, внутри огромных скал, железных полос или золотых слитков, находятся в постоянном действии так же, как частицы огня, воздуха или воды, хотя и не согласно тем же определениям и не в тех же степенях".

Второй аргумент в пользу движения, присущего материи, заключается в том, что понятие материи без движения не может быть понято. Материя, лишенная движения, должна была бы быть лишенной всяких качеств, ибо все они так же, как форма всех тел-

ных существ, их зарождение, последовательность и разрушение, непосредственно зависят от движения, все они представляют естественные и несомненные проявления движения, или скорее само движение под этими различными названиями и определениями. Поэтому так же, как делимость не может быть понята без протяжения, она не может быть так же понята и без движения.

„Представьте себе,—восклицает Толанд,—материю без движения, и я берусь вам сказать, какое у вас создается понятие о ней. Она будет ни чем-то, ни каким-либо, ни в каком-либо количестве, другими словами она будет ничто. Но последнее понятие—результат ошибочного представления о материи, как исключительно протяженной".

Здесь Толанд, критикуя Декарта и Спиноза по вопросу об определении материи, вступает также в конфликт с Ньютоном. Декарт и Спиноза, стремившиеся объяснить все явления природы исключительно понятиями протяжения и движения, не были правы постольку, поскольку не сумели указать причины происхождения самого движения. Мало того, построенные ими гипотезы были слишком сложными и при тогдашнем состоянии математики не могли удовлетворить насущной потребности в решении конкретных, физических вопросов. Ньютон поэтому, принципиально соглашаясь с Декартом, стал на другой путь не реального, конкретного познания природы, а лишь математического, абстрактного его изображения. Ньютон создал прекрасную и выдержанную для своего времени, математически обоснованную картину мира. Во время Толанда система Ньютона стала вытеснять физику Декарта, внушая удивление современникам своей математической последовательностью и стройностью. Влиятельные писатели, близкие к духовенству, вроде Котса и Бейтли, подхватили идею Ньютона о пустом пространстве и действии на расстоянии и создали систему, в которой решающее место уделяли богу. Толанд, несмотря на общее восхищение системой Ньютона, усмотрел теологическую окраску, которую придал этой системе редактор Ньютона, богобоязненный Котс, и напал на нее. Подобно Гегелю, резко нападавшему на Ньютона за его стремление рассудочно, исключительно математическим путем решать вопросы физики, Толанд также восстает против пустого пространства. Мало того, Толанд удивительно близок Гегелю не только тем, что признает движение существенным свойством материи, но и тем, что он также понимает всю рассудочность и отвлеченность рассмотрения материи исключительно со стороны ее протяжения, движения или непроницаемости. Все эти свойства—взятые отдельно—лишь рассудочные понятия, и хотя являются полезными при научном исследовании, но далеки от истины. Истина в их единстве, в определении материи, обладающем одновременно всеми этими свойствами. Рассудочный характер носят и другие термины, взятые изолированно, вне связи с целым. Вот что говорит Толанд:

„Я выше намекнул вам о злоупотреблении словами в философии, и мы можем в частности привести в пример известные термины, изобретенные с хорошей целью математиками, но дурно понятые или извращенные другими,—нередко неправильно применяемые самими математиками. Это всегда должно случаться, если отвлеченные понятия считаются реальными существами и потом кладутся в основание, как принципы, на которых строются гипотезы. Так математические линии, и верхности и точки считались существующими в действительности, и отсюда выведены многие заключения, хотя весьма неудачно. Как-будто протяжение состоит из точек,—что значит сказать, что длина, ширина и толщина состоят из того, что не имеет ни длины, ни ширины, ни толщины или меры какого-либо количества? Так слово бесконечный было чудовищным образом извращено, что дало повод к тысяче двусмысленностей и ошибок. Число было сделано бесконечным, как будто единицы, слагаемые без конца друг с другом, дали бы действительно бесконечное число. Такого же характера бесконечное время, бесконечное мышление человека, линии асимптот и большое число других бессвязных прогрессий, которые бесконечны лишь в отношении нашего ума, но не таковы сами по себе".

Толанд здесь, несомненно, сделал шаг вперед по направлению к диалектическому материализму в сравнении с великими рационалистами XVII века. Признавая единственной субстанцией материю, наделяя ее не только протяжением и непроницаемостью, но и движением, он далее делает отсюда материалистические выводы. Подобно Декарту, он отождествляет пространство с материей. Все тела называются тогда „известными видоизменениями материи, представляемыми уму, как ограниченные системы или особенные количества, мысленно отвлеченные, но не действительно отделенные от протяжения вселенной. Хотя материя везде и одинакова, но она представляется нам разделенной на бесчисленные системы, вихри или водовороты". „Эти в свою очередь подразделяются на другие системы, зависящие одна от другой и от целого". Вся вселенная представляется, как единая система более или менее сложных вихрей материи. Вместе с Декартом он приходит также к выводу о постоянстве количества материи и движения. Правда, он употребляет уже не термин движение, а, под влиянием Лейбница и Ньютона, понятие силы. Это дало повод Бертольду видеть в нем предшественника Бюхнера. Следует, однако, указать, что понятие силы не имеет у Толанда специфического, мистического смысла, который ему придавали толкователи Ньютона, а реальный смысл движения в материи. Однако, диалектически рассуждая в вопросе о движении материи, Толанд все же остается метафизиком, поскольку ему все же остается чуждой идея развития. Мир у него действительно движется, но это движение происходит как-будто на одном месте. Непонятно образование сложных форм материи, неизвестно почему и как одна форма движения переходит в другую. Мир Толанда является миром механических движений, который он и пытается объяснить механически. В этом отношении Толанд вполне сын своего века и не мог выйти за пределы научных достижений своего времени. Не следует забывать, что новый шаг в этой области мог сделать только XIX век, после того как были сделаны достаточные успехи в области химии и биологии.

Количественно-механическое миросозерцание Толанда в особенности проявляется в его воззрениях на явления жизни. По его мнению, жизнь есть лишь количественно изменченная форма материи. Жизнь существует везде. Нет ничего мертвого в природе. В Пантеистиконе он уделяет много старания доказательству того, что и камни и минералы живут так же, как деревья и животные. Различие между ними заключается лишь в количестве пищевых веществ, которые они поглощают, в форме дыхания, количестве получаемого воздуха и т. п. Следует, однако, заметить, что он не выдерживает этой точки зрения и иногда подымается до диалектических решений вопросов. Это происходит, например, во второй основной проблеме его философии, проблеме отношения бытия к сознанию. И здесь Толанд исходит из философии Декарта и Спинозы. Декарт признавал две субстанции: дух и материю, не сводимые одна к другой. Все же он не был выдержанным в своем дуализме и в ряде положений дал достаточно поводов усомниться в дуалистическом характере своей философии. Поэтому Спиноза совершенно отбросил это разделение вселенной на

две субстанции и установил одну субстанцию, имеющую два атрибута, две стороны своего бытия. Таким образом, всякая сторона протяжения должна, согласно Спинозе, иметь и свою вторую сторону—сознание. Следовательно, сознание становится присущим не только человеку, даже не только одушевленным предметам, но всем вещам, в том числе камням и минералам. Это мнение Спинозы кажется Толанду совершенно нелепым. Сознание, с его точки зрения, не есть нечто отличное от материи. Движение материи вполне возможно без сознания. Сознание—лишь результат особой формы, своеобразного бытия материи, а именно—мозга. Не может быть сознания там, где нет мозга. Уже Декарт помещал душу в щитовидной железе мозга, и тем самым собственно придавал ей некоторое материалистическое бытие. Толанд идет еще дальше в этом направлении. Он прямо объявляет сознание особого рода материей, животным эфиром. Этот эфир создается в мозгу, он движется по нервам к ощущаемым предметам и обратно к мозгу. Все так называемые духовные функции человека сводятся Толандом к чисто материалистическим процессам, происходящим в его мозгу и нервах.

Толанд сжато излагает свою точку зрения по этому вопросу в небольшой главе Пантеистикона, выдержки из которой мы считаем целесообразным привести здесь [1]). „Мышление есть особенное движение мозга, специального органа этой способности. Или, скорее, некоторая часть мозга, продолженная спинным мозгом и нервами с их разветвлениями, представляет центр души и выполняет движения мысли и ощущения, которые различаются в зависимости от различного устройства мозга у отдельных видов животных. Здесь нет речи об остальных движениях тела, выполняемых действием нервов. Эфирный огонь, все окружающий, а потому внешний, все проникающий, а потому внутренний, для которого кухонный огонь представляет слабую аналогию и несовершенное подобие,—этот эфир, говорю я (удивительная фабрика мозга способна к тому при действии внешних предметов через нервы и возбуждении различных представлений), правильно выполняет весь механизм восприятия, воображения, воспоминания, расп остранения и сокращения понятий... Этот эфир господствует над всеми, все располагая по своей природе, в этом состоит душа, ум, благоразумие, приращение, движение, уменьшение, перемена, сон, бодрствование. О том, каким образом возбуждаются представления или образуются понятия в мозгу (этот орган, как телесный и очень сложный, может произвести только телесное),—остроумно обсуждается во второй книге эзотериков, где доказывается, что все идеи телесны".

Здесь мы видим, как Толанд, с одной стороны, уходит от количественно-механического рассмотрения вещей пилозоистов к диалектическому пониманию качественных изменений, но, с другой стороны, отождествляя сознание с эфиром-материей, он приходит к метафизическому материализму. Кроме того, Толанд и в этом вопросе обнаруживает непонимание процесса развития, ибо если сознание—функция мозга, то все же непонятно, каким образом именно такое тело, как мозг, получило привилегию сознания. Мир у Толанда как бы от вечности дан в том виде, в каком мы его находим сейчас. Отсюда и вся его общественная просветительская деятельность, отсюда и его убеждение, что священники всегда существовали и всегда были обманщиками, а умные люди всегда об этом догадывались. Эти воззрения Толанда, однако, как нельзя более подходили XVIII веку и имели широкое распространение не только в Англии и Германии, но в особенности

[1]) Pantheisticon, гл. VI.

во Франции. Уже Вольтер при своем посещении Англии, повидимому, усвоил многое из учения Толанда. Несомненно, что он немало стрел, направленных против духовенства, заимствовал у английских деистов, в особенности у Толанда. Он неоднократно сам говорит об этом. Однако несомненно также, что он был знаком и с философскими взглядами Толанда и многие его мысли перевез во Францию. Правда, Вольтер сам не был материалистом, но все же он содействовал развитию материализма во Франции, передавая мнения английского материалиста. На Толанда во Франции обратили внимание вследствие двух его биографий, появившихся одна в 1723 г. в Bibliothèque garmonique, а другая в 1729 г. в „Воспоминаниях для ознакомления с биографиями знаменитых людей" Ницердна.

Взгляды Толанда и Ламетри имеют так много общего, что само собой напрашивается мнение о влиянии первого на второго. Однако, к сожалению, нет никаких доказательств в пользу этого. Зато существует сообщение Гольбаха о его знакомстве с трудами Толанда. Он говорит, излагая свое мнение, об отсутствии абсолютного покоя: „Эта мысль, которая многим мыслителям все еще кажется неясной, нашла прекрасное доказательство в произведении Толанда „Письма к Серене", к которому я отсылаю читателей, мною не вполне убежденных".

Работа Торнмида показывает, что свободные мыслители, и в особенности Толанд, пользовались значительным влиянием и в Германии.

Этот вопрос, однако, еще совершенно не исследован.

После издания „Писем к Серене" Толанд посвятил себя почти всецело политической деятельности, защищая либеральные и демократические принципы. Он пишет множество памфлетов, совершает ряд путешествий по Центральной Европе, где входит в сношения с различными правительствами. Так он знакомится в Голландии с принцем Евгением Савойским, с которым потом ведет „литературную переписку". Однако переписка эта носила не только литературный характер, она имела задачей характеризовать в политическом и экономическом отношениях те страны и дворы, в которых Толанд бывал. Несмотря на большое количество печатных произведений, выпущенных Толандом, и его политическую деятельность, он всегда очень нуждался, а потому предлагал свои услуги некоторым правительствам, но главным образом вождям вигов в Англии, в качестве тайного агента. С другой стороны, правительства, принимая во внимание бойкое перо Толанда, принимали его предложения. Следует, однако, сказать в оправдание Толанда, что он перо свое и убеждения не продавал и никогда не писал того, что не было согласно с его политическими или философскими воззрениями. Все же и эта деятельность не избавляла Толанда от постоянной нужды. Только один раз судьба улыбнулась ему, и он даже оказался в состоянии приобрести себе имение в Энсоме. Там в уединении он много работал, созывал у себя часто друзей и единомышленников и за товарищеской пирушкой вел остроумные и глубокие беседы о философии и о политике. Сохранились его письма к Endoxe, содержащие описание его имения. Он с восхищением описывает красивые места его владения, говорит о своей работе и заканчивает письмо словами, выражающими его довольство и душевное спокойствие. Эта счастливая пора продолжалась, однако, недолго. В 1718 г., вследствие неумения вести хозяйственные дела, он вынужден был продать свое имение и через некоторое время опять ока-

зался в нужде, из которой уже не выходил. Литературная деятельность его, однако, не прекращалась, и в 1720 г. он выпустил свой знаменитый Пантеистикон. В нем он еще пытается создать сообщество пантеистов на подобие религиозного братства, со своими обрядами, служениями, литургиями. Эта идея создания атеистической религии неоднократно возникала в умах многих мыслителей XIX века. Литургия, приведенная в Пантеистиконе, начинается словами председателя собрания:

Председатель: Quod felix faustumque sit.

Собрание отвечает: сократический симпозион начинается.

Пр.: Да здравствует философия!

С.: И да здравствует искусство!

Пр: Да будут священны истина, свобода и здоровье,—три высшие блага мудреца.

С.: Ныне и всегда.

Пр.: Наше имя—товарищи и братья.

С.: И друзья и братья по человечеству.

Пр.: Пусть удалится от нас ссора, зависть и упорство.

С.: И приблизится, напротив, ревность к исследованию, науке и доброте сердца.

Пр.: Будем исследовать основание вещей, чтобы весело провести жизнь и спокойно перенести смерть.

С.: Оставаясь свободными от всякого страха, не величаясь в радости и не падая в печали.

Пр.: Посмеемся над суевернымн страхами черни (поют „De divinitate“ Цицерона).

Вторая часть.

Пр.: Удержите толпу впали.

С.: Дом заперт и безопасен.

Пр.: Все есть единое и единое есть все.

С.: Это, в себе единое, все — бог вечный и неизмеримый, без начала и без конца.

Пр: В нем мы живем, движемся и существуем.

С.: Из него все рождается, все возвращается к нему, он—основание и цель всех вещей.

Пр.: О философия! ты учительница жизни, наставница добродетели, враг порока, что были бы мы, что была бы без тебя вся человеческая жизнь. Ты построила города и основала сношения между людьми, жившими рассеянно; ты соединила их посредством общественной жизни, посредством браков, искусства и науки. Ты изобретательница законов, учительница скромности и добрых нравов. К тебе мы прибегаем, от тебя просим помощи. Ты даешь нам спокойствие жизни и отнимаешь от нас ужас смерти. (Цицерон).

С.: Разум есть истинный и исключительный закон, свет и светоч жизни.

Пр: Не верьте также, что тот, кто совершил что-нибудь злое, будет наказан фуриями. Скорее каждый порок пугается сам себя и носит в себе самом свое наказание. Внутреннее страдание души есть та фурия, которая преследует злого.

С.: Для счастья жизни нужна одна добродетель. Она находит свою награду в самой себе.

Третья часть.

Пр.: Мы должны желать, чтобы здравый дух был в здравом теле; и как мы не должны оставлять легкомысленно жизнь, так не должны мы бояться и смерти (поют Горация, Ода III, 3).

Пр.: Мудрец весел и не заботится о презренной прибыли.

С.: Веселость—признак свободного, печаль—знак раба.

Пр.: Мы хотим быть свободными, но мы покорны закону, потому что только закон есть безопасность и свобода. Свобода так же далека от произвола...

С.: ...как рабство от свободы.

Пр.: Послушайте, что говорит Цицерон: „Величайшее зло есть суеверие. Мы должны стремиться уничтожить его, если хотим приносить пользу себе и ближним. Но уничтожение суеверия не есть уничтожение религии. Красота мира и порядок небесных вещей заставляют нас признать, что есть вечная природа, которую человек должен всегда вновь прославлять и которой должен удивляться“.

С: Мы довольны тем, что природа дает нам для жизни.

Пр.: Знаете ли вы также, что как рождение есть для вас начало всего, так и смерть приносит вам конец навсегда? Безумен тот, кто печалится, что не живет вечно.

С.: И безумен тот, кто печалится, что не жил с начала.

Уже почти на смертном одре он пишет трактат „Искусство врачевания без врачей“. За несколько дней до смерти он сочинил собственную надгробную надпись, по поводу которой Гердер сказал: „Толанду можно простить несколько хвастливый характер его надгробной надписи, за которую многие его обвиняют. Так как при жизни никто не оценил его по справедливости, то он имел право сделать это сам перед смертью“.

Эта надпись, однако, вовсе не носит хвастливого характера. Вот ее текст:

Здесь лежит
Иоанн Толанд,
который родился в Ирландии близ Дерри,
учился в Шотландии и Ирландии,
что он делал, будучи юношей, и в Оксфорде,
и посетивши потом несколько раз Германию.
Провел свою жизнь вблизи Лондона,
Он был другом всех наук
и знал больше десяти языков,
был поборником истины,
ревностным защитником свободы.
Он не был ничьим последователем, не имел ничьего покровительства.
И, всегда предпочитая хорошее себялюбивому,
он, не подавшись ни угрозам, ни несчастью,
достиг той жизни, которую себе выбрал.
Как дух, он с тем духовным источником,
из которого некогда вышел соединился снова.
А тело его, следуя законам природы,
покоится в материнских недрах.
Воскресять он будет,
но уже не тем Толандом, каким был.
Он родился 30 ноября.
остальное смотри в его сочинениях.

Толанд умер в воскресенье 22 марта 1721 г. в 4 часа пополудни от болезни почек. Смерть он встретил спокойно, сказав при прощании с близкими друзьями, что он идет спать. Он похоронен на кладбище в Путней, но могила его не сохранилась.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УИЛЬЯМА ТОМСОНА-КЕЛЬВИНА (1824—1924).

К столетию со дня рождения Уильяма Томсона-Кельвина (1824—1924).

И. Орлов.

Научная деятельность Уильяма Томсона (Кельвина).

26 июня 1924 года исполнилось 100 лет со дня рождения Уильяма Томсона (Кельвина), которого, наравне с Фарадеем и Гельмгольцем, можно считать одним из знаменитейших физиков XIX столетия. Имя Кельвина знаменует собою целую эпоху в развитии физики. Он необычайно рано начал свою научную деятельность и необычайно поздно ее кончил. Он был почти таким же чудо-ребенком, как знаменитый композитор Моцарт: в возрасте 10-ти лет Томсон уже поступил в университет, 17-ти лет он начал печатать оригинальные работы по математической физике, относящейся к теории тепла и электричества; 22-х лет он стал профессором „натуральной философии" (физики) в Глазговском университете. Но в противоположность Моцарту и другим, рано начавшим и рано кончившим гениям, Томсон дожил до глубокой старости, продолжая все время напряженно работать.

Кельвин чрезвычайно близок нам по своему складу мышления. Он не стремился нигде к „чистому экономическому описанию", не искал „символов", — он всегда искал реального объяснения для реальных явлений и успокаивался только тогда, когда находил их. Его подход к явлениям природы был материалистическим, в основе его мышления лежало механическое мировоззрение. Все явления он сводил к движению вещества и для этой цели придумывал многочисленные модели, посредством которых он стремился наглядно изобразить скрытые от наших глаз причины явлений.

Замечательный математик, Кельвин не увлекался чисто математическими изысканиями; его математические выкладки не оторваны от понимания явлений; он с замечательным искусством комбинирует абстрактные теории и конкретные факты. Вместе с тем Кельвин блестящий экспериментатор; при этом в результате опытов он получает не сухие данные, пригодные для научных архивов, но в полном

смысле слова „живые цифры", одушевленные ударами теоретической мысли.

Точно так же Кельвин не замыкался в кругу чистой науки, не отрывал теорию от практики. Своими практическими работами и изобретениями он знаменит не менее, нежели чисто-научными трудами — вспомним, например, его участие в проведении кабеля через океан.

Работы Кельвина чрезвычайно многочисленны и разнообразны по содержанию. С именем Кельвина связаны многие самые основные и широко известные теории физики.

Прежде всего имя Кельвина связано с развитием теории электричества. Основателем современной электрической теории следует считать Михаила Фарадея. Открытия Фарадея имели большой успех. Весь ученый мир с изумлением следил за неиссякаемым потоком экспериментальных работ Фарадея, восхищался открытиями диамагнетизма, „намагничиванием" света и проч. Но идеи Фарадея никого не интересовали; ученые не придавали им никакого значения. Ученым физикам не приходило в голову, что, ведь, должна быть какая-то система, какой-то комплекс идей и представлений, на основе которых Фарадей производил свои терпеливые, упорные изыскания. Благодаря случаю, гениальной догадке, можно сделать одно-другое открытие, но нельзя получить длинную цепь поразительных открытий.

Основной прием Фарадея заключался в том, что он рассматривал эфирную среду, окружающую наэлектризованные и намагниченные тела, в качестве носителя электрических и магнитных сил, и стремился представить себе те процессы, те упругие натяжения и смещения, которые происходят вокруг заряженных тел. Томсон и Максвелл первыми оценили эти идеи Фарадея и принялись за их систематизацию и математическую разработку.

Томсон со свойственным ему конкретным, реалистическим подходом рассматривал электричество, как вязкую жидкость, а окружающий эфир—как упругое твердое тело чрезвычайно малой плотности; при этом он утверждал, что ток поворачивает эфир внутри соленоида.

В теории света Томсон разошелся с Максвеллом. Из теории Максвелла вытекало, что свет оказывает давление на все тела, на которые он падает; между тем Томсон не предусматривал такого действия света. Этот спор между двумя знаменитыми физиками был разрешен только московским ученым П. Н. Лебедевым, обнаружившим на опыте световое давление.

Стройная, законченная электрическая теория была создана Максвеллом, но и работы Томсона имели огромное значение, в особенности в области статического электричества.

Впоследствии Томсон занимался вопросом об электрических измерениях и построил целый ряд приборов, как, например, квадратный электрометр, электродинамические весы и проч., и разработал

методы измерений, благодаря чему стало возможным точное экспериментирование в области электростатики.

В области термоэлектричества Томсон теоретически предсказал, что в неравномерно нагретом проводнике, состоящем только из одного металла, будет иметь место падение электрического потенциала. Если пропустить ток через такой неравномерно нагретый проводник, то, кроме обычного выделения джоулева тепла, будет наблюдаться перенос тепла по направлению тока или в противоположном направлении, в зависимости от природы проводника. Это явление Томсон обнаружил также на опыте. Оно вошло в науку под именем „явления Томсона".

Другим существенным вопросом, над которым работал Уильям Томсон, было установление в окончательной форме второго закона термодинамики.

Самое явление, о котором идет речь, было открыто французским инженером Сади Карно. Последний указал на то, что для производства работы необходима разность температур, что теплота производит работу лишь в том случае, если она переходит от высшей температуры к низшей. Карно, согласно господствующим взглядам, рассматривал теплоту, как вещество (теплород); явление, открытое им, он называл спадом тепла и представлял себе дело таким образом, что тепловое вещество, спадая от высокой температуры к низкой, совершает работу аналогично тому, как вода, падая с одного уровня на другой, вращает мельничное колесо. Но как-раз подоспело открытие закона сохранения энергии. Юлиус Роберт Майер выступил пионером в Германии. В Англии близкий друг Томсона Джоуль сделал то же самое открытие и в ряде опытов доказал, что теплота есть не вещество, а форма энергии, и что она в определенной пропорции может превращаться в другие формы энергии и обратно получаться из них. Отсюда следовало, что при получении работы в тепловой машине Карно имел место не только спад тепла, т.-е. переход его от высшей температуры к низшей, но и прямое потребление тепла, т.-е. переход части тепла в работу. Но такой взгляд вносил неясность и противоречие в теорию Карно; задачу Карно надо было решать заново. Решение этой задачи дали два исследователя—Томсон и Клаузиус.

Клаузиус ввел понятие энтропии, как некоторой функции состояния тела, выражающей меру обесценения энергии, и дал отвлеченно математическую формулировку принципа Карно: энтропия вселенной стремится к максимуму. Между тем, Томсон выразил принцип Карно в чрезвычайно наглядной и популярной форме: он открыл закон рассеяния энергии.

Всякий запас энергии в природе неумолимо стремится к рассеянию. Различные формы энергии переходят в тепло, тепло же рассеивается в пространстве; горячее тело остывает, разница температур, необходимая для производства работы, сглаживается. Процессы в природе текут необратимо и ведут к рассеянию тепла, к истощению полезной энергии. Таков был результат решения задачи Карно. В связи с этим Томсон много занимался вопросом о происхождении солнечного тепла.

Солнце точно так же остывает и рассеивает свою энергию, как и всякое нагретое тело, и должно рано или поздно израсходовать всю свою энергию. Между тем, земля из года в год, из столетия в столетие получает от солнца одинаковое количество тепла. Откуда же солнце восполняет свои потери? Томсон видел такой источник энергии, питающей солнце, в потоке метеоров, падающих на солнце под действием его притягивания. Томсон проделал ряд интересных вычислений, показывающих, какой тепловой эффект произвело бы падение на солнце той или иной планеты и за какой срок оно покрыло бы потерю солнцем тепла.

Томсон не дал окончательного решения этого вопроса, равно как и Гельмгольц, который искал источник постоянства солнечного тепла, в процессе сжатия солнца. И та и другая причина оказывается недостаточной, не покрывающей того колоссального количества тепла которое солнце рассеивает ежеминутно; не объясняет также устойчивости и долговечности солнца, в течение многих десятков миллионов лет обогревающего землю. Впрочем, удовлетворительного решения этой проблемы не найдено и до настоящего времени; новейшие теории (напр., радиоактивный распад атомов на солнце) также нельзя признать вполне выясняющим вопрос.

Углубляя далее механическую теорию, Томсон разошелся с Максвеллом по вопросу определения абсолютной температуры газов. Томсон показал неточность общепринятого допущения, что температура пропорциональна живой силе молекул газа; он дал правильный способ аналитического определения абсолютной температуры и построил воздушный термометр, показания которого точно совпадали с результатами, вычисленными по указанному им способу.

Механическая теория тепла так же, как и кинетическая теория материи, многим обязаны Томсону. Работы его чрезвычайно разнообразны; здесь могут быть указаны только важнейшие.

Так, при близком участии Томсона была выработана система абсолютных C. G. S. единиц.

Имя Томсона стало широко популярным в Англии, благодаря его участию в проведении кабеля через Атлантический океан. Главная трудность, с которой приходилось бороться,—это медленность передачи сигналов в подводном кабеле. Томсон нашел, что передача замедляется по закону квадратов, т.-е. пропорционально не длине кабеля, но квадрату длины. Дело в том, что подводный кабель, в отличие от воздушных проводов, представляет собою конденсатор или же лейденскую банку, имеющую весьма большую поверхность обкладок. Сердцевина кабеля, скрученная из медных проволок, представляет собою одну из обкладок конденсатора. Эта сердцевина обмотана слоем изолирующего вещества, напр., гуттаперчи, а затем броней

из железных проволок, при чем броня играет роль второй обкладки конденсатора. При замыкании тока через сердцевину кабеля, электричество идет на заряжение конденсатора. На противоположном конце кабеля получается сперва слабый толчок, затем ток возрастает до максимума. При размыкании тока конденсатор разряжается, получается обратный ток к станции отправления; только когда этот обратный ток прекратится, можно отправлять следующий сигнал, т.-е. следующую букву. Если кабель проведен между Ирландией и Ньюфаундлендом, то для передачи каждой буквы потребовалось бы 12—15 секунд, для передачи одного слова 1—2 минуты; это делало бы кабель предприятием совершенно невыгодным в коммерческом отношении. Правильно поняв причину замедления передачи, Томсон с удивительной изобретательностью вышел из затруднения и построил особый инструмент, который он назвал „регистрирующим сифоном", позволяющий передавать сигналы с обычной скоростью воздушных телеграфных линий. Сущность изобретения заключалась в том, что „регистрирующий сифон" реагировал на самый первый слабый толчок, а не на максимум тока; второй сигнал посылался тотчас вслед за первым; толчок от второго сигнала точно так же регистрировался „сифоном", несмотря на обратный ток после первого сигнала, вернее, благодаря обратному току. Томсон остроумно использовал этот обратный ток в кабеле при конструкции своего „сифона". Телеграфное сообщение между Европой и Америкой сделалось возможным только благодаря описанному изобретению Томсона, а также благодаря дальнейшей изобретательности Томсона, преодолевшей все затруднения при прокладке кабеля.

Из других практических работ Томсона отметим изобретение компаса, на который не оказывают влияния железные части корабля, а также усовершенствования приборов для изучения морских глубин.

Наконец, Томсона занимал всегда философский вопрос о строении материи, и он постоянно работал над разрешением этого вопроса. Метод его работ был таков: все силы он стремился свести к движению, явления пытался объяснить наглядно посредством построения механических моделей.

„Мне кажется,—говорит Томсон,—что истинный смысл вопроса, понимаем мы или не понимаем физическое явление?—сводится к следующему: можем ли мы построить соответствующую механическую модель? Я остаюсь неудовлетворенным, пока я не построю такой модели; если я смогу ее сделать,—я пойму; в противном случае—я не понимаю".

Из многочисленных механических моделей, построенных им, отметим модель упругого тела, сделанную из неупругого материала и основывающуюся на свойствах вращательного движения. Затем весьма интересны его модели индуктированного намагничивания в железе, механическое изображение магнитной силы, модель эфира. Но самая замечательная модель, построенная Томсоном, без сомнения,

модель вихревого атома. Здесь он разработал и применил к конкретной физической теории математическое исследование о вихревом движении своего друга Гельмгольца. Однако нельзя сказать, чтобы модели, которые строил Томсон, вполне удовлетворяли его; проблему строения материи он далеко не считал разрешенной. Чем ближе к концу XIX столетия, тем в физике все более накоплялись факты, приводившие в смущение старого ученого. Когда хвалили его заслуги, он возражал, как бы в шутку, что в своей научной деятельности он, в сущности, все время терпел неудачи. За этой шуткой скрывалась серьезная неудовлетворенность разрешением проблемы о строении материи. Он чувствовал, что действительное решение от него ускользает.

В физике назревала эпоха колоссальных сдвигов, на очереди стояли принцип относительности и теория квант. Кельвин уже не мог принять участие в обсуждении этих теорий,—он олицетворяет собой физику второй половины XIX века. Он вошел в историю, как один из гениальных представителей классической физики.

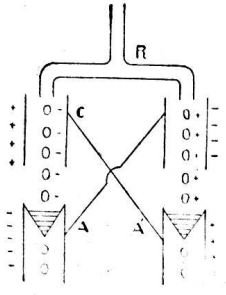
К столетию со дня рождения лорда Кельвина (26 июня 1824).

Альберта Эйнштейна.

Все физики знают и любят У. Томсона (лорда Кельвина), как одного из наиболее мощных и плодотворных мыслителей XIX века, как основателя теоретической школы, из которой вышел гениальнейший теоретик нового времени Клерк Максвелл.

Томсон, одаренный богатой фантазией, редкой способностью к использованию математических форм и проникновенным умом, в продолжение почти 60 лет участвовал в работе развития физики и различных отраслей техники и издал множество работ, имеющих значение до нашего времени. Немногие ученые были столь же плодотворны.

Решительнейшим образом Томсон повлиял на развитие физики тогда, когда он одновременно с Клаузиусом закладывал основы термодинамики, при чем оба они оказывали друг на друга стимулирующее влияние. Двадцати трех лет он создает понятие абсолютной температуры, одно из фундаментальнейших понятий физики, без которого сейчас мы совершенно не можем представить эту науку. Почти необозримым является огромное количество исследований из области учения о теплоте, гидродинамики, учения об электричестве, мореплавании, физической географии и техники измерений, которыми мы обязаны У. Томсону. Элегантность методов всегда доставляет читателю высокое наслаждение. Воспоминание о материальных и организационных сторонах его деятельности заставляет признать нас эту долгую и богатую жизнь блестящей. Но все же в деятельности этого высокого ума есть нечто трагическое. Все мироздание Томсон строил на фундаменте Ньютоновской механики. В этом уме, стремившемся к единству познания, была глубокая вера, что все события физического мира, в сущности, являются проявлением движения, и что механика Ньютона, в конце концов, дает

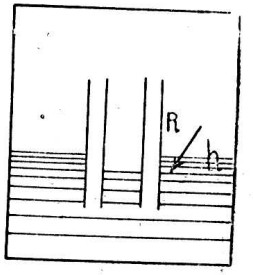


ЧЕРТЕЖ 1

ключ для понимания всего происходящего. Верный этому убеждению он пытался создать, напрягая все свои мыслительные силы в продолжении десятилетия, механическую теорию атомов и электромагнитных явлений. В конце его жизни открытие рентгеновских лучей и радиоактивных явлений показало ему, что все его усилия в этом направлении были напрасны и, таким образом, его основное убеждение оказалось ошибочным. Начался период неопределенности и текучести основных понятий физики, конца которому не видно и сейчас. Томсон, которому эти основные понятия физики почти до конца его жизни казались непреложными, содрогнулся бы, если бы он неожиданно мог бросить взгляд на нашу теперешнюю литературу.

Вместо того чтобы пытаться дать обзор его трудов, я хочу лучше показать на нескольких простых примерах, которые меня когда-то особенно увлекали, ясность его исследовательского духа.

Аппарат для обнаружения электростатических зарядов при помощи водяных капель (см. чертеж 1).



ЧЕРТЕЖ 2

Из заземленной трубки R вытекают две струи, которые распадаются внутри изолированных металлических цилиндров C, C' и капли, падающие в снабженные внутренними воронками, изолированные подставки A, A'. C соединено проводником с A', C' с A. Если C заряжено положительно, то образующиеся внутри C капли будут заряжены отрицательно и будут отдавать свой отрицательный заряд A, заряжая вместе с тем отрицательно и C'. Благодаря отрицательному заряду C, образующиеся внутри C' капли воды зарядятся положительно и разрядятся в A', увеличив положительный заряд A' и C. Заряд C, A' и C', A повышается, пока изоляция препятствует проскакиванию искры.

Влияние капиллярной кривизны жидкой поверхности на давление пара (см. чертеж 2).

Пусть капиллярная трубка (внутренний радиус R) погружена в несмачивающую жидкость. Внутри трубки при равновесии капиллярное понижение имеет значение:

$$h = \frac{2\delta}{R\varrho g},$$

δ — капиллярная постоянность;

ϱ — плотность жидкости;

g — ускорение силы тяжести.

Обозначая через ϱ_0 плотность пара (малую сравнительно с ϱ), тогда вверху по сравнению с поверхностью свободной жидкости имеется избыток давления:

$$\Delta p = \varrho_0 g h = \frac{2\delta}{R}\frac{\varrho_0}{\varrho}.$$

Ясно, что этот результат имеет силу независимо от того, при каких условиях образуется кривизна жидкой поверхности.

Доказательство теоремы Гельмгольца о вихрях:

Пусть L замкнутая кривая в жидкости, лишенной трения текущей скоростью, компоненты которой u_τ. По теореме Стокса линейный интеграл:

$$W = \int \sum u_\tau \, dx_\tau$$

(u_1, u_2, u_3 компоненты скорости, x_1, x_2, x_3 координаты) равен поверхностному интегралу от вектора вихря по любой поверхности, ограниченной L. Спрашивается, какова зависимость величины вихря от времени, при условии, что кривая L принимает участие в течении жидкости. Обозначая производную по времени, относящуюся к частице жидкости $\frac{D}{Dt}$ и соответствующий дифференциал D имеет для любой величины φ:

$$\frac{D\varphi}{Dt} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum u_\nu \frac{\partial \varphi}{\partial x_\nu}.$$

Тогда уравнение Эйлера для движения жидкости гласит:

$$\frac{Du_\nu}{Dt} = -\frac{\partial \pi}{\partial x_\nu} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_\nu}$$

(если $\pi = \int \frac{dp}{\varrho}$ предполагает, что плотность жидкости есть функция только давления и что внешние силы однозначно определяются потенциалом φ).

Тогда

$$Du_\nu = -dt \frac{\partial(\pi + \varphi)}{\partial x_\nu}, \quad Ddx_\nu = dt \sum \frac{\partial u_\nu}{\partial x_\alpha} dx_\alpha.$$

Отсюда следует:

$$DW = \int \sum (Du_\nu \, dx_\nu + u_\nu Dx_\nu) = dt \int \sum \frac{\partial}{\partial x_\nu} \left(-\pi - \varphi + \sum \frac{u_\nu^2}{2} \right) = 0.$$

В этом результате $DW = 0$ содержится теорема о вихрях Гельмгольца.

Вспомним же с благодарностью по случаю столетия со дня рождения У. Томсона этого великого ученого и будем надеяться, что сможем выражать результаты завоеваний физики нашего времени так же просто и наглядно-живо, как это видим у него.

Перевод В. Семенченко.

„Die Naturwissenschaften" № 30, 1924).

О вихревых атомах.

Профессор Вильям Томсон [1]).

Отметив замечательное открытие Гельмгольца [2]) о законе вихревого движения в совершенной жидкости, — т. е. в жидкости, совершенно лишенной вязкости (или жидкого трения), — автор настоящей статьи указал, что это открытие неизбежно внушает мысль, что кольца Гельмгольца единственно истинные атомы. Единственным предлогом, повидимому, оправдывающим чудовищное допущение бесконечно твердых (strong) и бесконечно неупругих (rigid) частей материи, существование которых утверждается, как вероятная гипотеза, некоторыми из величайших современных химиков в их беглых вступительных замечаниях, является требуемое Лукрецием и принятое Ньютоном, повидимому, необходимое объяснение неизменных отличительных качеств разных родов материи. Но Гельмгольц доказал абсолютно неизменное качество движения части совершенной жидкости, в которой однажды вызвано особого рода движение, которое он называет вихревым — Wirbelbewegung. Таким образом всякая часть совершенной жидкости, имеющая вихревое движение, обладает особенностью атомов Лукре-

[1]) Сообщено автором после прочтения в Королевском Обществе Эдинбурга. Напечатано в „Philosophical Magazine" 1867 г., V, 34. Перевод Н. М. Лихтгейма, примечания З. Цейтлина. Точный перевод заглавия статьи (On Vortex atoms) будет: „Об атомах, как вихревых шнурах". Vortex — вихревой шнур, состоящий из вихревых линий. Согласно определениям Гельмгольца („Два исследования по гидродинамике", пер. Чаплыгина, стр. 7) 1) Вихревые линии — это линии, проведенные в жидкой массе таким образом, что их направление повсюду совпадает с направлением мгновенной оси вращения лежащих на них частиц жидкости. 2) Вихревые нити (шнуры) — это части жидкой массы, которые выделяются из нее, если через все точки контура бесконечно малого элемента поверхности провести соответственные вихревые линии. Если взять цилиндрический бесконечно длинный и прямой вихревой шнур, то мы будем иметь следующую картину: в пределах некоторого радиуса R_0 жидкость будет вращаться как одно целое, с постоянной угловой скоростью вокруг оси цилиндра, при чем отдельные вихревые нити будут иметь ту же скорость вокруг собственных осей; остальная масса жидкости будет вращаться вокруг оси цилиндра с угловой скоростью $\omega = \frac{\text{Const.}}{R^2}$, где $R > R_0$.

[2]) Это открытие изложено Гельмгольцем в работе „Об интегралах уравнений гидродинамики, соответствующих вихревым движениям" (Crelle-Borchardt, Journal f. die reine und angewandte Math, B. LV, 525, 1858. Русский перевод С. А. Чаплыгина, Москва 1902 г.: „Два исследования по гидродинамике").

ция—вечным специфическим качеством. Создать или разрушить вихревое движение в совершенной жидкости может только акт творческой силы [1]). Атом Лукреция не объясняет никаких свойств материи, не приписывая их самому атому. Так, например, „столкновение атомов", как оно хорошо названо, выдвигалось новейшими последователями Лукреция для объяснения упругости газов. Всякое другое свойство материи равным образом требовало допущения специфических сил, свойственных атому. Одинаково легко (и так же невероятно, если не более того) допустить какие-либо специфические силы в части материи, обладающей вихревым движением, как и в твердой неделимой материи. Поэтому атом Лукреция прежде всего не имеет никакого преимущества перед атомом Гельмгольца. Но великолепный опыт с кольцами дыма, на котором автор недавно имел удовольствие присутствовать в аудитории профессора Т-та, сократил одно из допущений, требуемых для объяснения свойств материи на основании гипотезы, что все тела состоят из вихревых атомов в совершенной однородной жидкости. Два кольца дыма несколько раз отскакивали косвенно друг от друга, сильно потрясаемые действием толчка. Результат был весьма подобен наблюдаемому в двух больших

[1]) Точная формулировка закона сохранения вихревого движения такова: 1) если какая-либо частица жидкости в известный момент обладает вращательным движением, то она обладала и будет обладать им вечно; 2) если частица в известный момент не обладает таким движением, то она никогда не имела и не будет иметь этого движения; 3) циркуляция вихря, т.-е. удвоенное произведение площади сечения вихря на угловую скорость, величина постоянная как в пространстве (вдоль вихря), так и во времени.

Первые два положения строго отделяют невихревое движение (с „потенциалом скоростей") от вихревого (без „потенциала скоростей"). Подчеркнем, что вихревое движение может проникнуть в те области, где существует невихревое движение, но только путем замены частиц жидкости, а не передачи вихревого движения. Иначе говоря: вихревые частицы при передвижении сохраняют свою индивидуальность.

Первое доказательство закона сохранения вихревого движения было дано Cauchy (Mémoire sur la Théorie des Ondes. Mém. de l'Acad. Roy. d. Sciences, 1, 1827), другое Стоксом (Camb. Trans. 8, 1845), который вместе с тем критически обозрел историю проблемы Лагранжа о движении с т.-н. „потенциалом скоростей" (невихревом). Доказательство Стокса было развито Томсоном (On Vortex Motion. Trans. R. S. Edin. Vol. 25, 1869). Имеется также доказательство Кирхгофа, изложенное в его „Механике". Необходимо отметать, что все эти доказательства относятся к т.-н. „совершенной (идеальной) жидкости". Идеальная жидкость гидродинамики это, согласно определению Томсона („On Vortex Motion"), „масса, непрерывно заполняющая пространство, смежные части которой везде давят друг на друга в точности по направлению перпендикуляра к поверхности, разделяющей эти части". Последнее условие означает абсолютное отсутствие трения. Обратим внимание читателя на то, что Евклидово пространство, рассматриваемое, как физическое тело, является однородной, непрерывной, т.-е. абсолютно несжимаемой „жидкостью"; но в „этой „жидкости" мы наблюдаем процессы „трения", которыми и объясняется нарушение закона Гельмгольца в реальных телах природы. Это доказывает, что теория Гельмгольца еще далека от приблизительного даже охвата действительности. Подробно об этом — в приглагаемом к статье Томсона очерке развития вихревой теории материи.

Основы вихревой теории вместе с историческими указаниями хорошо изложены у H. Lamb'a (Hydrodynamique) и руководстве Winkelmann'a (статья F. Auerbach'a) и книге Poincaré: „Théories des tourbillons". Сжатое обозрение в статье Lecy'a (Enc. d. Math. Wiss., B. IV).

резиновых кольцах, ударяющих друг друга в воздухе. Упругость каждого кольца дыма, казалось, недалеко от того совершенства, какого можно ожидать в твердом резиновом кольце такой же формы и из которого мы заключаем о вязкости резины. Конечно, кинетическая упругость формы есть совершенная упругость вихревых колец в совершенной жидкости, по крайней мере это такое же хорошее начало, как и „столкновение атомов" для объяснения упругости газов. Вероятно, прекрасные исследования Д. Бернулли, Герапата, Джоуля, Кренига, Клаузиуса и Максвелла о разных термодинамических свойствах газов могут иметь все те же положительные допущения, которые авторы принуждены были сделать о взаимных силах между двумя атомами и кинетической инерции, приобретенной индивидуальными атомами или молекулами, но объясненные посредством вихревых колец, не предполагая другого свойства в материи, движение которой образует кольца, кроме инерции и несжимаемого наполнения пространства. Полное математическое исследование взаимодействия между двумя вихревыми кольцами данных величин и скоростей, проходящими друг возле друга по каким-либо двум линиям в таком направлении, что они никогда не могут приблизиться друг к другу более, чем на кратную величину диаметра каждого — вполне разрешимая математическая задача; и новизна наблюдаемых обстоятельств представляет трудности удивительного свойства. Ее решение станет основанием предложенной новой кинетической теории газов. Возможность назвать теорию упругих твердых и жидких тел на динамике более-сложенных вихревых атомов может быть предположена с большим основанием. В связи с этим предположением можно заметить, что самое заглавие записки Ранкина „О молекулярных вихрях", сообщенной Королевскому Обществу Эдинбурга в 1849 и 1850 г.г., было знаменательным шагом в физической теории.

Королевскому Обществу были представлены диаграммы и проволочные модели для иллюстрации связанных и сплетенных вихревых атомов, разнообразие которых бесконечно больше чем достаточно для объяснения разновидностей и видоизменений известных простых тел и их взаимного сродства. Надо заметить, что два кольцевые атома, соединенные вместе или в одно целое, связанное каким-либо образом своими встречными концами, составляет систему, которая, хотя может быть изменена в форме, никогда не может уклониться от своей особенной кратной непрерывности, т. к. невозможно для материи какой-либо линии вихревого движения пройти через линию какой-либо другой материи в таком же движении или какую либо другую часть ее собственной линии. В самом деле, замкнутая линия вихревого ядра буквально неделима каким-либо действием, происходящим от вихревого движения [1]). Автор обращал внимание на весьма важ-

[1]) Эти абсолютные утверждения Томсона являются метафизическими абстракциями, построенными на самом деле лишь основную „тенденцию" вихревых движений. Hadamard указал, например, что ударные волны могут вызвать вихревое движение и в идеальной

ное свойство вихревого атома в отношении к знаменитому ныне спектральному анализу, практически установленному открытиями и работами Кирхгофа и Бунзена. Динамическая теория этого предмета, которую профессор Стокс объяснил автору настоящей записки до сентября 1852 г. и которую он излагал на своих лекциях в Глазговском университете, начиная с этого времени, требовала, чтобы последний состав простых тел имел один или более периодов колебаний, какие имеет струнный инструмент из одной или более струн или упругое твердое тело, состоящее из одного или более камертонов, твердо соединенных. Допускать такое свойство в атоме Лукреция значит в то же время придавать ему ту самую гибкость и упругость, для объяснения которых, как они проявляются в сложных телах, атомическое строение было первоначально допущено. Таким образом, если бы гипотеза атомов и пустоты, признанния Лукрецием и его последователями необходимой для объяснения гибкости и сжимаемости связанных твердых и жидких тел, была действительно необходима, то молекула, например, натрия должна бы быть не атомом, а группой атомов с пустым пространством между ними[1]). Такая молекула не могла бы быть крепкой и прочной, и таким образом она потеряла бы то преимущество, которое и обусловило ее популярность среди философов. Но, как показывают опыты, произведенные перед обществом, вихревой атом имеет совершенно определенные основные виды колебаний, зависящие только от движения, существование которого образует его.

Открытие этих основных свойств представляет крайне интересную проблему чистой математики. Даже для простого кольца Гельмгольца аналитические затруднения громадны, но, конечно, далеки от непреодолимости при настоящем состоянии математической науки. Автор этого сообщения до сих пор не пытался разработать вопроса, кроме случая, бесконечно длинного, прямого, цилиндрического вихря. Для этого случая он исследовал решения, соответствующие всякой возможной форме бесконечно малого колебания, и намеревался включить их в математическую записку, которую он надеялся скоро сообщить Королевскому Обществу[1]). Один весьма простой результат, который он мог бы уже теперь установить,— следующий. Пусть дан такой вихрь, имеющий сечение, отличное от точной круговой фигуры на бесконечно-малое гармоническое уклонение порядка i[2]). Эта форма будет двигаться волнообразно вокруг оси цилиндра в том же направлении, как вращение вихря, с угловой скоростью равной $\frac{i-1}{i}$ угловой скорости вращения.

Отсюда, т. к. число гребней в целой окружности равно i, то для гармонического уклонения порядка i число $i-1$ периодов колебания соответствует одному периоду обращения вихря. Для случая $i=1$ здесь нет колебаний, и решение выражает только бесконечно-мало смещенный вихрь с его неизменной круговой формой. Случай $i=2$ соответствует эллиптической деформации кругового сечения; и потому для него период колебания представляет просто период обращения. Эти результаты, конечно, приложимы к кольцу Гельмгольца, когда диаметр приблизительно кругового сечения мал сравнительно с диаметром кольца, как это было в кольцах дыма, показанных Обществу. Чистые основные виды двух родов поперечных колебаний кольца[3]), подобные колебаниям, наблюдавшимся в опытах, должны быть

жидкости (см. C. R. 136. 299. 1903 г.). J. R. Schütz (Wied. Ann. 56. 144. 1895), основываясь на том, что в воде вязкость не играет почти роли, а вихревое движение уклоняется от гидродинамической теории, пришел к заключению, что законы Гельмгольца имеют силу только при совершенном термодинамическом равновесии. Сам Гельмгольц в работе „О непрерывном движении жидкости" указывает, что различного рода странные, прерывного характера неправильности, с которыми, вероятно, приходилось бороться каждому, предпринимавшему наблюдения над движениями жидкости, не могли быть объяснены даже и трением, действующим во всяком случае непрерывно и равномерно.

[1]) Современная теория строения атома доказала, что это именно так. Подрывает ли это значение вихревой теории? Да, если ее рассматривать как точное изображение действительности, „истину в конечной инстанции". Нет, если вихревую теорию рассматривать, как физическую геометрию, т.-е. науку, рисующую основные линии явлений природы, „детали" механизма природы: механизм может быть очень сложен, детали же всегда просты. Об этом ниже.

[1]) Математическая теория колебания цилиндрического вихря была опубликована Томсоном лишь в 1880 г. (Vibrations of a columnar Vortex. Proc. of R. S. Edinb. 1880 г. См. 5-й том соч. Томсона).

[2]) Для понимания нижеследующего, необходимо сделать несколько пояснительных замечаний. Вообразим окружность радиуса R_0. Пусть эта окружность деформирована так, что точка с полярными координатами R_0 и α_0 перешла в течение времени dt в точку с полярными координатами $R_0 + dR = R$ и $\alpha = \alpha_0 + d\alpha$. Разложим R в ряд Фурье: $R = R_0 + \sum A_i \cos i\alpha + \sum B_i \sin i\alpha$. Уклонение кривой, соответствующее значению i, называется гармоническим уклонением порядка i. Анализ вихревого колебания дает для A_i и B_i следующие значения: $A_i = C_0 \sin(1-i)\,t + C_1$; $B_i = C_0 \cos(1-i)\,t + C_1$, где C постоянные, а угловая скорость вихря считается равной единице. В целях упрощения предположим, что все коэффициенты ряда Фурье, за исключением A_i и B_i равны нулю. Тогда $R = R_0 + A_i \cos i\alpha + B_i \sin i\alpha = R_0 + C_0 \sin[(1-i)\,t + i\alpha] = R_0 + C_0 \sin[(i-1)\,t - i\alpha]$, если положить $C_1 = 0$. Общеизвестно, что подобного рода уравнение означает волнообразное движение со скоростью (угловой): $\frac{i-1}{i}$. При $i=1$, $R = R_0 + A_1 \cos\alpha + B_1 \sin\alpha$, уравнение окружности с центром $(A_1 B_1)$, который неподвижен, так как $\frac{i-1}{i} = 0$. При $i=2$ получаем $R = R_0 + A_2 \cos 2\alpha + B_2 \sin 2\alpha$—уравнение эллипса, который вращается с угловой скоростью $\frac{i-1}{i} = \frac{1}{2}$ угловой скорости вихря. Т. к. в эллипсе два гребня, то период колебания какой-либо точки равен периоду обращения вихря; точно так же для случая $i-1$ периодов колебания равны одному периоду обращения. Подробно см. у Томсона и в книге Пуанкаре.

См. также Lamb, § 158.

[3]) Из анализа Томсона (см. т. V, стр. 163) вытекает, что в цилиндрическом вихревом шнуре имеют место колебания не только по окружности вихря, но и вдоль его. Кроме того, если в ряде Фурье имеется более двух коэффициентов не равных нулю, то кривая более сложна и складывается из ряда форм, каждая из которых имеет свою скорость. Томсон указывает, что действительные колебания (в дымовых кольцах, например) гораздо быстрее вышеприведенных.

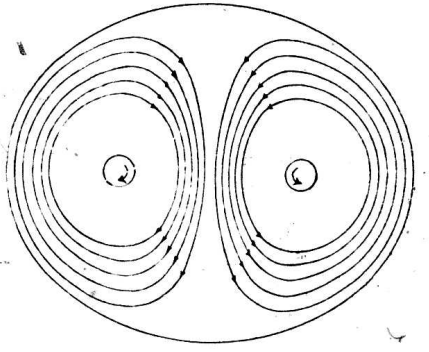
гораздо быстрее эллиптического колебания сечения. Вероятно, колебания, вызывающие воспламенение паров натрия, аналогичны тем, которые представляли кольца дыма. Поэтому вероятно, что период каждого вихревого вращения атомов паров натрия гораздо меньшем миллионной от миллионной секунды, т. к. это, приблизительно, период колебания желтого света натрия. Далее, поскольку этот свет состоит из двух родов колебаний одновременных с немного различными периодами, равными, приблизительно, времени, сейчас установленному, и, насколько можно заметить, с почти равными напряжениями,—атом натрия должен иметь два основных вида колебания с соответственными периодами, вызываемых теми же силами, которые испытывают атомы в воспламененных парах. Это последнее условие делает вероятным, что соответственные два основные вида, приблизительно, подобны (а не только разные порядки разных рядов, случайно почти совпадающих в их периодах колебания). В приблизительно круглом и однородном диске упругого твердого тела основные виды поперечных колебаний с узловыми делениями на квадранты удовлетворяют обоим условиям.

В приблизительно круглом и однородном кольце упругого твердого тела эти условия выполняются для крутильных (flexural) колебаний в его плоскости, а также для поперечных колебаний, перпендикулярных к плоскости. Но круглое вихревое кольцо, имеющее одну часть немного толще другой, не осталось бы в таком виде, а испытывало бы продольные колебания вокруг собственной окружности и не могло бы иметь двух основных видов колебаний, подобных по характеру и приблизительно равных периодов. Вероятно[1]), то же утверждение может быть практически распространено на всякий атом, состоящий из одного вихревого кольца, как бы оно ни было свернуто, как иллюстрировано кольцами моделей, показанных Обществу, состоявших из одной только проволоки и соединенных разными способами. Поэтому кажется вероятным, что атом натрия не может состоять из одной вихревой линии; но он может очень вероятно состоять из двух приблизительно равных вихревых колец, проходящих одно через другое подобно двум звеньям цепи. Но достоверно, что пар, состоящий из таких атомов, с соответственными объемами и угловыми скоростями в обоих кольцах каждого атома, действовал бы точно так, как воспламененный пар натрия, т.-е. удовлетворял бы „характерному спектру“ натрия.

Возможное действие перемены температуры на основные виды колебаний не может быть выяснено без математического исследования, до сих пор не выполненного; и потому мы не можем сказать, что динамическое объяснение, подсказываемое ныне, математически доказано настолько, чтобы включить весьма приблизительное тождество периодов колеблющихся частиц воспламененного пара с периодами соответствующих им основных видов при низшей температуре, при которой пар обнаруживает свою замечательную способность поглощения света натрия.

[1]) Записка апреля 26 1857 г.—Автор имел основание для уверенности, что особенность натрия может быть осуществлена известной конфигурацией одной линии вихревого кольца; эта конфигурация будет описана в математической записке, которую он намерен сообщить обществу.

Весьма замечательное открытие, сделанное Гельмгольцем относительно простого вихревого кольца, состоит в том, что оно всегда движется относительно отдаленных частей жидкости в направлении, перпендикулярном к его плоскости, в сторону, в которую вращательное движение влечет внутренние части кольца. Определение скорости движения, даже приблизительное, для колец, радиус сечения которых мал сравнительно с радиусом оси круга, представило математические трудности, до сих не превзойденные [1]). В кольцах дыма, действительно наблюдавшихся, она кажется всегда несколько меньше скорости жидкости вдоль прямой оси через центр кольца; ибо наблюдатель, стоящий в стороне от линии движения кольца, в тот момент, когда плоскость кольца проходит через положение глаза, видит выпуклое [2]) очертание атмосферы дыма впереди кольца. Это выпуклое очертание указывает выступающую поверхность между количеством дыма, увлекаемым вперед с кольцом в его движении и окружающим воздухом, пропускающим его. Не так легко различить соответственное выпуклое очертание позади кольца, так как неопределенный след



[1]) См., однако, примечание к переводу проф. Тэта записки Гельмгольца (Phil. Magazine 1867, V, 35. Suppl.), где дан результат математического исследования, которое недавно удалось выполнить автору настоящего сообщения. См. т. V, стр. 67 соч. Томсона.

[2]) Диаграмма точно представляет выпуклое очертание, указанное выше, и линии движения внутренней жидкости, увлекаемой вихрем, в случае двойного вихря, состоящего из двух бесконечно-длинных, параллельных, прямых вихрей с одинаковым вращением в противоположных направлениях. Кривые начерчены м-ром Д. М. Фарленом по вычислениям, сделанным им с помощью уравнения системы кривых:

$$\frac{y^2}{a} = \frac{2x}{a} \cdot \frac{N+1}{N-1} - \left(1 + \frac{x^2}{a_2}\right),$$

где $\log_e N = \frac{x+}{a}$. Доказательство будет дано в математической записке, которую автор намерен скоро сообщить Королевскому Обществу Эдинбурга.

Вопрос о линиях тока разрабатывался целым рядом лиц. Для случая, приводимого, Томсоном, см. Riecke (Gött. Nachr. 1888) и Hicks (Quart. Journ. Mat. 17, 1881, стр. 194). Очень ясно задача рассмотрена у Пуанкаре (глава III), который пользуется замечательными электрическими аналогиями. См. также трактат Lamb'a.

дыма обыкновенно остается позади. В совершенной жидкости выступающая поверхность части, увлекаемой вперед, необходимо была бы совершенно симметрична на передней и задней стороне средней плоскости кольца. Движение окружающей жидкости должно быть точно то же, как оно было бы, если бы пространство этой поверхности было занято гладким твердым телом. Но в действительности воздух внутри его находится в состоянии быстрого движения, обращаясь вокруг круглой оси кольца с возрастающей скоростью по окружностям все ближе и ближе к самому кольцу. Условия действительного движения могут быть представлены таким образом: пусть твердый столбик резины с круглым сечением и диаметром малым сравнительно с его длиной будет согнут в кружок, и два его конца скреплены так, что предоставленный самому себе, может удержать круглую форму. Отверстие кольца закроем бесконечно тонкой пластинкой и сообщим этой пластинке импульсивное давление с так распределенным напряжением, чтобы вызвать определенное движение жидкости ниже указанного характера и вслед затем пусть пластинка вся расплавится. Это движение должно происходить согласно одному из законов Гельмгольца—вдоль тех кривых, которые были бы силовыми линиями, если бы вместо резинового кружка было помещено кольцо электромагнита [1]): скорости в различных точках должны быть пропорциональны напряжениям магнитных сил в соответственных точках магнитного поля. Движение, как давно известно, будет удовлетворять этому определению и продолжаться в таком виде, если первоначаль-

[1]) Т.-е. круглый проводник с постоянным электрическим током. Основные аналогии следующие: если у нас имеется вихрь силы I (сила вихря или точнее циркуляция—это произведение двойной угловой скорости на площадь сечения: $2\omega . s$), то этот вихрь вызывает в точке на расстоянии r от элемента вихря dl скорость da, которая перпендикулярна к плоскости, образуемой r и dl и равна $\frac{I}{4\pi}\frac{\sin a . dl}{r^2}$, где a угол между r и dl. Эта формула дает известный закон Био-Савара, при чем a соответствует магнитному полю, а I электрическому току.

В электро-динамической системе Максвелла мы находим опять-таки поразительную аналогию. Если через I обозначить силу тока, а через H магнитное поле, то одно из уравнений Максвелла гласит (если считать ток смещения равным нулю):

$$4\pi I_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z},\quad 4\pi I_y = \frac{\partial H_z}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial z},\quad 4\pi I_z = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}$$

и кроме того $\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$, если в поле нет магнитных масс („источников и стоков"). Если в этих уравнениях заменить I и H через вектор угловой скорости (деленный на 2π) и скорость частиц жидкости, то мы получим знаменитые уравнения Гельмгольца для вихревого движения. В действительности, однако, явление электрического тока гораздо сложнее. Имеются основания полагать, что электромагнитное поле—это вторичное вихревое явление, при чем магнитные силовые линии это не просто линии тока, а вихревые линии, окружающие ток и передвигающиеся вместе с электроном, движение которого и образует явление тока. Это электромагнитное движение образует так называемый вектор энергии Пойнтинга. Прекрасное изложение явления у Д.-Д. Томсона („Электричество и материя").

ные скорости в каждой точке пластинки перпендикулярно ее собственной плоскости пропорциональны ее напряжениям магнитной силы в соответственных точках магнитного поля. Пусть теперь кольцо передвинется перпендикулярно своей плоскости в направлении движения жидкости через середину кольца со скоростью очень малой в сравнении со скоростью жидкости в центре кольца. Большая приблизительно шарообразная часть жидкости будет увлечена вперед с кольцом. Пусть скорость кольца увеличится; объем жидкости, увлекаемой вперед, уменьшится во всех диаметрах, но больше всего по направлению „вперед-назад" и таким образом его форма станет заметно сплющенной. При возрастании поступательной скорости кольца, эта сплющенность увеличится, пока вместо вполне выпуклой она станет вогнутой спереди и сзади вокруг обоих концов оси. Если скорость кольца будет увеличиваться до тех пор, пока она станет равна скорости жидкости через центр кольца, то осевое сечение очертания части жидкости, увлекаемой вперед, станет лемнискатой. Если кольцо будет увлекаться все скорее вперед, то часть ее, увлекаемая с резиновым кольцом, сама станет кольцеобразной и относительно кольца движение жидкости будет происходить в обратном направлении через центр. Во всех случаях фигура части жидкости, увлекаемой вперед, и линии движения будут симметричны, как относительно оси, так и обеих сторон экваториальной плоскости. Конечно, всякая форма описанного движения может быть произведена или описанным порядком, или первоначально путем сообщения скорости кольцу, а затем приведением жидкости в движение с помощью мгновенной пластинки или одновременным применением обоих первоначальных действий. Все количество требуемого импульса или, как мы можем назвать это, действительный момент движения или просто момент движения представляет сумму интегральных величин импульсов, сообщенных кольцу и пластинке, требуемых для произведения того или другого из двух составляющих целого движения. Теперь очевидно, что так как диаметр кольца очень мал в сравнении с диаметром круглой оси, то импульс, сообщенный кольцу, должен быть очень мал в сравнении с импульсом, сообщенным пластинке, если скорость кольца не на много больше скорости центральных частей пластинки. Отсюда, если только скорость, сообщенная кольцу, не так велика, чтобы довести объем жидкости, увлекаемой им вперед, до величины несравнимо большей объема самого твердого кольца, то моменты различных форм движения, рассмотренных нами, превзойдут на незаметные количества момент неподвижного кольца. Величина этого момента легко определяется соответственным применением формул Грина. Таким образом действительный момент в части жидкости, увлекаемой вперед (одинаковый с моментом твердого тела такой же плотности, движущегося с такою же скоростью) вместе с эквивалентом инерции жидкости, допускающей это движение, приблизительно одинаково во всех этих случаях и равен интегралу Грина, выражающему весь первоначаль-

ный импульс, сообщённый пластинке. Равенство действительного момента для различных скоростей кольца легко проверить без анализа для скоростей не столь больших, чтобы вызвать заметные уклонения от сферической формы в части жидкости, увлекаемой вперед. Таким образом во всяком случае длина оси части жидкости, увлекаемой вперед, определяется нахождением точки на оси кольца, в которой скорость равна скорости кольца. На больших расстояниях от плоскости кольца эта скорость изменяется подобно магнитной силе бесконечно малого магнита в точке его оси—обратно пропорционально кубу расстояния от центра. Поэтому куб радиуса приблизительно шарообразной части, увлекаемой вперед, находится в простом обратном отношении к скорости кольца, и потому момент ее постоянен для различных скоростей кольца. К нему надо прибавить, как доказал Пуассон, количество, равное половине его собственной величины, как эквивалент инерции внешней жидкости; и сумма составит весь действительный момент движения. Отсюда мы видим, что не только целый действительный момент не зависим от скорости кольца, но его величина та же, как магнитный момент в соответственном кольце электромагнита. Конечно, тот же результат получается с помощью интеграла Грина, указанного выше [1]).

Синтетический метод, только что объясненный, не ограничивается случаем простого круглого кольца, подробно описанного выше, но равно применим к нескольким кольцам какой-либо формы, отделенным друг от друга или сцепленным друг через друга каким-либо способом, или к простому шнурку, связанному в виде „многократной непрерывности“ и соединенному непрерывно, так что он не имеет конца. Во всяком возможном случае движение жидкости в каждой точке ядра вихря или жидкости, наполняющей все пространство вокруг него, в совершенстве определяется формулами Гельмгольца, когда дана форма ядра. Изложенное синтетическое исследование доказывает, что действительный момент движения всей жидкости совпадет по величине и направлению с магнитным моментом соответствующего электромагнита. Поэтому, продолжая рассматривать ради простоты только бесконечно тонкую линию ядра проектируем ее на каждую из трех плоскостей под прямыми углами друг к другу. Площади плоской цепи, полученные таким образом [рассчитывая их согласно правила Де-Моргана [1]) при взаимном пересечении (autotomic) как это вообще бывает], суть составляющие момента, перпендикулярные к этим трем плоскостям [2]). Проверка этого результата будет хорошим упражнением в „многократной непрерывности“. Автор еще недостаточно знаком с замечательными исследованиями Римана этой ветви аналитической геометрии, чтобы знать, все ли виды „многократной непрерывности“, указанные нами, включены в его классификацию и номенклатуру или нет.

Часть синтетического исследования, в которой тонкое, твердое проволочное кольцо предполагается движущимся в каком-либо направлении через жидкость со свободным вихревым движением, пред-

---

[1]) Метод „пластинки“, описанный Томсоном, является приложением общего метода т. н. „импульсивных сил“. Томсон ввел понятие „импульса“ в особом смысле (см. „On Vortex motion“, § 6), именно для обозначения системы импульсивных сил, которые действуя в данный момент, мгновенно могли бы довести данную систему о состоянии покоя до тех скоростей, которыми эта система в данный момент обладает. Общие выражения для импульсивных сил можно найти у W. Thomson'a, J. J. Thomson'a („On the motion of vortex Rings“); см. также у Lamb'a §§ 119 и 152. Согласно Томсона, слагающая по оси x—ов импульса $-x = \int\int (Nx - \varphi\cos\alpha)\, ds$, где N нормальная слагающая скорости, φ — потенциал скоростей, α угол наклона нормали площадки ds к оси x-ов. Томсон доказывает, что слагающая магнитного момента по отношению к оси, т.-е. $\int\int\int mx\,dv$, где m — магнитная плотность элемента объема dv равна $\frac{1}{4\pi}\int\int (Nx - \varphi\cos\alpha)\, ds$, где N — нормальная слагающая магнитной силы, — магнитный потенциал, α и ds имеют то же значение, что и раньше. Укажем еще на две замечательные аналогии. Для энергии системы вихрей мы имеем: $T = \frac{1}{4\pi}\sum I'.I''\int\int \frac{\cos\varepsilon}{r}\, le'.le'' = \frac{1}{2}\int\int\int (u^2+v^2+w^2)\, dx.dy.dz$, где $I = 2\omega.s$ (удвоенное произведение угловой скорости на сечение) dl' и dl'' — элементы длины вихревых нитей, а ε угол между ними; u, v, w слагающие скоростей. Если в этих формулах считать I силой тока, а u, v, w — слагающими магнитного поля, то мы получим выражения для энергии системы линейных проводников. Вывод формул см. у Lamb'a (§ 153) и в „Механике“ Кирхгофа (24-я лекция). Далее если через A_x, A_y, A_z обозначить слагающие т. н. электрокинетического потенциала

$$A = \int\int\int m\cdot\frac{u}{r}\, dv$$

где m — плотность электричества в объеме dv, и скорость движения (иначе $\frac{m.u}{c} = i$ плотность тока в элементе dv), то слагающие магнитного поля будут:

$$H_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z},\quad H_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x},\quad H_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$

Чтобы получить выражения для вихрей достаточно вместо плотностей тока поставить угловые скорости, деленные на 2π, а вместо силы поля H скорость частиц (u, v, w).

---

[1]) Правило Де-Моргана указывает, что следует считать площадью многосвязной кривой, которую Де-Морган называет autotomic. См. „Extension of the word area“ (Camb. and Dublin Math. Jour. May 1850 г., а также „Elements of Natural Philosophie“ Томсона и Тэта, p. I. 1873, где приведено это правило.

[2]) Под моментом здесь, как и выше, разумеются импульсивные силы, эквивалентные действительному моменту движения. Теория показывает (см. Lamb § 152), что слагающие импульсивной силы по координатам имеют значение

$$I\int\int l\, ds,\ I\int\int m\, ds,\ I\int\int n\, ds,$$

где J сила (циркуляция) одного бесконечного тонкого вихревого шнура, l, m, n направляющие конусы нормали к элементу ds поверхности вихря. Но произведение площади на косинус нормали равно соответствующей проекции площадки, следовательно слагающие импульсы (моменты) пропорциональны проекциям вихревой поверхности на координатные плоскости.

варительно вызванным в нем, требует, чтобы диаметр проволоки в каждой точке был бесконечно мал в сравнении с радиусом кривизны ее оси и с ближайшим расстоянием всякой другой части окружности от этой точки проволоки. Но когда найден действительный момент целого движения жидкости для вихря с бесконечно тонким ядром, мы можем предположить некоторое число таких вихрей, по возможности близко друг к другу, вызванными одновременно; и весь действительный момент по величине и направлению будет равнодействующим моментов различных составляющих вихрей, считаемых каждый отдельно. Отсюда мы имеем замечательное предложение, что действительный момент всякого возможного движения в бесконечной несжимаемой жидкости совпадает по направлению и величине с магнитным моментом соответствующего электромагнита в теории Гельмгольца. Автор надеется дать математические формулы, выражающие и доказывающие это утверждение в более подробной записке, которую он предполагает скоро представить Королевскому Обществу [1]).

Всякому, наблюдающему явления колец дыма или исследующему теорию, скоро представляется вопрос—какие условия определяют размеры кольца в каждом случае. Исследование Гельмгольца доказывает, что угловая скорость ядра вихря изменяется прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально его плоскости сечения. Поэтому сила электрического тока в электромагните, соответствующем бесконечно тонкому ядру вихря, остается постоянной, как бы сильно ни изменялась его длина в течение превращений, испытываемых им от движения жидкости. Отсюда очевидно, что чем больше диаметр кольца для того же объема и силы вихревых движений в обыкновенном кольце Гельмгольца, тем больше вся кинетическая энергия жидкости и тем больше момент. Таким образом мы видим, что размеры кольца Гельмгольца определены, когда даны объем и сила вихревого движения и, кроме того, или кинетическая энергия или момент движения всей жидкости. Поэтому, если после некоторого числа столкновений или воздействий кольцо Гельмгольца удаляется на большое расстояние от других и становится свободным или почти свободным от колебаний, то его диаметр должен увеличиться или уменьшится, смотря по тому, получило оно или отдало энергию другим. Полная теория увеличения вихревых атомов при повышении температуры может быть разработана по этому принципу [2]).

---

1) См. On Vortex Motion.

2) Закон Гельмгольца говорит только о сохранении силы вихря, т.-е. о произведении угловой скорости на площадь сечения, как величине неизменной; следовательно вихри могут обмениваться энергией, при чем изменяются или длина, сечение или скорость. В 1905 г. Томсон пришел к заключению (Proc. Roy. Soc. Edin. 25 кн.; стр. 556), что вихри подлежат закону рассеяния, т.-е. известное количество элементарных колец Гельмгольца, находящихся в конечном объеме, разлетается в бесконечное пространство, при чем полная кинетическая энергия системы, являясь величиной постоянной, равномерно распределяется повсюду в виде бесконечно малых скоростей.

План профессора Тэта для демонстрации колец дыма следующий: большой прямоугольный ящик, открытый с одной стороны, имеет круглое отверстие в шесть или восемь дюймов в диаметре, вырезанное на противоположной стороне. Простой грубый ящик для упаковки в два кубических фута или около того, вполне соответствует этой цели. Открытая сторона ящика закрыта толстым холстом или куском сукна или пластинкой резины, растянутой на ней. Удар по гибкой стороне вызывает круглое вихревое кольцо, вырывающееся из отверстия на другой стороне. Вызванные таким образом вихревые кольца видимы, если ящик наполнен дымом. Один из наиболее подходящих способов для этого представляют две реторты, вставленные горлышками в отверстия, сделанные для этой цели в одной из сторон ящика. Наибольшее количество соляной кислоты вводится в одну из этих реторт, а крепкий жидкий аммоний в другую. Поднося спиртовую лампу от времени до времени к одной или другой из этих реторт, легко получить густое облако аммониевой соли внутри ящика. Любопытный и занимательный опыт может быть сделан с двумя устроенными указанным способом ящиками, помещенными или плотно друг возле друга или обращенными один к другому так, чтобы выбрасывать кольца дыма, идущие навстречу с противоположных сторон—или в различных относительных положениях так, чтобы дать кольца дыма, идущие по путям, наклонным друг к другу под некоторым углом и проходящие друг возле друга на разных расстояниях. Интересная вариация опыта может быть сделана с чистым воздухом без дыма в одном из ящиков. Невидимые вихревые кольца, выбрасываемые из него, делают свое присутствие поразительно заметным, когда они подходят близко к одному из колец дыма, выходящих из другого ящика.

Вихревая теория материи, ее развитие и значение [1]).

З. Цейтлин.

1.

Предпосылки вихревой теории материи мы находим в учениях о пространстве древне-греческих философов — Анаксимандра, Гераклита, Парменида, Зенона и Аристотеля. Но основоположником этой теории необходимо считать—Рэнэ Декарта, который впервые вполне отчетливо и глубоко формулировал смысл и значение учения о вихревой природе материи. Принципы вихревой физики изложены Декартом в трактате „О мире" (Du monde) [2]), „Принципах философии", „Возражениях и ответах" (Objections et Réponses), „Переписке философ", но так как философия Декарта, по справедливому замечанию А. Рея - это его физика, то все основные труды Декарта являются фундаментом этой физики. К несчастью, сам философ и, само собою разумеется, его последователи так запутали „картезианскую философию", т. е физику, что она понимается обычно совершенно ложно.

Это ложное понимание принципов физики Декарта можно обозначить как псевдокартезианизм, или абсолютный рационализм. Сущность псевдокартезианизма в том, что он не принимает во внимание философских оснований картезианской физики, т.-е. метода Декарта [3]). Отсюда и произошла знаменитая борьба между относительно-формальной физикой Ньютона и крайним рационализмом псевдокартезианцев, при чем относительный формализм Ньютона превратился у его последователей в абсолютный, который и противопоставлялся абсолютному рационализму. Эта историческая борьба тянется до сих пор и очень плодотворна по своим результатам, так как она постепенно выявляет истинный метод науки. Этапы борьбы заключаются в постоянной смене эпох абсолютного рационализма и абсолютного формализма, согласно общеизвестному закону диалектического движения. Период от появления идей Декарта до 1740 года был периодом господства псевдокартезианизма.

Философы и физики стремились объяснить все физические явления при помощи однородной непрерывной материи (пространства, как физического тела), находящейся в непрерывном движении, подчиненном закону сохранения.

---

1) Резюмируя сей акт некоторые положения статьи З. Цейтлина дискуссионные.

2) Этот трактат представляет собою отрывки большого сочинения „Мир", которое Декарт предназначал к первоначальному опубликованию, но которое он отверг, услыхав о судьбе Галилея.

3) Об этом—в разделе 4-м.

Везде физика излагалась по картезианскому учебнику Rohault. Замечательно то, что в течение 30 лет после появления „Начал" Ньютона, эти „Начала" не сумели вытеснить книги Рого. Ревностный приверженец Ньютона Самуил Кларк выпустил в течение 13 лет (1697—1710 г.г.) три издания [1]) этого учебника, при чем издатель только в примечаниях решился изложить принципы Ньютона, не упоминая, однако, в первых двух изданиях его имени.

Проф. Playfair замечает, что физика Ньютона проникла в английские университеты под покровом картезианизма. Что касается континента, то картезианцами были Лейбниц, Гюйгенс, Вариньон, Бернулли, Эйлер, Кассини, Маральди, Меран и др. Араго справедливо замечает: „Смотря на такое собрание первоклассных ученых, Маклорен, думаю, должен был бы воздержаться и не называть гипотезу Декарта рапсодией". В самом деле, ньютонианцами в ту эпоху были Галилей, Котс, Уитстон, Грегори, слепой математик Саундерсон и нек. др. величины, несоизмеримые с указанным блестящим созвездием. Картезианцы стремились уравновесить „Начала" Ньютона выводом закона тяготения на основании гипотезы вихрей, т.-е. построить физическую модель явления тяготения, хотя субъективно они мыслили метафизически, полагая свои модели точной копией явления. Известно, что сам Ньютон дает в „Началах" основы движения жидкостей в связи с вихревой теорией и выводит заключение, что эта теория не способна объяснить явления мира планет. Но еще до появления „Начал", Клод Перро (Perrault) в „Опыте физики" (1680 г.) вносит видоизменения в теорию вихрей с целью согласования ее с законами Кеплера. Яков Бернулли разрабатывает тот же вопрос [2]). Пьер Вариньон [3]) в „Новом предположении относительно тяжести" критикует некоторые стороны вихревой гипотезы Декарта, пытаясь улучшить их. Проф. Розенбергер отмечает [4]) весьма характерное отношение академических кругов того времени к теории Ньютона. В „Истории королевской академии" (1700 г., стр. 78—100) имеется отчет о работе Вариньона. Из него явствует, что как Вариньон, так и другие члены академии вполне оценивали математическую сторону учения Ньютона, но старались придать теории рационалистический смысл. Лейбниц в „Acta Eroditorum" от 1689 г. (стр. 82) поместил знаменитую работу „Опыт о причине небесных движений" (Tentamen de motuum coelestium causis). Эта работа посвящена критике Ньютона и является началом серы между ним и Лейбницем. Лейбниц обвинил Ньютона в возрождении „скрытых качеств" перипатетиков. Лейбниц выражает также свое удивление тому, что столь знаменитый математик, как Декарт, никогда не пытался вывести законы Кеплера из своей теории вихрей. Лейбниц сам делает такую попытку, вводя понятие „гармонической циркуляции". Эта попытка не имела успеха, при чем Ньютон в анонимной заметке „Ex epistola cujusdam ad amicum" [5]) отверг циркуляции Лейбница.

Славный Гюйгенс, отец Ньютоновской физики, еще в 1661 г. произвел опыт, возбудивший громадное внимание ученого мира. Цилиндрический сосуд вращается вокруг оси. На дне, между двумя

---

1) Латинско-английский перевод появился в 1735 году: Rohault Jacques. System of Natural Philosophy illustrated with D-r Samuel Clarke's notes taken mostly from Sir Isaac Newton. Латинский экземпляр имеется в библиотеке Московского университета.

2) Jacobi Bernoulli. Dissertatio de gravitatio Aetheris, Amsterdam 1683.

3) Pierre Varignon, Nouvelle conjecture sur la pesanteur, 1690.

4) См. трактат Розенбергера о Ньютоне.

5) Здесь именно Ньютон обвинил Лейбница в плагиате исчисления бесконечно-малых.

натянутыми диаметрально линиями, находится шарик какого-либо материала. При вращении шарик удаляется к стенкам и остается все время там. При внезапной остановке, когда возникает вихрь жидкости—шарик двигается к центру. Для обхода затруднения, для случая земли (движение к центру, а не перпендикулярно оси) Гюйгенс выставил дополнительные гипотезы. В 1690 году вышел знаменитый трактат Гюйгенса о свете (traité de la lumière), построенный на гипотезе эфира, в котором имеется приложение: „Рассуждение о причине тяжести". Главная часть была прочитана еще в 1669 году перед Парижской Академией. В этой работе Гюйгенс развивает вихревую теорию тяжести и, кроме того, на основании различия длин секундного маятника в различных местах земли пытается определить ее форму.

Весь ученый мир Франции, с Академией Наук во главе, долго и упорно стоял на рациональной точке зрения.

Парижская Академия стремилась доказать, что картезианская гипотеза может также быть математически обработана, как и теория Ньютона. Большинство годичных премий было посвящено этому вопросу.

В 1728 году была предложена тема о физическом объяснении тяжести. Премию получил ученый Bilfinger (профессор в Петербурге-Ленинграде). Он изобразил тяжесть как результирующую центростремительных сил двух вихрей, имеющих общий центр в земле и пересекающихся перпендикулярно.

Тема 1730 г. состояла в объяснении эллиптической формы планетных путей и изменения положения больших осей. Премию получил Иоанн Бернулли [1]). Он дал картезианскую трактовку вопроса и сделал попытку опровергнуть возражения Ньютона против теории вихрей.

Темы 1732 и 1734 г.г. касались взаимного наклонения планетных орбит. Премию получили Иоанн Бернулли и его сын Даниель [2]), которые рассматривали тяжесть, как явление, обусловленное потоком материальных частиц к центру вихря.

В 1733 г. аббат Мольер (Privat de Molière) написал картезианские „Лекции по физике", в которых рассматривал „малые вихри". Его ученик де-Льонуа (La Corgne de Launoy) выпустил „Начала системы малых вихрей, или конспект физики аббата Мольера" [3]).

Эти „малые вихри" необходимо считать прямыми предшественниками „малых вихрей" Ранкина, Гельмгольца и Томсона. Яков Кассини написал в 1735—1736 г.г. две работы для доказательства достаточности картезианской гипотезы для объяснения планетных движений. В 1740 году была предложена тема о приливе и отливе. Премию получили: Д. Бернулли, Маклорен, Эйлер и Кавальери [4]). Био дает следующую характеристику представленных работ:

„Маклорен—чистый ньютонианец, Бернулли—ньютонианец, который извиняется в том, что он покинул лагерь Декарта; Эйлер—картезианец по смыслу и ньютонианец по вычислению; иезуит (Кавальери) чистый картезианец".

Здесь уже обнаруживается перелом в сторону физики Ньютона.

---

[1]) De causis physicis ellipticorum figurarum, Paris 1730.

[2]) De inclinatione mutua orbitarum planetarum, 1734 (Pièces de Prix de l'Académie de Paris, vol. V).

[3]) Principes du système de petits tourbillons ou abrégé de la physique de l'abbé Molière.

[4]) Не смешивать этого Cavallieri с учеником Галилея Bonaventura Cavalieri (1598—1647).

[5]) См. Precis de l'histoire de l'astronomie planétaire par J. B. Biot, стр. 22. См. также Rosenberger, Newton, 2 B., IV. T.

Еще в 1695 г. Лейбниц выпустил работу „Опыт динамики" [1]), в которой дано знаменитое различение „живой" и „мертвой" силы [2]). Убедившись в том, что картезианизм приводит к спинозизму и что „без понятия силы нельзя избежать атеизма", Лейбниц перешел на сторону Ньютона, хотя ни разу не упомянул в своей работе имени творца „Начал".

В 1714 г. в Acta Eroditorum появился благожелательный реферат о 2-м издании „Начал". Во Французской Академии старые академики Mairan, Reaumur, Cassini и др., с Fontenell'ем во главе, „с истинно римской твердостью" отстаивали учение Декарта. Старый 95-летний Фонтенелль даже в 1752 г. выпустил „Теорию картезианского вихря". Более молодые академики, Maupertuis и Clairaut начинали уже свыкаться с идеями Ньютона.

Клеро в 1743 году в знаменитом сочинении о „Фигуре земли" [3]) допустил в частицах притягательную силу, хотя в угоду картезианцам пытался развить различные гипотезы тяготения. Maupertuis в 1732 году представил мемуар на ту же тему [4]). В нем он делает следующее характерное заявление: „Я никоим образом не исследую, согласуется ли притяжение со здравой философией, или же противоречит ей. Я здесь рассматриваю его только как математик (géomètre), т.-е. как свойство, проявления которого (какова бы ни была их действительная сущность) можно исчислить, ибо мы полагаем это свойство равномерно присутствующим во всех частицам материй и действующее пропорционально ее количеству".

В „Истории королевской академии" (1732 г., стр. 112) появился отчет об этой работе Maupertuis. В ней указывается [5]): „Необходимы были гений и великий авторитет Ньютона, чтобы снова ввести в физику притяжение, откуда оно было изгнано Декартом и его последователями или лучше всеми философами и при всеобщем одобрении. Оно возвращается, однако, несколько переодетым, ибо, если угодно, это совсем не притяжение в собственном смысле слова, а скорее название, которое дано неизвестной причине; эта причина сравнивается и рассматривается, чтобы, по крайней мере, знать ее способ проявления, при чем ожидают, что однажды и сама ее природа сделается доступной познанию. С этой точки зрения и с такой мудрой предусмотрительностью вводят Ньютон и его ученики это притяжение".

Из этого отрывка ясно, что ученый мир уразумел, наконец, действительный смысл теории Ньютона; неверно лишь то, что будто бы ученики Ньютона обнаружили здравый смысл учителя—наоборот, они старались запугать посторонними соображениями ясную доктрину Ньютона. Позднейшие мыслители также не обнаружили благоразумия академических кругов 1732 года и еще до сих пор спорят об истинном смысле учения Ньютона. Победа этого учения ясно обозначилась к 1740 году, когда в „Phi. Transactions" (Jul. n° 457, p. 409) появилась статья P. Sigorgne'a „Физико-математическое доказательство невозможности и недостаточности вихрей". Автор доказывает невозможность того,

---

[1]) Specimen dynamicum pro admirandis natural legibus circa corporum vires et mutuas actiones detegendis et ad suas causas revocandis, Autore G. G. L. Acta Eroditorum. 1695.

[2]) Точная дата этого понятия силы относится к 1686 году, когда в Актах появилось „Brevis demonstratio Erroris memorabilis Cartesii", в котором Лейбниц утверждает, что „сила" пропорциональна не скорости, а ее квадрату. Отсюда возник длительный спор, которому положил Д'Аламбер, разъяснив, что „сила" Декарта—это временный интеграл силы (в ньютоновском смысле), а „сила" Лейбница—интеграл пути.

[3]) Clairaut, Figure de la terre tirée des lois de l'hydrostatique, Paris 1743.

[4]) Memoirs de l'Académie Royale 1732, p. 343.

[5]) См. Rosenberger, 2 B., IV T.: „Die endliche Sieg der Newton'schen Physik".

что впоследствии составило основную теорему вихревой теории Гельмгольца-Томсона: невозможность устойчивости существования вихря.

„С тех пор,—говорит Розенберг,—картезианизм был как будто вырван с корнем из почвы естественных наук; он сделался, как раньше слово схоластика, общим понятием всего плохого, существенным обозначением всего естественно-научно бесплодного, устрашающим примером фантастического философствования, пугалом, которым стращают больших и малых ребят науки".

Все это продолжалось до тех пор, пока движение самой науки не возродило картезианизм в еще большем блеске, чем раньше.

2.

Возрождение картезианской физики необходимо отнести к 1858 году, когда в журнале Crell'я появился мемуар Гельмгольца: „Об интегралах уравнений гидродинамики, соответствующих вихревым движениям".

Но и до этого момента рациональное течение в физике давало значительные результаты: вспомним только о работах Юнга (1773—1829), Френеля (1788—1827), Навье (1785—1836), Коши (1789—1857), Пуассона (1781—1870), Гамильтона (1805—1865), Стокса (1819-1903), Мак-Куллоха (1809—1847) по теории света на основе гипотезы эфира, об идеях Фарадея по теории электричества, которые Максвелл впоследствии облек лишь в математическую форму. Но эфир этих ученых не был картезианским эфиром—чистым протяжением, из движения частей которого и необходимо вывести все явления: этот эфир был упругим, твердым телом, с весьма странными свойствами, которые обычно являются именно главными аргументами против существования эфира.

Картезианский эфир еще не проник в область оптики и электромагнетизма, скрыто существуя в виде „идеальной жидкости гидродинамики". Законы движения этой жидкости, т.-е. „пространства-материи" Декарта были впервые формулированы Эйлером [1]) в так называемых уравнениях Эйлера:

$$X-\frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{du}{dt}+u\frac{du}{dx}+v\frac{du}{dy}+w\frac{du}{dz}$$
$$Y-\frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{dv}{dt}+u\frac{dv}{dx}+v\frac{dv}{dy}+w\frac{dv}{dz}$$
$$Z-\frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial z}=\frac{dw}{dt}+u\frac{dw}{dx}+v\frac{dw}{dy}+w\frac{dw}{dz}$$

где X, Y, Z — составляющие (прямоугольные) внешней силы (или результирующей всех таких сил), p — давление в идеальной жидкости, u, v, w — слагающие скорости частиц. Уравнения Эйлера изображают, что происходит в известной точке (x, y, z) пространства с течением времени, т.-е. определяют скорости, как функции x, y, z, t. Но Эйлер поставил вопрос иначе [2]): что происходит с течением времени с известной частицей, координаты которой в момент $t=0$, $x_0 y_0 z_0$.

[1]) L. Euler: Principes generales du mouvement des fluides. Hist. de l'Ac. de Berlin 1755.
[2]) De princ. motus fluidorum. N. Comm. Ac. Petrop. 14 (I), 358. 1759 года.

Лагранж в знаменитой „Аналитической механике" [1]) ответил на этот вопрос в изящной форме уравнений Лагранжа:

$$\left(\frac{du}{dt}-X\right)\frac{\partial x}{\partial x_0}+\left(\frac{dv}{dt}-Y\right)\frac{\partial y}{\partial y_0}+\left(\frac{dw}{dt}-Z\right)\frac{\partial z}{\partial z_0}+\frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x_0}=0$$

и т. д., где x, y, z, p — функции x_0 y_0 z_0, т.-е. начального положения частицы.

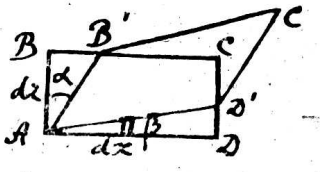
До Гельмгольца исследовалось движение жидкости, в котором слагающие скорости имеют потенциал, иначе являются производными некоторой функции φ: $u=-\frac{\partial\varphi}{\partial x}$, $v=-\frac{\partial\varphi}{\partial y}$, $w=-\frac{\partial\varphi}{\partial z}$. Это движение Лагранж [2]) назвал движением с потенциалом скоростей, указав, что этот потенциал существует в случае действия сил, имеющих потенциал (напр., силы тяжести). Так как силы трения зависят от скорости, иначе говоря, не имеют потенциала [3]), а идеальная жидкость определяется, как жидкость без трения, то движение этой жидкости рассматривалось как движение с потенциалом скоростей, при чем под действующей силой подразумевалась сила тяжести. Согласно указания Гельмгольца в основном мемуаре (стр. 6 русского перевода), Эйлер впервые обратил внимание [4]) на движения жидкости, при которых не имеет места потенциал скоростей, например, вращение жидкости около оси, при одинаковой угловой скорости всех частиц. „К силам, способным вызвать такого рода движения, принадлежат силы магнитные, действующие на жидкость по которой проб гает электрический ток, и в особенности трение частиц жидкости между собой и о твердые тела".

Очевидно, значит, что слагающие скоростей u, v, w, должны в таких случаях быть связанными каким-либо образом с угловыми скоростями частиц.

Действительно, еще в 1875 году Стокс показал [5]), что слагающие угловых скоростей частиц f, g, h выражаются следующими функциями от скоростей u, v, w [6]):

$$f=\frac{1}{2}\left(\frac{dw}{dy}-\frac{dv}{dz}\right),\ g=\frac{1}{2}\left(\frac{du}{dz}-\frac{dw}{dx}\right),\ h=\frac{1}{2}\left(\frac{dv}{dx}-\frac{du}{dy}\right)$$

[1]) Первое издание 1788.
[2]) Memoire sur la Theorie du Mouvement des Fluides; Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin, 1771; Oeuvres IV, p. 714; Mechanique Analitique, т. II, стр. 304, изд. 1815 г.
[3]) Напомним, что потенциал в обычном смысле—это функция, зависящая только от положения, но не от скоростей и ускорений.
[4]) Histoire de l'Ac. de Sciences de Berlin 1755, стр. 292.
[5]) On the theories of the Internal friction of fluids in motion. Camb. Phil. Trans. 1845.
[6]) Эти формулы легко получаются следующим образом. Пусть у нас имеется элементарный параллелепипед жидкости, и $ABCD$ (dx, dz) грань II плоскости xz:



грань эта через время dt займет положение $A'B'C'D'$; скорости u, w в точке A перейдут соответственно в точках B и D в скорости $u+\frac{du}{dz}dz$, $w+\frac{dw}{dz}dz$. Очевидно: $\frac{du}{dz}dz=\frac{du}{dz}dz.dt$ и $\frac{dw}{dx}dx=\frac{dw}{dx}dx.dt$. Средний поворот вокруг оси y будет $\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{du}{dz}-\frac{dw}{dx}\right)dt$. Аналогичные формулы получим для других осей. Разделив выражения средних поворотов на dt, получим указанные формулы угловых скоростей.

Если вращения нет, то $f = g = h = 0$ и

$$\frac{dw}{dx} - \frac{dv}{dz} = 0, \quad \frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx} = 0, \quad \frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy} = 0,$$

а это именно и есть условие существования потенциала скоростей [1]).

Кроме того тому же Стоксу принадлежит следующее общее математическое соотношение между интегралом вдоль некоторой линии C и интегралом по поверхности S, для которой эта линия является контуром: пусть u, v, w — слагающие некоторого вектора A_1, тогда:

$$\int_c \left(udx + vdy + wdz\right) = \int_c A_1 dl\ ^2) = \iint_s \left[l\left(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz}\right) + m\left(\frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx}\right) + \right.$$

$$\left. + n\left(\frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy}\right)\right] ds = 2\iint_s \left(lf + mg + nh\right) ds = 2\iint Bcos(B.N).ds\ ^3)$$

Если A_1 — это вектор скорости частицы, то $\int_c A_1 dl$, взятый вдоль некоторой линии, называется циркуляцией (понятие, введенное Томсоном) жидкости вдоль этой линии. Вектор (f, g, h) есть вектор угловой скорости или по Гельмгольцу вихрь. Таким образом теорема Стокса гласит: циркуляция жидкости вдоль линии равна удвоенному интегралу нормальных составляющих вихря по поверхности, для которой линия является контуром. Гельмгольц доказал следующие основные теоремы. Если действующие силы имеют потенциал, то 1) ни одна жидкая частица не может перейти во вращательное движение, если только она не обладала им уже с самого начала.

2) Жидкие частицы, расположенные для какого-либо момента времени на вихревой линии, всегда будут при своем перемещении принадлежать одной и той же вихревой линии.

3) Произведение поперечного сечения на скорость вращения для бесконечно тонкой вихревой нити (шнура) на всем ее протяжении постоянно и сохраняет свою величину при передвижении нити. Поэтому вихревые нити должны внутри жидкости замыкаться в себе; они могут оканчиваться не иначе, как на ее границах.

В математической форме теоремы Гельмгольца выражаются уравнением:

$$I\ (\text{циркуляция}) = \int_c (udx + vdy + wdz) = 2\int\int_s B\cos(B,N)\, dS = Const\ ^4).$$

---

1) Продифференцировав уравнения $u = -\frac{d\varphi}{dx}$ и т. д., получим условия существования потенциала.

2) $\int udx + vdy + wdz = \int\left(u\frac{dx}{dl} + v\frac{dy}{dl} + w\frac{dz}{dl}\right)dl$, а выражение в скобках нечто иное, как вектор A_1.

3) l, m, n — это так называемые направляющие косинусы нормали N к элементу поверхности dS, т.-е. косинусы углов между этой нормалью и осями координат; вектор (f, g, h) определяется равенствами $f = \frac{1}{2}\left(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz}\right)$ и т. д. Если вихревой вектор обозначить через B, то $f = B\cos\alpha$, $g = B\cos\beta$, $h = B\cos\gamma$, где α, β, γ — углы с осями координат. *Таким образом* $lf + mg + nh = B\ (l\cos\alpha + m\cos\beta + n\cos\gamma) = B\cos(B.N)$ так как из математики известно, что сумма произведений косинусов двух векторов по отношению к осям есть косинус угла между векторами.

4) В этой форме закон Гельмгольца формулирован Томсоном. Гельмгольц дал вывод, основанный на известной теореме Грина:

$$\int\int B\cos(B,N)\, dS = \int\int\int\left(\frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz}\right)dv$$

выражающей интеграл по поверхности S через интеграл по объему V, который ограничивает эту поверхность. Из ур-ний для f, g, h мы получаем: $\frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz} = 0$, следовательно, $\iint B\cos(B,N)\, ds = 0$. Применив это уравнение к отрезку бесконечно тонкой вихревой нити с сечениями S_1 и S_2, мы получим: $B_1S_1 - B_2S_2 = Const$. Полагая $Const = 0$, получим $B_1S_1 = B_2S_2$.

В примечаниях к переводу статьи Томсона мы отметили целый ряд лиц, которым принадлежат различные доказательства теоремы Гельмгольца. Диалектику очевидно, что если бы даже все мыслители древнего и нового мира единогласно „доказывали“, что некая частица вечно сохраняет свое вращательное движение, как это утверждает теорема Гельмгольца, то он мог бы спокойно считать эти доказательства лишь относительными метафизическими абстракциями. Но такого единодушия в отношении теоремы Гельмгольца не существует, что было уже указано нами в примечаниях; и причины этого совершенно ясны: прежде всего в реальных жидкостях возникают и уничтожаются вихри, а, во-вторых, некоторые мыслители (Hadamard, Schütz, Bjerkness, Silberstein) показали, что не при всяких условиях выполняется теорема Гельмгольца [1]). Особенно интересны явления удара, т.-е. относительной прерывности, на которые указывает Hadamard и сам Гельмгольц (работа: „О прерывном движении жидкостей“); нам кажется, что именно в таких „относительно прерывных“ (скачках) действиях и лежит ключ к пониманию многих явлений природы, что хорошо подтверждается теорией квант. Как бы там ни было, но с точки зрения диалектики очевидно, что вихревая теория, как и всякие другие, подлежит закону развития. Пройдет известный период времени, и научная мысль даст новое усовершенствование учения, которое будет иметь тот же (если не больший) коэффициент, что и теперешняя теория в отношении к теории эпохи Декарта [2]).

3.

Вихревую теорию материи разрабатывает целый ряд крупнейших ученых, из которых на первое место необходимо поставить Вильяма Томсона-Кельвина и Дж.-Дж. Томсона. Вслед за статьей о вихревых атомах В. Томсон опубликовал большую работу о „Вихревом движении“ [3]). „Математическая задача этой работы—иллюстрировать гипотезу о том, что пространство непрерывно заполнено несжимаемой без трения жидкостью, на которую не действуют никакие внешние силы и что материальные явления всякого рода зависят исключительно от движения в этой жидкости“ (стр. 13, IV тома соч. Томсона). Здесь, между прочим, Томсоном введено понятие циркуляции и дано новое доказательство теорем Гельмгольца. В 1875 г. появилась работа

---

1) Общие возражения против основ вихревой теории были выдвинуты Bertrand'ом, Neltmann'ом и др. Эти возражения в общем были устранены, но относительное их значение сохраняется. Обращаем внимание читателя на то, что теорема Гельмгольца верна лишь в случае сил, имеющих обычный потенциал. Между тем помимо явления трения—вся электродинамика—это область, в которой обнаруживаются силы, не имеющие статического потенциала. Вот почему в этой области мы встречаем постоянное возникновение и уничтожение электромагнитных вихревых линий. Сам процесс получения электрического поля посредством „трения“ (стекла об мех) и растяжения силовых линий весьма знаменателен.

2) Теорию циклических (моно и полициклических) движений в непрерывной среде разрабатывал Гельмгольц, попытку построить систематическую картезианскую механику сделал Г. Герц. Как указывает Гельмгольц в предисловии к „Механике“ Герца, эта механика, которая при своем появлении оказала незначительное влияние на научную мысль, будет иметь еще большее значение. Попытку построить механику „прерывностей“ сделал P. Appel, см. статью A. Voss'a в Мат. Энциклопедии, т. IV.

3) Trans. R. S. Edin. 25, 1869. Соч., т. IV.

„Статика вихря“ (Vortex statics) [1]), в которой дан анализ устойчивости вихревого шнура. Большое значение имеет статья „Колебания цилиндрического вихря“ [2]). Некоторые результаты этой работы мы пояснили в примечаниях к статье о вихревых атомах. Анализ задачи о максимуме и минимуме энергии вихревого движения дан Томсоном в статье того же названия [3]). Особенно важен мемуар „Распространение „слоистого“ (laminar) движения в бурлящей невязкой жидкости“ [4]), в котором Томсон доказывает, что распространение плоской волны в вихревой губке совершается согласно тому же уравнению, что и световые колебания в эфире, рассматриваемом как упругое твердое тело. Другие работы Томсона [5]), которых мы перечислять не будем, касаются форм вихревых шнуров, их взаимодействия, электромагнитных аналогий; им же разрабатывалась теория гиростатов, даны модели: гиростатического компаса, силы упругости, колебаний и волн в цепи гиростатов. Томсон возродил известную теорию тяготения Лесажа на основании свойства упругости вихревого атома. Дж.-Дж. Томсон опубликовал фундаментальный трактат по теории вихрей: „On the motion of vortex rings“ (London 1883). В примечаниях в статье В Томсона-Кельвина мы привели некоторые результаты этой работы. Общая задача работы Дж.-Дж. Томсона—исследовать, насколько вихревая гипотеза пригодна для построения абсолютной кинетической теории материи. С этой целью Томсон подверг анализу различные формы вихрей, их взаимодействие и колебательные движения. В частности, Томсон доказал устойчивость вихревого кольца в отношении сохранения формы оси, исследовал взаимодействие материального шара и кольца. В связи с теорией вихрей Дж. Томсон предпринял в 1888 г. попытку построить адинамическую механику. Эта попытка изложена в работе „О некоторых приложениях динамических принципов к физическим явлениям“ [6]). Здесь мы встречаем обобщенный закон

---

1) Proc. R. S. E. 1875—76; Phil. Mag. Aug. 1880. Соч., т. IV, стр. 115.

2) Pr. R. S. E. March. 1880; Phil. Mag. X, 1880; т. IV, стр. 152.

3) Nature, Octobre 1880; т. IV, стр. 172.

4) Phil. Mag. V. 24, соч., т. IV. Под „слоистым движением“ (laminar motion) здесь разумеется движение, согласно уравнениям $u = 2xy$, $v = 0$, $w = 0$ и, следовательно, $f = 0$, $g = 0$, $h = -\mu$. „бурлящая невязкая жидкость“—это вихревая губка (vortex sponge). Как видно из этих уравнений „слоистое движение заключается в том, что жидкость разделяется на слои, причем скорость каждого слоя зависит от его расстояния до оси x-ов ($u = 2xy$); кроме движения вдоль этой оси частицы имеют вращение $h = -\mu$, т.-е вокруг мгновенных осей параллельных z (вихри). Томсон доказывает, что если мы имеем вихревую губку, заключенную между двумя плоскостями параллельными, плоскостя x y и в некотором месте возникнет слоистое движение, обозначаемое им через $f(y, 0, 0)$ для момента $t = 0$, то уравнение распространения слоистого движения будет: $\frac{d^2f}{dt^2} = \frac{2}{g} R^2 \frac{d^2f}{dy^2}$, где R—„средняя скорость“ бурлящей жидкости (особо определяемая величина). Это уравнение, как известно, изображает распространение световых электромагнитных волн и вообще колебаний в упругом твердом теле. Здесь с полной очевидностью обнаруживается замечательная аналогия с распространением плоско поляризованной электромагнитной волны. Мы уже указывали, что вектор u аналогичен электрическому току, а вектор h — магнитной силовой линии; следовательно, можно было бы a priori утверждать аналогию между волновыми процессами в вихревой среде и процессами в электромагнитном поле. Теория подтверждает это заключение. Обратим еще внимание на открытый Томсоном так называемый „skin effect“ (поверхностный эффект, эффект Кельвина): при переменных токах большой частоты токи эти образуют „слоистое движение“, т.-е. располагаются главным образом на поверхности проводника—сила тока уменьшается по направлению к центру. Это явление известно всем электротехникам и для таких случаев проводники изготовляются полыми.

5) См. т. IV и сочинения Томсона по электричеству и магнетизму.

6) On some applications of dynamical principles to physical phenomena. London 1888. См. также Phil. Trans. 176. 1885, стр. 307.

инерции, который Г. Герц положил в основу своей картезианской „Механики“ [1]).

Цель Томсона, как и Г. Герца—свести понятие потенциальной энергии к понятию кинетической и всякую „силу“ рассматривать как ускорение, т.-е. приращение количества движения в единицу времени.

Томсон вводит понятие кинестетических координат (Томсон-Тэт называют их „ignored“, а Гельмгольц-Герц „verborgene“), с целью обозначения тех движений, которые дают в итоге т. н. „потенциальную энергию“. массы и движения, образующие механизм „потенциальных“ сил Гельмгольц-Герц назвали „скрытыми массами“ и „скрытыми движениями“—согласно вихревой гипотезе такими массами и движениями являются массы и движения вихрей и окружающей „идеальной жидкости“ (пространства).

Ограниченность места не позволяет нам дать обзор работ других выдающихся ученых по теории вихрей. Полный обзор читатель найдет у Winkelmann'a, Lamb'a и в статье A. Love'a [2]). В частности, Winkelmann дает ценные сведения, касающиеся опытного получения и наблюдения вихрей: Оказывается, что не только теория солидно обоснована, но что выводы теории касательно основных свойств вихрей подтверждаются в существенном на опыте. Но мы хотим обратить внимание читателя на другое, еще более замечательное обстоятельство,—на то именно, что важнейшая и обширнейшая область науки о природе—область электромагнетизма и оптики прямо толкает к вихревой теории материи. Этот замечательный факт очень рельефно обнаруживается в простом обзоре развития теории Максвелла. Эту теорию изображают обычно, как „непонятную“, как скрижали завета, свалившиеся с неба. Но если обратиться к календарным датам, то получается иная картина. В 1855 году Максвелл опубликовал известный мемуар о „Фарадеевых силовых линиях“, в котором ему еще не удалось построить желательную модель электро-динамических сил. В 1856 г. В. Томсон пришел к заключению, что магнитные силы имеют вихревой характер [3]). В 1858 г. Гельмгольц опубликовал знаменитый трактат о вихревом движении, а в 1861—1862 г.г. появилась, наконец, известная модель электромагнитного поля Максвелла [4]), в которой ток рассматривается как поступательное движение, а магнетизм, как вихревое. В 1864 году появилась „Динамическая теория электромагнитного поля“, в которой Максвелл подробнее развивает взгляды, изложенные в предыдущих мемуарах. Наконец, в 1871 году появился знаменитый трактат „Электричество и магнетизм“. Одна из самых замечательных глав (21 глава II тома), связанная с электромагнитной теорией света, посвящена выяснению действия магнитов на свет. Максвелл ссылается на работу Томсона (1856), Ранкина (1849—50) и, наконец, Гельмгольца (1858). Математическое исследование вопроса (1872. Гипотеза молекулярных вихрей) базируется на работе Гельмгольца. Заметим здесь, что та теория Максвелла, которой мы пользуемся ныне, построена по методу Нью-

---

1) J. J. Thomson вводит этот закон для рассмотрения брахистохронического движения в n-мерной форме, которую Г. Герц наглядно изобразил как n-мерное пространство. Еще Jacobi в 1841 г. рассматривал динамические проблемы, как брахистохронические; Liouville (Sur les equations de la dynamique C. R. 1892) показал, что каждая динамическая проблема может быть сведена к проблеме геодезической линии. См. A. Voss. Enc. d. Mat. Wiss., т. IV. Это обстоятельство, с общей теорией относительности, в которой основную роль играет „геодезическая линия“.

2) Hydrodynamik. Enc. d. Mat. Wiss. IV, стр. 112.

3) Pr. R. S. 8, 1856. стр. 150.

4) Phil. Mag. XXI, 1861; XXIII, 1862. Scient. Papers, I, p. 451.

тона [1]). Убедившись, что проблема рационального истолкования электромагнитных явлений слишком сложна, Максвелл, подобно Ньютону, перешел к относительно формальной трактовке вопроса на основании механики Лагранжа. Но всякий, исследующий развитие учения Максвелла, ясно видит, что „физические модели" послужили именно путеводной нитью, которая вывела ученого из лабиринта природы.

Необходимо отметить, что модели Максвелла не носят чисто кинетического, т.-е. рационального, характера—эфир Максвелла напоминает еще обычное тело. Лишь В. Томсон впервые в 1880 году предложил адинамическую модель эфира, упомянутую уже „вихревую губку" [2]), т.-е. „идеальную жидкость", в которой равномерно распределены вихревые и невихревые области. В 1883, 1885 и 1889 годах появились работы Томсона по этому же вопросу [3]). В 1885 году Фицжеральд [4]) обсуждал проблему устойчивости „вихревой губки".

В этом же году Hicks дал анализ распространения волн в такой губке. Теория этого же явления была дана Томсоном—в 1887 году, что было нами отмечено уже выше. Другие модели подобного же рода были даны Гиксом в 1888 и 1895 годах, Фицжеральдом в 1899 году [5]). Все эти модели, как и другие, подвергаются суровой критике, при чем критики выбиваются из сил, чтобы доказать, что теория эфира не соответствует „действительности", и что, следовательно, эфир—это „математическая фикция" [6]). Последнее заключение было бы слишком глупым, если бы чаще всего оно не было просто злостным проявлением борьбы против „чудовищного божества материализма эфира". Но нет худа без добра. Критика представлений об эфире показала, во-первых, что эфир не является физическим телом в обычном смысле слова, и что, следовательно, не теория упругости должна объяснить свойства эфира, а, наоборот, теория упругости должна быть построена на основании понятия эфира, что и выполняется вихревой теорией; во-вторых, выяснила действительное значение физической теории и физических моделей.

4.

Развитие физики, в частности учение об электромагнетизме и свете, все больше и больше выясняет тот факт, что картезианское понимание эфира, как физического пространства, является правильным. Еще Ньютон в известных „Вопросах" оптики указал, что, хотя волновая теория света в обычном смысле слова объясняет многое, но свет все же не является обычным волновым движением, что это, как говорит Ньютон, некое „перипатетическое качество", несущееся с большой скоростью в пространстве. Теория квант подтвердила это гениальное предвидение Ньютона, показав необходимость какого-то особенного, неясного еще сейчас, представления об явлениях света и сущности „световых волн". Вихревая теория материи прямо намекает на то, чем является синтез волнообразной и атомной теории света. В самом деле, если электрическая и магнитные силовые линии—это вихревые образования, а свет—электромагнитное колебание, распространяющееся со скоростью C, то известная группа вихревых систем, распределенных определенно качественным и количественным образом в пространстве и движущихся со скоростью C, дополняет именно обычное представление о свете до того синтетического, к которому пришла наука [1]). Свет имеет атомное строение постольку, поскольку вихри образуют „атомы" в непрерывной среде, но свет—это непрерывное явление постольку, поскольку вихревой атом может существовать только в определенной материальной субстанции и является той или иной вихревой нитью. В замечательной книге Дж.-Дж. Томсона „Электричество и материя" наглядно показана непрерывная система электромагнитных (световых) колебаний: при ускоренном движении электрического заряда вихревые нити, образующие его электрическое поле, дают „электромагнитные волны". Но если эту картину дополнить представлением об „изолированной" вихревой системе, несущейся в пространстве со скоростью С, то мы и получим „атом света".

А. Эйнштейн в статье „О развитии воззрений на сущность и строение лучеиспускания" [2]) говорит: „Поскольку мне известно, еще не удалось создать математическую теорию излучения, которая одновременно удовлетворяла и волновому строению излучения и атомному". Замечание правильное, и, быть может, еще много времени пройдет, пока такая теория будет создана и мы получим, наконец, некоторое рациональное представление о явлениях света. Но путь к такому представлению, несомненно, идет через вихревую теорию материи. Эта теория является компасом, указывающим путь. Она указала путь Максвеллу, укажет путь будущим строителям рационального учения об электромагнитных волнах. В этом именно основное значение вихревой теории, а не в том, что она должна, будто бы, быть точной копией реальности. Если сравнить содержание статьи В. Томсона о вихревых атомах с теми заключениями о строении атома, к которым пришло современное знание, то может показаться, что вихревая теория потеряла всякое значение, что она „устарела". Но такое заключение совершенно не верно. Оно основывается на ложном, метафизическом понимании значения физической теории. Что необходимо сказать о человеке, который на основании того, что геометрический круг не соответствует реальному, стал бы отрицать значение геометрии. Между тем рациональная физика и является геометрией физического мира, подобно тому, как геометрия—это элементарная физика. Такое понимание значения геометрии и физики (рациональной) было выдвинуто Декартом. В этом сущность Декартовской теории „врожденных идей", учения, которое по справедливому замечанию Плеханова (предисловие к „Л. Фейербаху") не было понято современниками философа (псевдокартезианцами), в частности Локком, не понято и до сих пор. Декарт поставил тот же вопрос, что и Кант: как возможно синтетическое познание a priori, в частности матема-

---

1) См. нашу статью „Метод доказательства и пр." в № 6—7 „Под Знаменем Марксизма".

2) Brit. Assoc. Rep. 1880, p. 473.

3) On ostillations and waves in an adynamic gyrostatic system. P. Ed. R. S. 12. 1883; Steps towards a kinetik theory of matter. Brit. Ass. Rep. 1885. On a gyrostatic adynamic constitution for ether (1889). Соч., т. 3, стр. 366.

4) Proc. R. S. Lublin 1885.

5) Brit. Assoc. Rep. 1885.

6) См. Whittaker „A History of the theories of Aether and Electricity. 1910, стр. 310—336.

7) См. H. Witte: „Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach einer mechanischen Erklärung der electrischen Erscheinungen". Berlin. В этой книге читатель найдет подробные сведения о многочисленных других теориях эфира.

1) Нашу мысль можно пояснить наглядно так: вообразим, что вихревая группа имеет распределение подобно точкам синусоиды. Если синусоида передвигается в пространстве со скоростью С, то распределение, изображаемое синусоидой, будет последовательно проходить через всякую точку пространства, образуя „волновое движение", со скоростью С. В школьных приборах для демонстрации волн ряд шариков, висящих на нитках, приводится в волновое движение помощью металлической синусоиды—опыт, хорошо иллюстрирующий нашу идею.

2) Phys. Zs. 10, s. 817. 1909.

тика? Декарт ответил на этот вопрос своим сочинением „Космос", о котором мы упоминали в начале статьи. Ответ следующий: наш мир-продукт длительной эволюции. Следовательно, человек и его орган познания—мозг—образовались в течение громадного промежутка времени, выделившись из мировой материальной среды, согласно законам движения этой среды. Отсюда Декарт заключал, что мозг, порожденный мировой материей, должен адэкватно соответствовать этой материи. В этом именно основание „рационализма" Декарта, в этом именно значение его аксиомы „простых, ясных и отчетливых идей". Декарт полагал, что наши основные понятия пространства, движения, времени („простые, ясные, отчетливые идеи") не случайны, а являются продуктом „фундаментального опыта эволюции". Иначе говоря, основные формы, в которые облекается наше познание, имеют корни в самой природе, из которой выделился наш мозговой аппарат. Но Декарт, как и Кант (начавший, как известно, с „Всеобщей истории и теории неба") запутали свои учения под давлением теологических сил, в результате чего глубоко материалистические теории познания превратились в идеалистические, а „натуралистическое" учение о „врожденных идеях" в платоновско-мистическое [1]).

Отсюда ясно картезианское понимание значения геометрии и рациональной физики: они дают нам основные формы материальных процессов; геометрия и рациональная физика—это так сказать науки о „деталях" вселенской машины. Сама машина бесконечно сложна, но, как бы она ни была, сложна она состоит из простых деталей в самых разнообразных комбинациях, бесконечной даже сложности. В этом именно значение физических моделей, в частности вихревой теории. Нет необходимости, чтобы они были копиями действительности, и принципиально важно то, что они показывают возможность рационального объяснения явлений. Реальная материя обнаруживает силы тяготения, упругости, электромагнитные; если эти силы находят свое рациональное объяснение в физической модели, то этим сделано очень многое, хотя действительное явление может быть гораздо сложнее. Пуанкаре в своей характеристике „Физики принципов" (см. „Ценность науки") приводит пример машины, передаточный механизм которой скрыт, но в которой видны точки приложения двигательной силы и сопротивления. Этот передаточный механизм может состоять из громадного количества „сцепленных деталей", но каково бы ни было их количество „физическая модель" механизма дает основные детали сцепления, и в этом смысле вполне эквивалентна данному механизму. Так что правильно построенная физическая модель в известной мере соответствует реальности.

Заметим здесь, что основное условие рациональной модели, чтобы она не базировалась на том именно, что требуется объяснить. Вот почему модели Максвелла, Больцмана или Бьеркнесса [2]), например, не являются рациональными: таковой является вихревая теория материи—вот почему она и вызвала такой научный энтузиазм и внимание.

---

[1]) Декарт, сознавая, что он запутывает свое учение, неоднократно просил не смешивать его теории „врожденных идей" с теорией платоников (dialecticiens).

[2]) См. замечательную книгу: V. Bjerknes'a. Die Kraftfelder, 1909. Несмотря на то, что модели Бьеркнесса не рациональны, они заслуживают большего внимания на том основании, что помимо первичных вихревых явлений существуют вторичные в конкретной материи (по Ленару: первый и второй эфир). Впрочем, это замечание относится только к ственной модели Бьеркнесса, т. н. „теории пульсаций"; в конце книги (Глава II. § 75 лед.) Бьеркнесс переходит к понятиям „источников" и „стоков", к вихревым движениям.

В заключение укажем, что, относительно, формальное изучение явлений дает возможность построения модели, что, в свою очередь, толкает вперед формальное познание явлений.

Так, формальный закон тяготения Ньютона привел Римана к построению рациональной теории притяжения на основании гидродинамических понятий „источников" и „стоков". Эта теория Римана была использована Гербером, который с помощью учения Гельмгольца-Неймана о кинетическом потенциале, дополнил закон Ньютона и получил известную формулу движения перигелия Меркурия.

Точно также формальные законы электромагнетизма указывают на известный механизм сил, а вихревая теория помогает решать некоторые вопросы электрической теории материи (см. предисловие Пуанкаре к его „Теории вихрей").

Таким образом истинно научный метод заключается в сочетании рационального и формального моментов, при чем как тот, так и другой являются только относительными.

Принцип относительности Эйнштейна и диалектический материализм.

А. Тимирязев.

(Окончание).

В первой части нашей статьи [1]) мы рассмотрели основные положения специальной теории относительности Эйнштейна и выяснили, что второе положение, называемое принципом или постулатом постоянства скорости света, физически обосновано только тем, что у нас нет до сих пор опытов, которые могли бы его подтвердить или опровергнуть. Поэтому мы считали и считаем себя в праве говорить, что вся специальная теория Эйнштейна, пока мы еще не имеем окончательного подтверждения опыта Дейтон-Миллера, забронирована от опытной проверки или опровержения. Если опыт Дейтон-Миллера подтвердится, то, по мнению пишущего эти строки, всю специальную теорию придется отвергнуть.

Но попробуем стать на точку зрения доверчивого человека: раз опытная физика пока еще не подтверждает, но и не запрещает поступать согласно постулату постоянства скорости света, отчего же не согласиться и не принять предлагаемые Эйнштейном положения? Тогда для всякого ясно, что мы обязаны принять и вытекающие из них математические следствия, если, конечно, эти следствия выведены безупречно, а в этом, кажется, никто не сомневается, поскольку речь идет о специальном принципе. Как известно, мы в качестве следствия получаем т. н. преобразования Лоренца-Эйнштейна, позволяющие переходить от одной системы координат к любой другой системе, движущейся относительно данной равномерно и прямолинейно. Приводим эти хорошо теперь известные формулы преобразования:

$$\left.\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \end{aligned}\right\} (A) \qquad \left.\begin{aligned} x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} \end{aligned}\right\} (A')$$

[1]) „Под Знаменем Марксизма" № 8—9.

Здесь x, y, z и t означают координаты и время для первой системы, а x', y', z' и t' координаты и время для второй системы, движущейся по отношению к первой со скоростью v параллельно оси x. Как измеряются величины x, y, z, x', y', z', t, и t'? У каждого наблюдателя и в той и в другой системе имеются масштабы и часы; x, y, z представляют собой результаты измерений покоющимся масштабом, покоющимся по отношению к первой системе координат k, точно также как x', y', z' измерены наблюдателем неподвижным относительно второй системы k'. t и t' представляют показания часов в той и другой системе. Часы, находящиеся как в первой, так и во второй системе, сверяются с помощью световых сигналов в предположении, что скорость света по всем направлениям и во всех системах одинакова (второе основное положение специальной теории Эйнштейна). Это, по Эйнштейну, есть единственно физически приемлемое определение времени и пространственных отношений. Нельзя спрашивать, какая из систем x, y, z, t или x', y', z', t' дает верные результаты, какая из них дает истинное время. По Эйнштейну каждой системе соответствует свое время и свои пространственные отношения. Эта точка зрения Эйнштейна всего яснее выражена им в его популярной книге на стр. 6—7. Там речь идет о том, как пассажир, стоящий у окна равномерно идущего поезда, роняет камень на полотно, не давая ему боковых толчков. Если пассажир будет следить за падением камня, то ему будет казаться, что камень падает по вертикальной прямой. Для стоящих же на полотне траектория камня будет парабола. „На этом примере ясно видно,—говорит Эйнштейн,—что не существует траектории „в себе" (an sich) (а стало быть, и движения an sich по этой траектории, добавим мы от себя. *А. Т.*), но только траектория по отношению к определенному телу отсчета". Рассмотрим далее одно из следствий формул Лоренца-Эйнштейна. Пусть наблюдатель в системе k' приложил начало своего масштаба, длину которого он считает равной единице, к точке $x'=0$, тогда конец его масштаба попадает в точку $x'=1$. Какова же будет длина его масштаба с точки зрения наблюдателя в системе k? Наблюдатель k должен в своей системе положить линейку и подождать такого момента по своим часам, когда начало его линейки в системе k совпадет с началом проносящейся мимо линейки k', в этот же момент (по часам в системе k) надо отметить, против какого деления линейки k придется конец линейки k'. По первой из формул (A), полагая, что измерение происходит в момент $t=0$ по часам k мы имеем:

$$0 = \frac{x_0 \text{ (начало линейки } k' \text{ по отношению к системе } k)}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}},$$

т.-е.

$$x_0 = 0$$

$$1 = \frac{x_1 \text{ (конец линейки } k' \text{ с точки зрения системы } k)}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}},$$

т.-е.

$$x_1 = \sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

Таким образом для наблюдателя k линейка у k' благодаря его движению со скоростью v по отношению к k стала короче 1, так как

$$\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

меньше единицы. Но возьмем теперь линейку, равную единице в системе k, и посмотрим на нее с точки зрения наблюдателя k', дождемся, когда начало координат k' совпадет с началом координат k, где лежит начало линейки наблюдателя k; тогда конец линейки k в момент $t'=0$ будет находиться против деления x' линейки k', определяемой из 1-го уравнения группы A':

$$x' = \sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2},$$

т.-е с точки зрения наблюдателя k' масштаб у k короче, а с точки зрения наблюдателя k, как мы только что видели, масштаб у k' короче 1. Таким образом, эти два масштаба отличаются тем, что первый короче второго с точки зрения второго наблюдателя и одновременно второй короче первого с точки зрения первого наблюдателя. То же самое происходит и с часами. Если в системе k' часы отбили секунду, то с точки зрения наблюдателя в системе k по его часам протекло больше времени. В движущейся по отношению к нам системе часы идут медленнее, но с точки зрения наблюдателя, движущегося вместе с этой системой, наоборот, наши часы идут медленнее. Можно ли все это проверить? При современном состоянии нашей техники мы должны сказать решительно—нет. При самых больших скоростях, осуществляемых на нашей планете

$$\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

ничтожно мало отличается от единицы, поэтому мы и здесь вполне надежно „застрахованы от проверки". Но, как бы то ни было, раз основные положения приняты,—а мы временно условились принять их,—от выводов отказываться не приходится. Эйнштейн, приведя только что изложенные нами следствия определенно говорит: „Это все соответствует смыслу принципа относительности, который лежит в основе наших рассуждений". Действительно, если наблюдатель k видит, что все масштабы у k' сократились, и его часы пошли медленнее, а в то же время наблюдатель k' не видел бы того же самого у наблюдателя k, тогда бы, ведь, системы k и k' не были бы равноправны, какая-либо из них оказалась привилегированной, и можно было бы узнать, кто „на самом деле" двигается: k или k'. Но, ведь, это-то именно и отрицается основными положениями Эйнштейна. Словом, если бы эти удивительные следствия не получались, теория относительности заключала бы в себе внутреннее противоречие.

Несмотря на свою пламенную любовь к Эйнштейну, тов. Семковский не может, однако, примириться с этими выводами. Он указывает на различие между теорией Лоренца и теорией Эйнштейна. У Лоренца, который принимает существование эфира (тов. Семковский, с легкой руки философов, неизменно повторяет, что у Лоренца эфир абсолютно неподвижен; но об этом у нас была уже речь), сокращение получается реальное: тела, движущиеся по отношению к эфиру, сокращаются. Но для движущегося по отношению к эфиру наблюдателя—тела, покоящиеся по отношению к эфиру, не сокращаются,—в этом, конечно, т. Семковский прав. Но дальше он определенно высказывает сомнение в том, реально ли сокращение в теории Эйнштейна: „Но у Эйнштейна, где сокращение носит двусторонний характер, речь о чевидно (!! А. Т.) должна итти не о реальном сокращении, а о каком-то ином (!!! А. Т.), ибо немыслимо, чтобы A реально сокращалось в отношении B, и в то же самое время B реально сократилось в отношении A, или, чтобы часы A реально замедлились в отношении к часам B, в то же самое время, как часы B реально замедлились в отношении к часам A". Почему немыслимо? Это противоречит здравому смыслу—не так ли? Коварная, в самом деле, штука этот здравый смысл. На стр. 13 тов. Семковский совершенно недвусмысленно говорит: „При суждении о теории относительности многие попросту апеллируют к так называемому „здравому смыслу", который, конечно, является весьма почтенным спутником в житейских делах, но, когда речь идет о революции в науке, легко заводит в болото косности установившихся взглядов и представлений". Но это надо было т. Семковскому только для того, чтобы посрамить и унизить противников Эйнштейна, но известно: „над чем посмеешься, над тем и поплачешь". Не будем, однако, отвлекаться и посмотрим, что тов. Семковский сам пишет, желая доказать, что эйнштейновское сокращение и растяжение пространства и времени не могут быть реальными, так как это противоречит здравому смыслу. „Представьте себе,—говорит он,—что я движусь равномерно, прямолинейно по отношению к вам, и, стало быть, вы по отношению ко мне, со скоростью, приближающейся к скорости света. С точки зрения теории относительности вы в праве заявить мне: я неподвижен, а вы движетесь со скоростью, приближающейся к скорости света,—изволите поэтому по формуле Лоренца сплющиться в лепешку. Но я, с своей стороны, могу с полным правом предъявить вам встречный иск, заявив: нет, неподвижен я, а движетесь вы по отношению ко мне,—извольте вы сплющиться в лепешку. Кто же из нас должен сплющиться по отношению к другому, и у кого часы должны замедлиться по отношению к часам другого? Выхода тут нет, поскольку речь идет в пределах специального принципа относительности, о двух вполне равноценных, так сказать, симметрических системах, из которых каждая с равным правом может считать именно себя неподвижной. Выхода нет, если иметь здесь (мы говорим о специальном принципе относительности) в виду реальное сокращение и реальное замедление времени". Это ли не апелляция к здравому смыслу? Зачем же вы, т. Семковский, над бедным здравым смыслом так глумились? Как материалист, я вполне с вами согласен с тем, что „выхода нет", и потому именно я и не согласен с теорией Эйнштейна, но как можно приводить подобные аргументы и уверять всех, что вы сторонник теории относительности,—этого я понять не могу, да и едва ли кто вообще на свете это сможет понять. Ведь все эти сокращения измерены масштабами и часами—это по Эйнштейну единственный способ определять время и пространственные соотношения, и вот этот единственный способ измерять пространство и время, оказывается, дает нам не истину с тем или другим приближением, т.-е. то, что есть „на самом деле", а что-то нереальное! Для более наглядного объяснения т. Семковский приводит совсем неудачный пример человека, удаляющегося от нас: мы для него и он для нас становится меньше, но, ведь, сокращение по Эйнштейну ничего общего с перспективой не имеет: системы k и k' могут в момент, когда наблюдатели пролетают друг мимо друга, находиться буквально в двух шагах друг от друга. Но пусть пример и неудачен, это не так важно, важно замечание т. Семковского по этому поводу, разрушающее всю специальную теорию Эйнштейна или... устанавливающее знак равенства между нашей наукой и философией Канта.

Вот эти поистине знаменательные слова:

„В действительности, конечно, ни я an sich, сам в себе, не

сократился, ни вы an sich, сами в себе, не сократились; но я сократился для вас, а вы сократились для меня. И оба мы сократились лишь перспективно друг для друга, но не реально в себе (! *А. Т.*)". Что же это значит? Это значит одно из двух. Или определение времени и метод измерения пространства у Эйнштейна никуда не годятся: они дают нам „кажущиеся" величины или, по выражению т-ва. Семковского, „перспективные"; тогда, значит,—если мы остаемся материалистами и считаем, что мы мир познавать можем как следует, а не „перспективно", то, значит, существует „настоящее время и настоящее пространство", пространство и время в себе (an sich), которые мы так или иначе научимся, а может быть и научились уже, измерять не „перспективно". Тогда все хитросплетения Эйнштейна разлетаются в пух и прах, и мы возвращаемся к пространству и времени „an sich", к взглядам Ньютона. Но можно найти и другой выход. Эйнштейн доказал нам, что наши измерения не реальны и время, определяемое нашими часами, тоже „перспективное". Время же и пространство „an sich" принципиально нам недоступно, реальные масштабы и часы нам неизвестны и принципиально непознаваемы. Но, ведь, тогда эти масштабы и часы—„непознаваемая" вещь в себе, которая, как по крайней мере я слыхал, не укладывается в теорию познания диалектического материализма! Конечно, это не учение Канта о формах нашего созерцания, потому что у Эйнштейна это показания часов и масштабов, но зато часы эти и масштабы и все вообще вещи, как нечто реальное „an sich", нам принципиально недоступны,—все это непознаваемые вещи в себе, а это уже философия Канта!

Дальнейшие рассуждения т. Семковского показывают, однако, что первый выход ему больше нравится. Вот что он пишет: „Зараженный философским идеализмом и скептицизмом релятивист возразит, без сомнения: но позвольте, где же разница между реальным и перспективным? Ведь, если я вижу этот стол в перспективе, то это тоже реальность. И почему я должен из бесконечного ряда наблюдаемых и возможных перспективных величин выделить одну, как „реальную"?

На это надо ответить, что разницу между реальным и перспективным сокращением может непосредственно постичь даже самый отчаянный скептик. Если такого скептика положить, например, под паровой молот, который его сплющит в лепешку, то он без лишних слов моментально поймет, что речь идет именно о „реальном сокращении". Приветствую ваш здоровый материализм, т. Семковский, и вполне с вами согласен. Но что означает приведенная мною сейчас ваша мысль? Вот что она значит: хитросплетения Эйнштейна насчет различных координатных осей и часов—это одно дело, а тот реальный действительный мир, который изучают не только физики и химики, но и кузнецы и молотобойцы,—совсем другое дело. Пусть там, на бумаге, испещренной формулами, выходит, что кто-то где-то сокращается, или у кого-то часы пошли медленнее: все это мне только кажется, благодаря какой-то перспективе. А, ведь, должен же быть способ узнать, как на самом деле кто-нибудь или что-нибудь сократился, или какие часы отстают и какие нет. Пусть существует великолепный принцип Эйнштейна, но существует же и настоящая наука.

Я всегда говорил приблизительно то же самое, но в несколько иных выражениях: я говорил и даже очень подробно в настоящей статье, что принцип постоянства скорости света не доказан, что вытекающие отсюда сокращения длин и измерения хода часов никем, нигде и никогда не наблюдались. При обычных наших земных скоростях все эти изменения лежат далеко за пределами доступного нашей современной экспериментальной технике, а при больших скоростях, когда эти явления становятся ощутимыми, условия наблюдения невозможны, если даже мы и могли бы осуществить такие скорости. Попробуйте-ка убедиться—мой ли метр короче или короче тот метр, который в руках у пассажира пролетающего мимо меня со скоростью 200.000 километров в секунду? Отсюда единственный вывод: теория очень искусно забронирована от опыта и, следовательно, от единственного критерия марксистской теории познания критерия практики. Теперь еще два слова о здравом смысле.

Я чувствую, что должен решительно защитить эйнштейнову теорию от т. Семковского. Ведь если принять постулаты Эйнштейна, то эти взаимные сокращения мы обязаны принять, нравятся они нам

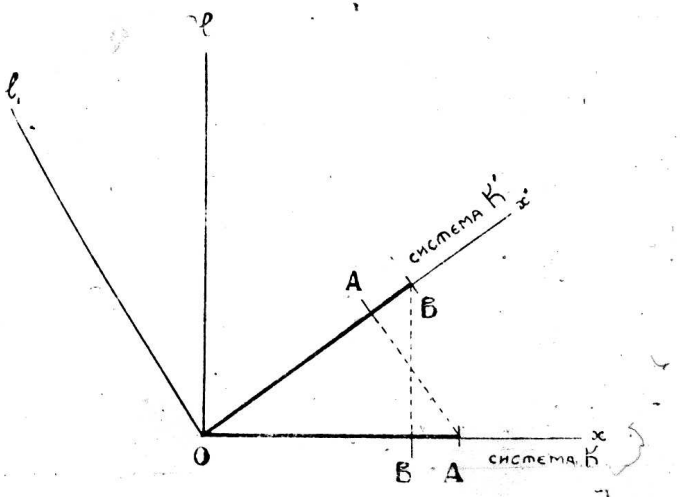


Рис. 1.

или нет, и подымать шум, как это делает т. Семковский, совсем излишне: „снявши голову по волосам не плачут". Так ли абсурдно утверждение, что метр системы K длиннее метра системы K' и одновременно метр системы K' длиннее метра системы K. Посмотрим на рис. 1[1]). Всякий, знакомый с теорией Эйнштейна-Минковского, знает, что время рассматривается как четвертая координата (хотя и мнимая, но это обстоятельство революционеров в науке смущать не должно!). У нас на чертеже изображена система K с осями x и l, x соответствует пространству, l времени (в этой системе K, конечно). Переход к осям координат и времени системы K', движущейся относительно K равномерно и прямолинейно, геометрически равносильно повороту вокруг начала координат, как это и изображено на рис. 1. Теперь пусть наблюдатель в системе K' наблюдает метр OA системы K, наблюдатель K' „разлагает OA' по своим координатам". Длина этого метра для него будет OA и в то же самое время метр OB' системы K', с точки зрения системы K, будет OB—что, как это следует из чертежа, несомненно, меньше OA. Здесь опять не доказано физически, что мы так легко можем разлагать отрезок OB

[1]) Вместо A и B система K' надо читать A' и B'.

выражающий в системе K длину метра, в длину меньшую метра OA' наблюдателя K' и промежуток времени AA'. Мысль Эйнштейна, что мы беспрепятственно можем перепутывать между собой пространство и время физически не доказана, но математически она, конечно, вытекает из посылок Эйнштейна, и тем удивительнее удивление т. Семковского и его рассуждения о длине и времени в себе, что он эту мысль Эйнштейна принимает безоговорочно. Вот его подлинные слова: „Я хочу дать наглядный пример, чтобы вы сразу почувствовали эту относительность. Вот передо мной часы, которые показывают три четверти девятого; назовем момент, когда стрелка показывает три четверти девятого — первым событием; через час стрелка будет показывать три четверти десятого — назовем это вторым событием. Я спрашиваю, какой промежуток лежит между первым и вторым событием? Вы ответите: один час во времени. А в пространстве? А в пространстве—ответите вы—никакого промежутка нет: часы как лежали на кафедре, так и лежат там же. И, однако, между первым и вторым событием лежит в действительности (курсив наш. *А. Т.*) расстояние приблизительно в 113.000 километров, потому что земля за это время вместе с этой залой и часами на кафедре продвинулась в пространстве (курсив наш. *А. Т.*) на 113.000 километров". Таким образом, самая мысль „отрезок" разложить на пространство и время (да еще мнимое) для т. Семковского вполне приемлема, но он опять незаметно для себя сбивается на не эйнштейновскую физику. „Расстояние приблизительно в 113.000 километров в действительности". Какой? Ведь у принципа относительности одна действительность одного наблюдателя, другая у другого. „Земля передвинулась в „пространстве", в каком „пространстве"? По поводу выражения „движение в пространстве" Эйнштейн в своем популярном изложении своей теории пишет следующее: „Далее, что означает здесь движение „в пространстве"?.. Прежде всего оставим в стороне темное слово „пространство", о котором мы—если мы будем честны—ничего решительно даже и думать не сумеем; вместо этого мы поставим „движение по отношению к практически твердому телу отсчета"... В том-то и дело, что раз мы становимся на точку зрения теории относительности, то пространства и времени, как таковых, или an sich, как говорит т. Семковский, нет. Есть пространство и время для каждого из нас. Эта мысль особенно ярко выражена у Эддингтона в I главе его изложения принципа относительности. (The Mathematical Theory of Relativity A. S. Eddington. Cambridge University. Press p. 8).

„Рамка пространства и времени есть поэтому что-то такое, что наблюдатель перекладывает во внешний мир" (The space-time frame is therefore something overlaid by the observer on the external world).

Раз пространство и время каждый наблюдатель вкладывает во внешний мир, то возражайте после этого философам идеалистам! Напрасны все уверения т. Семковского, что все философы-идеалисты ошибаются, когда они делают идеалистические выводы из теории Эйнштейна. Раз время и пространство для каждого наблюдателя свои, и он их вкладывает во внешний мир, так что уж тут говорить!»

Итак, можно и, по мнению пишущего эти строки, должно спорить с релятивистами о том, что все их умозрения лежат за пределами доступной нам опытной проверки. Мы не имеем никаких данных считать, что человек, сидящий в одной системе отсчета, какой-нибудь отрезок считает „пространством", а другой, сидящий в другой системе, тот же отрезок непонятным образом считает отчасти „пространством", а отчасти временем. Но если мы принимаем основные положения Эйнштейна, как это делает тов. Семковский, то математические следствия принимать необходимо: ссориться с элементарной математикой и геометрией по меньшей мере бесполезно.

Но почему все это не страшно для марксиста? Потому что все это один умозрения, физически не доказанные и „хорошо забронированные от опыта".

Посмотрим теперь, что думает по этому поводу т. Цейтлин („Под Знаменем Марксизма", № 5, стр. 137) „Затрону в заключение вопрос о времени. Легко понять, что эта проблема тесно связана с реальностью движения (качественно). Если движение—чистая относительность (а что же иное у Эйнштейна? *А. Т.*), то абсолютного времени не существует и у каждого „свое время". (Это и есть теория Эйнштейна. *А. Т.*). Этим разрушается закон причинности и единство мирового целого (правильно! *А. Т.*). И в этом пункте главная схоластическая опасность отрицания Эйнштейном реального движения. Но очень часто возражают не против этого, а против относительности наших субъективных временных переживаний". Что же это значит? Или теория Эйнштейна добирается только до наших субъективных переживаний, а до объективного так и не доходит, или... или существует абсолютное время и не существует ни специального, ни общего принципа Эйнштейна, так как определение времени и относительность времени представляют собою существо самого принципа—это его основа! А ведь, тов. Цейтлин (стр. 131) громогласно объявляет, „она (т.е. общая теория относительности) находится в полном согласии с принципами диалектического материализма!" (! *А. Т.*). Итак, в данной области эба автора, и т. Цейтлин и т. Семковский, для доказательства совместимости теории Эйнштейна с диалектическим материализмом предлагают один и тот же метод: выбросить начисто всю теорию относительности. Метод радикальный, слов нет, но доказывает ли он то, что хотели доказать сами авторы этих доказательств? Пишущий эти строки не вполне в этом уверен.

Мы затронули пока по существу только специальную теорию относительности, переходим теперь к так называемой общей теории относительности. Эта теория является обобщением и расширением специальной. Она является обобщением потому, что она должна быть приложима не только к равномерному и прямолинейному, но и к какому-угодно относительному движению. Разберем пример с поездом. Пусть железнодорожный поезд внезапно остановился; благодаря инерции чемоданы и мешки попадали с сеток на пол. Как истолковывала это явление старая физика? В старину говорили, что поезд движется по земле, а при торможении вагона находящиеся в нем предметы сохраняют по инерции свою скорость и продолжают двигаться в затормозившемся вагоне. Последовательный релятивист скажет: „я просто не понимаю смысла утверждения—„поезд движется по земле", — что это значит? Существует одно только относительное движение поезда по отношению к земле, или, что то же самое, земли по отношению к поезду. Я сажусь в поезд Октябрьской железной дороги и еду в Ленинград—это большая наивность с моей стороны так думать. Может быть это и так, а может быть Ленинград поехал навстречу моему поезду, а поезд, в котором я сижу, с точки зрения какого-либо космического наблюдателя неподвижен и именно для этого должен вертеть колесами.

Чтобы сделать эту мысль не столько, как бы это сказать... неприятной, т. Семковский приводит простой пример с мухой на глобусе: муха бежит в одну сторону, а вы поворачиваете глобус в обратном

направлении с такой же скоростью, с какой муха бежит по глобусу, в результате муха не смещается по отношению к вертящему глобусу и сидящему на стуле наблюдателю. Все это должно быть понятно, как говорит т. Семковский, „и самому ограниченному представителю здравого смысла, каких не мало у нас и среди научных работников". Мы только что видели, как сам т. Семковский запутался в сетях этого коварного здравого смысла, — не оттого ли он так заботливо предостерегает нас грешных! Также неосновательно возражал Эйнштейн Ленару — это возражение очень нравится т. Семковскому. Самое возражение состоит в следующем: „Машинист возразит, что он непрерывно топит и смазывает не окрестность, а паровоз, следовательно, на паровозе и должен сказаться результат его работы, т.-е. движение".

Именно здравомыслящий человек, хотя бы слегка знающий физику, и машинист в том числе, этого не скажет. Это, между прочим, и говорит Ленар в своем ответе. Ведь всякий знает, что стоящая по отношению к столу муха на вращающемся глобусе должна перебирать лапками на уходящей из-под ее ног поверхности глобуса. Так же точно и паровоз надо топить и смазывать, если под ним земля уходит. Возражение Эйнштейна очень неудачно: он приписывает противникам то, что они не говорили,—это, правда, удобный полемический прием, но и только. Дело же заключается вот в чем. Вернемся к поезду; мы видели, что при быстром торможении в поезде появляются силы инерции: чемоданы вылетают из сеток. Как правоверный релятивист будет говорить об этом явлении: возможно, что поезд бежал по земле и затормозился, но возможно, что и земля бежала под поездом, только в другую сторону, и внезапно... она затормозилась. Вследствие этого торможения возникло новое поле тяготения, которое подействовало на предметы, находящиеся в вагоне, так что чемоданы попадали. Вообще это поле тяготения производит все то, что в старой физике производит закон инерции. Вот Ленар имел дерзость задать вопрос: почему при торможении земного шара падают чемоданы в поезде, а не водокачка или колокольня вблизи станции? У релятивистов на это готов следующий ответ: в появившемся поле земной шар и все находящееся на нем как бы падает, а потому не должно происходить никаких разрушений, чемоданы же и поезд не двигаются в этом поле тяготения: ведь двигалась земля и затормозилась, а поезд в этом поле стоит. Сила тяжести этого поля и вызывает падение чемоданов из сеток. Как это все во-время случается и как это возникают поля тяготения — физически совершенно не ясно.

Пишущий эти строки на одном из диспутов задал тот же вопрос сторонникам Эйнштейна несколько в иной форме. Так как никакого ответа мною получено не было, то я позволю себе его повторить. Пусть у нас в комнате стоит большой стол A, а на столе доска B. На столе A и на доске B стоят оловянные солдатики. Я двигаю равномерно доску B вдоль стола и внезапно останавливаю, тогда солдатики, стоящие на B, падают по инерции (как чемоданы в примере с поездом), солдатики же на столе A стоят: с ними ничего не случилось. Подвесим теперь доску B к потолку на проволоках так, чтобы она немного не касалась стола, и будем двигать стол с такой же относительной скоростью по отношению к B, с какой раньше B двигалось по отношению к A. Мы, ведь, находимся в положении „космического" наблюдателя, не принимающего участия ни в движении стола, ни в движении доски. Затормозим стол A,—стоящие на нем солдатики попадают, а на доске B будут стоять спокойно. Выходит не так, как в примере Эйнштейна с поездом, там ведь все равно, движется ли земля и тормозится или движется поезд—все несчастья происходят всегда в поезде. Вот я и спрашиваю, при каких размерах и при какой массе стола явления, протекающие не по Эйнштейну, начнут протекать так, как того требует всеобщая теория относительности? На это не на диспуте—а так, между прочим,—кое-кто из релятивистов высказывали предположение, что, вероятно, размеры и масса стола должны быть такого же порядка, как земной шар, а такие большие тела, как известно, мы не умеем двигать,—в наших лабораториях особенно. Ответ до поразительного знакомый: нельзя поставить такого опыта, который подтвердил бы теорию; мы имеем, следовательно, великолепное новое доказательство—как прекрасно забронирована эта теория от опыта.

То же самое происходит и с вращательным движением. Принцип относительности не делает различия между Коперником и Птоломеем. А для этого надо допустить, что центробежные силы все равно получатся, если земля неподвижна, а вокруг нее вращается вся вселенная. Опять наш ежедневный опыт говорит против этого. Я вращаю мяч на центробежной машине: он сплющивается. Я оставляю мяч в спокойном состоянии на центробежной машине и вращаю тяжелые предметы вокруг машины: мяч, увы, не сплющивается. Аналогичный опыт с очень чувствительным прибором производили братья Фридлендер и получили отрицательный результат. Но нам говорят: вращающиеся массы малы! Опять тот же самый ответ: „забронировано от опыта". Но т. Семковскому все это нипочем. „А почему нельзя допустить,—пишет он,—что, скажем, сплющивание вызывается не вращением в абсолютном пространстве, а действием отдаленных масс, относительно которых и происходят все движения, в том числе и вращательные". Действительно, почему не допустить? Но здравая наука не только допускает, но и доказывает на фактах свои допущения. Допущение, которое не может быть проверено, мало интересно для ученого и, добавлю от себя, и для философа-материалиста: он не может применить „критерия практики".

По поводу затруднений, встречаемых теорией относительности при истолковании вращения земли, высказывался уже неоднократно целый ряд исследователей. Приведем мнение проф. С. Мохоровичича, о котором Эйнштейн отзывается как о прекрасном знатоке теории относительности и одном из сильнейших ее противников.

„Когда я своими пальцами сообщаю вращательное движение маленькому волчку, то с точки зрения всеобщей теории относительности следующие два допущения вполне равноправны: во-первых, волчок вращается в „покоящемся" мире, и, во-вторых, весь мир вращается вокруг „покоящегося" волчка. Если бы второе предположение было допустимо, то пришлось бы принять, что я с помощью моих пальцев привел в движение весь мир вокруг „покоящегося" волчка, но, ведь, это—бессмыслица. Оба допущения далеко не равноправны с математической стороны; с физической же они еще менее равноправны. Мы должны радоваться, что во времена Птоломея не был известен современный векторный и тензорный анализы (это говорит тонкий знаток тензорного анализа! *А. Т.*), а то Коперник не имел бы такого успеха. О других затруднениях я здесь упоминать, вследствие ограниченности отведенного мне места, не могу, но я должен все-таки еще добавить следующее: если бы была допустима эта релятивистски-птоломеевская точка зрения, то весь мир должен бы вращаться вокруг оси, которая как раз проходит через меня. Если я изменяю место наблюдения, то весь мир сейчас же должен завертеться около другой оси, и при этом должны возникнуть натя-

жения, для чего потребовались бы невероятной величины силы. Эти громадные силы я должен был бы затрачивать для того, чтобы вообще быть в состоянии изменять свое положение в мире, а это вовсе не соответствует нашему опыту. Поэтому приведенная только-что релятивистская точка зрения противоречит опыту" [1]).

На другом конце света, в Америке, Хейль [2]), подводя итог многочисленным сомнениям о применимости теории Эйнштейна к вращательному движению, замечает, что Эйнштейн „перещеголял Птоломея". А тов. Семковский, желая внушить читателям величие идей, развиваемых Эйнштейном, говорит: „Я думаю, что легче всего проникнуть в это здание, если подойти к Эйнштейну, как продолжателю той линии развития, которая ведет от Птоломея к Копернику (! *А. Т.*)"... И приводит обратно к Птоломею! Но т. Семковский все-таки знает, что очень и очень многим ученым линия „развития" вспять не всегда нравится, и поэтому он пытается выгородить Эйнштейна: „Эйнштейн подчеркивает, что речь идет в теории относительности не о двух гипотезах, не о том—какая гипотеза неподвижности солнца или земли правильна (а наука всегда именно так и ставит вопрос и принимает то, что правильно, отвергая неправильное! *А. Т.*),—а о двух способах изображения движения, при каждом из которых одно из двух движущихся тел принимается условно, в выясненном выше смысле, за неподвижное. И поскольку нет привилегированной, т.-е. абсолютно неподвижной, системы координат, принципиально допустимо рассматривать движение по отношению к любой координатной системе. Только это и выражает формула, что „все тела отсчета принципиально равноправны". Нет привилегированного абсолютно покоящегося сверх-наблюдателя, а только движущиеся друг относительно друга наблюдатели. И речь, стало быть, во всех случаях может итти не об абсолютных, а только об относительных движениях тел". Здесь что ни слово—то путаница. Во-первых, если я,—воздав должное великим заслугам Коперника,—скажу, что земля вращается вокруг солнца или—правильнее—вокруг общего центра масс солнца и земли, то я этим самым вовсе не утверждаю, что солнце неподвижно, да еще абсолютно. Разве вы не слыхали, т. Семковский, что астрономы и физики, стоящие на почве Коперника, вычисляют даже скорость, с которой солнечная система несется к созвездию Геркулеса? И все-таки координатная система с началом в центре масс солнечной системы есть, для данной солнечной системы, привилегированная система координат [3]), хотя бы уж и потому, что только для этой системы координат мы имеем $\Sigma\, mv = 0$, а для всех иных систем это равенство не выполняется. Итак, привилегированный и абсолютно неподвижный—далеко не одно и то же.

„Не существует сверх-наблюдателя".—Это положение при ближайшем исследовании оказывается чистейшим махизмом. У меня в руках винт и гайка, и я стою неподвижно относительно комнаты—я могу повернуть гайку и могу вертеть винт. Всякий, смотрящий на меня, и есть тот „несуществующий сверх-наблюдатель". Но представьте себе, что винт и гайка выросли до громадных размеров, а все наблюдатели оказались на винте или на гайке, а винт с гайкой окружен облаком тумана [1]). В этом случае сверх-наблюдателей не будет, и тогда различие в движении винта и гайки пропадет; значит, если кто-нибудь видит какое-то различие в движении винта и гайки, то это различие существует, а если дело обстоит так, что это различие почему-либо не заметно имеющимся налицо наблюдателям, то и различий не существует. Ни у кого нет никаких ощущений, следовательно, ничего вообще нет. Нет сверх-наблюдателя, который мог бы, скажем, с Сириуса увидать, что земной шар вращается вокруг солнца, а не наоборот. Значит, нечего рассуждать о том, кто прав—Коперник или Птоломей. И нужно утешать себя, что „принципиально допустимо" рассматривать и движение солнца вокруг земли или даже всей вселенной, хотя объяснить по какой такой физической причине громадные массы, вроде солнца, Сириуса, Капеллы, Арктура или Бетельгейзе, вращаются, как по щучьему веленью, вокруг маленькой, маленькой песчинки, какую представляет собой по сравнению с ними земной шар—объяснить это, нов сраю, не сможет никто. Но т. Семковский, пожалуй, скажет, что в приведенной цитате не объяснен смысл его слов о том, что тела условно принимаются, как неподвижные. Вот что это значит: „Условно на время наблюдения я могу принять за неподвижный любой пункт, в который я помещаю начало своих измерительных координат. Все движется, но, чтобы ориентироваться в движении в качестве наблюдателя, я должен набрать себе хотя бы мысленно какое-нибудь „тело отсчета", а это тело отсчета тем самым делается на время наблюдения условно неподвижным". Таким образом, всякое движение я могу превратить в какое-угодно, и в том числе в отсутствие движения, стоит только „мысленно" перенестись в какое-либо „тело отсчета", а их, ведь, много можно придумать. Что же, в конце концов, движение есть нечто реальное или только „мысленное"?

Вот почему я и думаю, что великие умы до Эйнштейна шли по правильному пути: в период младенчества человеческой мысли всякое движение относили к земному шару, в том числе и движения небесных тел: солнца, луны и звезд. Коперник сделал гигантский шаг вперед, указав, что земля, и планеты вращаются вокруг солнца. Дальше оказалось, что привилегированной точкой оказывается не центр солнца, а центр масс солнечной системы. Но и этот центр движется к созвездию Геркулеса, и кто знает, какие еще движения солнечной системы мы в будущем еще откроем? Для диалектика-материалиста мир неисчерпаем, абсолютного движения мы, вероятно, не узнаем, так же, как не узнаем исчерпывающе строения звезд или атома и электрона, но мы шаг за шагом получаем все более и более верную картину окружающего нас мира и все те составные движения, о которых мы узнали: движения земли и солнца среди звезд—это реальности, это—пусть несовершенное—отражение абсолютной истины. Эйнштейн же хочет нас отбросить к временам до Коперника и сделать неясным то, что стало ясно Копернику! И это называется итти по пути от Птоломея к Копернику. Но читатель, быть может, уже давно готов спросить: позвольте, вы говорите все о том, что еще не доказано, а, ведь, предсказал же принцип относительности новые факты, которые блестяще подтвердились?

Прежде всего специальный принцип дает выражение для зависимости массы электрона m от его скорости v: $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$,

[1]) Prof. S. Mohorovicic. Die Einsteinsche Relativitätstheorie und ihr mathematischer phisikalischer und philosophischer Caracter. Berlin 1923, p. 69.

(Еще раз напоминаем, что философская сторона этой в общем крайне интересной книжки очень слаба).

[2]) „Под Знаменем Марксизма" № 4—5.

[3]) См. И. Орлов. „Под Знаменем Марксизма" № 3, стр. 49, 1924 г.

[1]) Я этот пример приводил в своем докладе „Теория относительности и махизм" („Вестник Коммунистической Академии" № 7), на что уважаемые противники не нашли ничего лучше, как сказать что если напустить тумана, то ничего вообще не будет видно.

где c—скорость света, а m_0—масса электрона с точки зрения наблюдателя, неподвижного по отношению к электрону.

Необходимо заметить, что эту формулу можно получить и другими путями, так что экспериментальное подтверждение приведенной формулы, буде оно получится, не доказывает еще победы принципа Эйнштейна. Как бы то ни было, даже такой осторожный ученый, как Зоммерфельд, в своей прекрасной книжке: „Строение атома и спектральные линии" (Atomen-und Spektrallinien. A. Sommerfeld. Vieweg 1922) в главе, излагающей результаты исследований т. н. „тонкой структуры спектральных линий", несколько поторопившись, возвестил о славной победе Эйнштейна. Конечно, это сейчас же было подхвачено многочисленными популяризаторами и газетными обозревателями. Однако, позднейшие исследования Герке и Лау показали, что дело с опытной проверкой формулы $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ обстоит далеко не блестяще. Вот выдержки из статьи упомянутых авторов[1]). „Достойно внимания, что найденное из опыта значение 8,8 для величины $\Delta\, r_0 \cdot 10^{-9}$ (различие в частоте между элементами тонкой структуры) как раз то, которое, согласно Ленцу, вытекает из предположения Абрагама о твердом электроне, г-н Зоммерфельд считал уже, что его „релятивистическое численное значение, определяющее тонкую структуру 10,95, вполне достоверно, и он уже говорил, что (абрагамовская) „абсолютная теория" на фактах спектроскопии потерпела кораблекрушение и должна окончательно передать занятое ею место теории относительности". Если мы согласимся придавать такое значение спектроскопическим измерениям тонкой структуры, придется на основании наших опытов склониться к выводу, что эти опыты подтверждают абрагамовскую теорию твердого электрона".

Таким образом, фактически, на опыте вместо числа 10,95, вытекающего из теории относительности, получается 8,8 в полном согласии с теорией Абрагама, про которую Минковский, один из основателей теории относительности, говорил: „Это даже не рабочая гипотеза—это препятствие для всякой работы". История, как мы видим, наглядно показывает, с какой осторожностью надо высказывать подобные суждения. Приведенное различие в цифрах значительно выходит за пределы неизбежных погрешностей, таким образом—это явное опровержение теории Эйнштейна.

Переходим теперь по очереди к трем знаменитым „пророчествам". Во всех газетах был поднят шум, что во время солнечного затмения в 1919 г. в Южной Америке и в 1921 г. в Австралии измерения, сделанные на фотографиях звезд вблизи солнца, „окончательно и бесповоротно" доказали теорию Эйнштейна. Но оставим область сенсационных известий и подойдем к самим фактам. Результаты измерений представлены на рис. 2: по горизонтальной прямой [2]) отложены выраженные в градусах расстояния звезд от центра солнца, заштрихованная полоса изображает область, занятую солнцем: от центра до края, на вертикальной оси отложены смещения положения звезд, выраженные в секундах дуги, пунктирная кривая H_0 соответствует теории Эйнштейна. Черные точки представляют результаты измерений с той или другой звездой, при чем чем больше размер кружка, тем

[1]) Annalen der Physik, B. 67, p. 393. 1922.

[2]) Горизонтальная ось координат несколько наклонена на чертеже, благодаря внесению поправок.

больший вес имеет данное наблюдение. Кривые H_1 и H_2 имеют больший постоянный коэффициент, чем в эйнштейновской формуле. Если вычислить по формуле, предполагающей простой закон Ньютона (вычисление Сольднера 1811 г.; тот же результат получится по теории Дж.-Дж. Томсона, приписывающей гравитационную массу эфиру, увлекаемому силовыми линиями в световой волне), то кривая пройдет немного ниже, но также через области, густо покрытые точками. Вот что пишет по поводу приведенной нами кривой Э. Эскланьон, директор Страсбургской обсерватории: „Другими словами, для геометрического изображения данного ограниченного количества точек наблюдений не существует одной кривой, но целый пучок кривых,

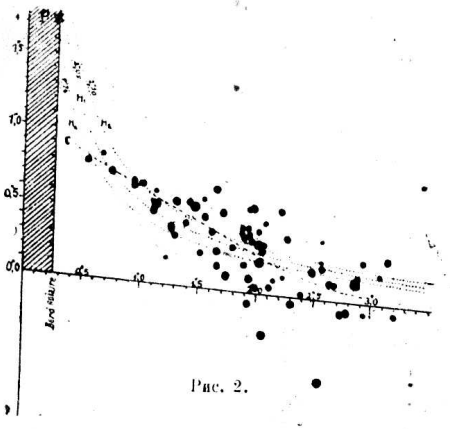


Рис. 2.

которые все могут удовлетворить этому условию, и в таком смысле они все в одинаковой мере законны и приемлемы. Изображение должно выражаться не с помощью линии, но с помощью настоящей „дороги", проведенной через группу точек; дорога эта тем более широкая, чем больше средние уклонения. Что касается совокупности отклонений вблизи от солнца, то здесь точно также дорога остается еще настолько широкой, что в тех пределах расстояния от солнца, где измерения фактически были сделаны, изображение с помощью формулы Ньютона $\frac{0,''9}{r}$ почти настолько же законно, как и с помощью Эйнштейновой формулы $\frac{1,''7}{r}$, и что лучшая из формул этого рода будет скорее $\frac{2,''0}{r}$.

Итак, здесь-то и заключается весь вопрос: фактически, на этой „дороге" остается много места для одновременного переезда весьма разнообразных экипажей, для теорий—по природе своей весьма различных; таким образом, в настоящее время нельзя сказать, для какого экипажа подходит больше всего приведенная дорога" [1]). Но еще перед этим автор упоминает о трех допущениях, какие необходимы даже для такого скромного вывода:

1. Надо допустить, что отклонения на пластинках представляют собой реальный эффект, а не вызваны неравномерным растяжением желатинного слоя; влияние этого фактора можно учитывать, но, к сожалению, в данных случаях этого сделано не было!

2. Мы делаем допущение, что кривая должна быть гипербола. Если бы мы получили эти опытные данные и не знали ни Ньютоновской, ни Эйнштейновской формулы, то мы провели бы кривую c,

[1]) L'Astronomie. Bulletin de la Société astronomique de France. 38 Année, Mai 1924, p. 184.

(см. рисунок), выражающую совсем другой закон и не имеющую ничего общего с теорией Эйнштейна.

II. наконец, 3, мы не учитываем космическую рефракцию, т. н. эффект Курвуазье, достигающий вблизи солнца величины около 0,5″.

Можно ли говорить после этого о блестящем исполнении пророчества Эйнштейна? Можно ли говорить, что факты вынуждают нас признать, что наше пространство не Евклидово? Так как весь этот эффект, происходящий от отступления от Евклидовой геометрии, выражается различием чисел $\frac{0,''9}{r}$ и $\frac{1''.7}{r}$. Хотя пишущему эти строки не раз приходилось писать на эту тему, но, видимо, мои уважаемые противники с этим не считаются и приходится повторять. Я не скрою, что когда-нибудь, быть может, усовершенствование техники докажет, что наше пространство только в первом приближении можно считать Евклидовым, но для этого нужны факты и не такие, как с отклонением лучей звезд вблизи солнца. При современном состоянии этого вопроса ни один здравомыслящий физик не станет перекраивать всю физику, заменяя простые, всем и каждому доступные выражения Евклидовой геометрии сложными формулами не-Евклидовой геометрии. Мы всегда, наоборот, стремимся где это только возможно, вносить упрощение взамен строгих выводов приближениями даже там, где нам вполне ясно видна правота более сложных и в то же время более строгих в теоретическом отношении формул. Но в данном примере, когда в лучшем случае факты ни за, ни против теории Эйнштейна, есть ли какой-нибудь смысл простое заменять сложным? Итак, с первым пророчеством дела совсем неважны.

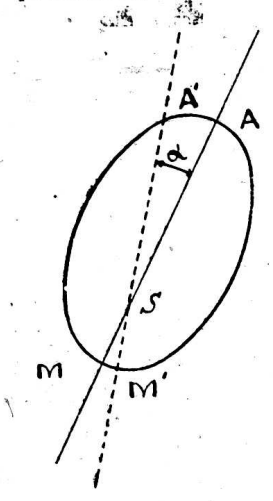


Рис 3.

Переходим ко второму „пророчеству"— к движению перигелия Меркурия. Во-первых, формула, выражающая это перемещение, совпадающая с Эйнштейновской, была выведена иным путем Гербером и была уже напечатана в журнале физики и математики (Zeitschrift für Mathematik und Physik) в 1898 г., следовательно, за 17 лет до Эйнштейна. Но самое важное не в этом: по формуле Гербера-Эйнштейна получается следующее: перемещение перигелия в сто лет равно 42 секундам дуги[1]) (42 секунды дуги, т.-е. $\frac{42}{3600}$ доли градуса — около одной сотой доли градуса). С другой стороны, обработка астрономических наблюдений, сделанная Леверье и Ньюкомбом, дает 42,2″; казалось бы лучшего совпадения и нельзя ожидать. Однако, и это совершенно естественно для строгой научной работы, — у целого ряда ученых явилась мысль еще раз проверить выводы Леверье и Ньюкомба, и что же оказалось? Оказалось, что расчеты были не совсем точны. Е. Вихерт, тщательно проверивший работу Леверье и Ньюкомба, получил не 42,2″, а 34″. Гроссман[1]) также перечислил все астрономические наблюдения, при чем он выделил в отдельную группу данные, полученные с помощью меридианного круга. Из этой группы наблюдения получается 29″ а, если использовать все наблюдения, то по Гроссману получается 38″. Результаты этих вычислений никем не опровергнуты,—таким образом говорить о согласии теории с фактами еще рано, а может быть, и поздно! Вот что пишет по этому поводу Герольд фон Глейх в статье от 7 августа 1923 г.[2]): „Изображение аномалии в движении перигелия Меркурия с помощью Эйнштейновской формулы никогда не даст действительно выдерживающего критику доказательства в пользу теории относительности, если бы даже эта формула и удовлетворяла наблюдениям, что, однако, как было уже указано, по меньшей мере еще сомнительно" (курсив автора). Первая часть приведенной мысли Глейха мотивирована им тем, что существует несколько и притом очень простых способов вывести ту же формулу. Эти же аргументы в более расширенном виде приведены Глейхом в статье, напечатанной осенью настоящего года[3]). Итак, со вторым пророчеством дело обстоит сейчас не совсем благополучно, чтобы не сказать совсем неблагополучно.

Переходим теперь к третьему пророчеству: к смещению спектральных линий в красную сторону спектра—в спектре солнца и звезд. Сам Эйнштейн придает этому следствию своей теории громадное значение. В своей популярной книжке он на последней странице с полной определенностью говорит: „если смещение спектральных линий к красному концу спектра, вызванное гравитационным потенциалом, не существует, то всеобщая теория относительности окажется несостоятельной". Совершенно ясно, что специалисты по спектроскопии с жадностью набросились на исследование спектров солнца; в настоящее время имеется громадная литература, весьма тщательный и критический обзор которой дан проф. Глазером в статье, напечатанной в Ежегоднике, посвященном радиоактивности и электронике (Jahrbuch der Radioaktivität und Electronik, 20 том, стр. 277—352 за 1924 г.). Вывод проф. Глазера следующий: „Вероятность, что опыт даст результат в пользу всеобщей теории относительности, в настоящее время очень мала".

Однако минувшей весной появилась заметка Ст. Джона с сообщением, что ему, наконец, удалось доказать экспериментально эффект Эйнштейна. А. А. Богданов в своих тезисах о принципе относительности[4]) на основании этой заметки сделал вывод: „Всеобщая теория относительности одержала величайшие победы—два исполнившихся предсказания: отклонение луча солнцем (!см. рис. 2. *А. Т.*) и „Rotverschiebung" в его спектре (теперь, повидимому, подтверждена вполне„). А вот что по поводу второй из этих побед, опять с большой поспешностью возвещенной Ст. Джоном, пишет лучший знаток оптических явлений, происходящих в солнечной атмосфере, голландский астрофизик Иулиус: „Изложенное Ст. Джоном истолкование... несостоятельно". „Принимая во внимание эти факты, существование Эйнштейновского смещения, обусловленного силой тяжести, по меньшей мере весьма сомнительно". Подводя итог своей критике, Иулиус замечает:

[1]) Перигелием называется та точка орбиты, где планета всего ближе отстоит от солнца (точка M на рис. 3). Направление линии $M\,S\,A$ не постоянно, линия $M\,S\,A$ поворачивается вокруг S. Угол α, на который повернется линия $M\,S\,A$ в столетие, и есть то явление, о котором идет речь.

[1]) Zeitschrift für Physik, 5 том, стр. 280. 1921 г. Astronom. Nachr. 214 p. 41 и 195. 1921 года.

[2]) Gerold v. Gleich. Die allgemeine Relativitätstheorie und das Merkurperihel, Annalen d. Physik, № 19. 1923 г.

[3]) G. v. Gleich. Zur Kritik der Relativitätstheorie von mathem. Physik Standpunkt aus Zeitschrift für Physik. 25, стр. 230. 1924 г.

[4]) Вестник Коммунистической Академии, 8, стр. 345.

„но даже и не принимая во внимание явления аномальной дисперсии (автор как-раз и обсуждает эту сторону дела. *Л. Т.*), как известно, многие исследователи пришли к убеждению, что общего смещения спектральных линий в солнечном спектре к красному концу (Rotverschiebung) в размере, требуемом теорией Эйнштейна, не существует. Подробные критические обзоры всего имеющегося материала, полученного из наблюдений, которыми мы обязаны Ф. Кроз'у [1]) и Л. Ц. Глазеру, приводят к заключениям, противоречащим указанным выше теоретическим предсказаниям".

Таковы не блестящие итоги пророчеств „революционной" теории перед лицом строгой научной критики. Конечно, все это очень плохо вяжется с истерическими восторгами, расточаемыми в бесчисленных популярных книжках и газетных статьях, где с негодованием отмечается все, что носит хоть тень критики. Но что же сказать о т. Семковском, который, несомненно, знает—знает потому, что упоминает о том, что есть критики, которых нельзя заподозрить в непонимании общего принципа относительности и его математических основ и который, тем не менее, нисколько не стесняясь, утверждает, „что теория Эйнштейна получила поистине блестящее экспериментальное подтверждение. Достаточно указать на три главнейших таких подтверждения: 1) из формул Эйнштейна сам собой получается необъяснимый до этого остаток в 43", в передвижении перигелия Меркурия в столетие (во-первых, объяснен Гербером за семнадцать лет до Эйнштейна, во-вторых, вполне удовлетворительно объясняемый Зелигером, исходя из предположения рассеянных масс вокруг солнца и, в-третьих, не соответствующий по числовой величине фактам. *Л. Т.*); 2) предсказанное Эйнштейном отклонение звездного луча, проходящего у края солнца, на 1",7 пророчески подтверждено наблюдениями во время солнечных затмений в 1919 г. в Бразилии и в португальской Африке, и—что менее известно—в 1921 г. в Австралии; о степени точности оправдания этого пророчества, сделанного к тому же в 1818 г. Сольднером, читатель может судить по приведенной диаграмме (см. рис. 2. *Л. Т.*). 3) Предсказанное Эйнштейном красное смещение спектра, несмотря на некоторые (!!! *Л. Т.*) разногласия в истолковании результатов соответствующих опытов, может считаться также оправдавшимся (!! *Л. Т.*)". А в заключительной главе т. Семковский ссылается на то, что „все философские школы видят себя вынужденными учитывать возможную окончательную победу новой теории, опирающейся на широкий фундамент блестящих подтверждений в различнейших областях механики, астрономии, физики и отчасти даже химии (! курсив наш. *Л. Т.*)". Интересно было бы узнать, где эти блестящие подтверждения?

Возвратимся теперь к вопросу об отношении теории относительности как таковой к диалектическому материализму.

Мы уже много раз указывали на то, как мало у нас способов подойти к опытной физической проверке результатов этой теории и насколько сомнительны достигнутые в этом направлении результаты. Никто не будет, конечно, возражать против гипотез, противостоящих „умозрений", отправляющихся от фактов и порой далеко забегающих вперед и побуждающих нас итти на поиски новых фактов. Но ценным является только такое „умозрение", которое, в конечном счете, может быть проверено на фактах. Выводы же теории относительности тщательным образом от такой проверки забронированы. Эйнштейн поставил себе задачу построить мир таким, каким ему хочется, и он достиг шумного успеха только потому, что его гипотезы—с физической точки зрения необоснованные—не могут быть при современном состоянии науки проверены. Пусть все эти гипотезы укладываются математически в очень стройную систему. Математик говорит—у Эйнштейна только одна идея: все системы координат равноправны, и больше ничего. Но физически сколько в этом гипотез! В специальном принципе—требование постоянства скорости света представляется физически недоказанной гипотезой. Далее: требование изменения размеров движущихся тел и изменения хода часов при теперешней технике не может быть доказано. Допущение, что под действием силы тяжести пространство становится не-Евклидовым и при том в различной степени—в зависимости от величины действующих масс—опять ничем не доказанная гипотеза. Наконец, требование, чтобы центробежная сила получалась при вращении вселенной вокруг земли, не доказано, и, наконец, не доказано, что при этом земля—ничтожнейшая песчинка по сравнению с миром-бешено летящих вокруг нее звезд—должна создать гигантское поле тяготения; физически, все это гипотезы, гипотезы и гипотезы, которых никто никогда не проверял. Все это в высокой мере важно с чисто философской точки зрения. Для материалиста, прежде всего, надо знать, что есть и что представляет собой более или менее удачное приближение к тому, что есть, а не те более или менее интересные картины, создаваемые, может быть, и очень остроумными людьми, но проверить которых мы не имеем возможности. Далее говорят, что Эйнштейн—материалист, или, по крайней мере, хочет быть материалистом, потому что он признает „абсолютный мир или „унию" пространства, времени и вещей, т.-е. материю" (Семковский, стр. 38). „Каждая движущаяся материальная масса создает свою геометрию, свою степень кривизны пространства, но вместе с тем и свое особое время. Потенциальные поля тяготения определяют темп процессов в данном поле, а, стало быть, и течение времени: время может замедляться и ускоряться. Часы на солнце идут не так, как часы на земле. Каждая движущаяся система имеет свое „собственное время" (стр. 46). „В отсутствии материи все эти потенциалы равны нулю, т.-е. без движущей материи никакого пространства и никакого времени нет" (курсив наш. *Л. Т.*, стр. 49). „Эйнштейн совершенно правильно рассматривает, как материю, так же свет и электричество. Ведь свет имеет даже вес". Помимо того, что свет и электричество не одно и то же, мы не можем еще говорить, что свет имеет вес; если на среду, в которой распространяется свет, быть может и действует сила тяжести, то это еще не значит, что свет есть вещество—это один из процессов в веществе, но оставим даже все это в стороне. Остановимся на несколько минут на высказанной т. Семковским мысли: „В отсутствии материи... без движущей материи никакого пространства и никакого времени нет". Энгельс определял пространство и время, как формы бытия материи, а Фейербах выражая ту же мысль несколько иначе, называл пространство и время условиями бытия материи. Но—век живи, век учись! Диалектический материализм Эйнштейна—Семковского учит как раз обратному: материя есть необходимое условие бытия пространства и времени. Все-таки это не одно и то же. Но пусть даже и так, пишущий эти строки человек уступчивый! Мы все-таки спрашиваем, что, между землей и Марсом есть пространство и время? А есть там материя?— Или вот еще пример: лучи, идущие от вспыхнувшей новой звезды и попадающие в глаз человека, пролетев несметной длины путь—лучи,

[1]) F. Croze, Les raies du spectre solaire et la théorie d'Einstein Annales, de Physique (9) 19 tome, p. 93—229. 1923.

ведь, по Семковскому, материя, да еще тяжелая,—что же, спрашивается, эти лучи создавали пред собой пространство, по которому они потом сами побежали? Ведь, пока их не было—не было материи, значит—не было и пространства? В тех местах, где шли лучи, не было планет и звезд, так как иначе лучи не дошли бы, а поглотились имп. Но если там не было никакой материи, то значит и пространства и времени не было. Конечно, физик скажет, что там везде был эфир. А релятивист вместе с т. Семковским скажет приводящее многих в состояние оцепенения, в состояние какого-то странного гипноза, слово „поле". Для физика, не релятивиста, поле есть процесс в эфире, т.-е. вещество в движении, как бы это вещество ни отличалось от известных нам форм материи. А что такое поле для релятивиста—это нам объяснил сам Эйнштейн. Поэтому послушаем лучше его самого. „Можно представить себе поле, состоящим из силовых линий. Если смотреть на эти силовые линии, как на нечто материальное в обыкновенном смысле слова, то можно попытаться представить себе динамические явления, как явления движения этих силовых линий, исследовать, таким образом, каждую силовую линию с течением времени. Однако хорошо известно, что такой способ рассмотрения приводит к противоречиям (отсюда не следует, что это противоречие никогда и никем не будет разрешено. *А. Т.*). Обобщая, мы можем сказать: мыслимо, расширяя понятие физического предмета, представить себе (!!! *А. Т.*) такие предметы, к которым нельзя применить понятие движения. Их нельзя мыслить состоящими из частиц, поддающихся каждая в отдельности исследованию во времени. На языке Минковского надо сказать так: не всякое образование, заполняющее четырехмерное пространство, можно представить себе состоящим из мировых нитей. Это значит, что не всякое образование имеет движение" (!). „Поле" как раз и есть такое образование. Теперь как же, по т. Семковскому, то, к чему не приложимо понятие движения, создает свое пространство, в котором оно находится, или время, по которому „оно живет"? Ведь, без движущейся материи нет пространства и времени. А здесь есть нечто—„поле", к которому не приложимо даже самое понятие движения. Вся эта невообразимая путаница показывает только одно: от теории Эйнштейна до диалектического материализма... „дистанция огромного размера".

Говорят, по принципу относительности все относительно; масса, время и пространство, но абсолютен четырехмерный мир—это тоже словечко, которое производит на многих гипнотизирующее действие. Но, спрашивается, как и чем воспринимается этот мир? Вся физика, все физические величины основаны на измерениях длины времени и массы, а они-то как раз и относительны. Как бы ни старался Эйнштейн и его толкователи, а человека никак не отучишь отличать время от пространства, не может он их спутать, как бы кто ни старался. Следовательно, мы всегда будем жить в мире относительного, а абсолютно существующий мир для нас недоступен. Диалектический материализм учит совсем другому. Он учит тому, что наши относительно верные сведения о мире, наши несовершенные картины мира улучшаются, становятся все более и более полными—приближаются к абсолютной истине, а по Эйнштейну мы раз навсегда привязаны к нашим относительным x, y, z и t, а об абсолютном мире мы судим на основании математических формул, „яко же зерцалом в гадании". Не вытекает это все-таки из основ диалектического материализма! Совершенно ясно, что такая абстрактная, не связанная с фактами теория дает массу лазеек в сторону всяких идеалистических течений. Напрасно т. Семковский считает, что Эйнштейн плавит больше в формах выражения дань махизму[1]), и сам т. Семковский, желающий усвоить себе учение Эйнштейна, сбивается в махизм более, чем в формах выражения. Возьмем его рассуждение на стр. 17. „Представьте себе исполинский ящик, но ящик без стенок и, что называется, без дна и покрышки. И представьте себе, что вы на каком-нибудь теле, но без наличия других тел, движетесь в этом пустом абсолютном пространстве: Как могли бы вы знать, что вы движетесь? Ведь, в ящике нашем нельзя различать ни переда, ни зада, ни верха, ни низа, ни правой, ни левой стороны. В абсолютной пустоте не за что зацепиться взором, и нельзя определить, движется ли тело или не движется". Кто спорит,—не только в пустоте, но и в густом тумане при отсутствии тряски вагона, шума колес и закрытых окнах не определишь своего движения, но метод доказательств типически махистский. Если я движения не ощущаю, значит... значит его не существует. Существует только то, за что мы можем уцепиться взором. Как хотите, мои уважаемые противники, это все, что угодно, но не диалектический материализм!

Наконец, переходим к вопросам геометрии. Спорящие со мной продолжают считать, что я связываю судьбу материализма с Евклидовой геометрией. Я достаточно ясно указывал, и даже в настоящей статье, что охотно признаю необходимость перейти от Евклидовой геометрии к какой угодно другой, если мне на опыте докажут необходимость этого шага. Я утверждаю, что таких опытов нет. Тов. Семковский думает иначе. Он говорит: „Треугольник достаточно большого размера, составленный в мировом пространстве из световых лучей, не удовлетворяет Евклидову требованию, чтобы сумма его углов равнялась 2d". Я спрашиваю, где, когда и кто это доказал? Я знаю, что Шварцшильд, определяя степень точности, с которой мы можем, пользуясь современными измерительными приборами, утверждать, что наше пространство—Евклидово пространство и какая могла бы существовать кривизна пространства, которая от нас могла бы ускользнуть вследствие грубости наших измерительных приборов. Я очень благодарен был бы т. Семковскому, если бы он указал мне, где и когда было сделано измерение достаточно большого треугольника, сумма углов которого не равна 2d? О доказательствах Эйнштейна мы уже говорили, обсуждая его первое „пророчество".

Но вопрос о том, как Эйнштейн смотрит на геометрию, гораздо глубже. Взгляд Эйнштейна на геометрию чисто идеалистический, и притом для обоснования его теории эта точка зрения была ему необходима. Вот его собственные слова: „Однако работающему в математической области не приходится завидовать математику, так как положения последнего покоятся не на действительных объектах (курсив наш. *А. Т.*), а исключительно на объектах нашего воображения" [2]). Я понимаю, можно говорить о том что математика оперирует с абстракциями, что она отвлекается от многого, что составляет содержание действительных объектов, но что она не покоится на действительности—это значит предполагать, что наше воображение, наш разум, ваша логика есть что-то, не имеющее ничего общего с действительностью, и что наш „дух" может создавать какие-то свои собственные миры...

---

[1]) См. А. Тимирязев. Принцип относительности и махизм (Вестник Коммун. Академии, книга 7).

[2]) Эйнштейн. Геометрия и опыт. Научное книгоиздательство Петрограда. 1923.

„Почему возможно такое превосходное соответствие математики с действительными предметами, если сама она является произведением только человеческой мысли, независимо от всякого опыта? Может ли человеческий разум без всякого опыта, путем одного только размышления, положить основу существующих вещей? По моему мнению, ответ на этот вопрос простой: поскольку положения математики относятся к действительности, постольку они не верны, и они верны только постольку, поскольку они не относятся к действительности". „Шаг вперед, сделанный аксиоматикой, заключается в том, что она точно отграничила логически формальное от вещественного или видимого содержания; согласно аксиоматике только логически формальное составляет предмет математики. Все же остальное содержание математики, не связанное с логически формальным и соответствующее видимым или иным вещам, к математике не относится" (стр. 6—7). Итак, логически формальное существует само по себе и вовсе не обязано быть абстракцией, от того, что мы видим и изучаем. Но может быть—это обмолвка? Может быть это, по выражению т. Семковского, „вырванные кусочки и выхваченные фразы"? Увы, сам Эйнштейн вполне определенно опровергает эту тень сомнения. „Геометрия,—пишет он дальше,—имеет дело с объектами, обозначаемыми словами: прямая, точка и т. д. При этом не предполагается какого-либо знания или представления этих предметов; наоборот, значение их чисто формальное, т.-е. аксиомы лишены всякого видимого и жизненного содержания, и приведенная выше аксиома является одним из таких применений" (Речь идет об аксиоме, что через всякие две точки пространства можно провести прямую и притом только одну. *А. Т.*). „Эти аксиомы—свободные создания человеческого духа. Все остальные геометрические положения суть логические следствия аксиом, связанных с миром только общностью терминов" (Курсив наш. *А. Т.*). Я думаю всякий, кто не ослеплен „модной революционной теорией", сообразит, что это чистейшей воды идеализм. Через несколько строчек на той же странице Эйнштейн все же признается: „С другой стороны, верно и то, что математика вообще и геометрия—в частности возникли из необходимости получить какие-либо сведения о соотношении действительно существующих вещей. На это указывает уже само слово „геометрия", означающее „измерение земли". В самом деле, измерение земли рассматривает возможные положения друг относительно друга известных тел природы: частей тела земли, измерительных лент, измерительных реек и т. д.". Казалось бы, именно эта потребность и привела к открытию геометрических аксиом. Геометрия, как наука, создавалась постепенно, по мере расширения нашего опыта, как абстракция на почве этой практической работы и лишь много веков спустя, путем дальнейшей абстракции, были построены различные системы геометрии, отличающиеся в том или другом отношении от геометрии Евклида, построенной на почве опыта.

Не так думает Эйнштейн. По Эйнштейну вся геометрия Евклида или всевозможные системы не-Евклидовой геометрии, как свободные создания нашего свободного духа, уже существовали в наших головах, и, конечно, никто не может знать, какая из этих систем подойдет к „так называемой" действительности... Может быть, ведь, и ни одно из „свободных созданий свободного духа" для этой цели не будет пригодно! Эйнштейн так и говорит: „Ясно, что, основываясь на системе понятий аксиоматической геометрии, мы не можем иметь никакого суждения о взаимоотношении тех, существующих в действительности, предметов, которые мы желаем назвать практически твердыми телами. Для такого суждения нужно лишить геометрию ее только логически формального характера, подчинив пустым схематическим понятиям аксиоматической геометрии живые объекты действительности (переживания)". Таким образом здесь выплывает хорошо знакомое рассуждение махиста: практика—это одно дело, практик—ученый исследователь может быть и материалистом, это иногда и очень удобно, и хорошо—но теория познания это совсем другая „материя".

А вот и выход из затруднения, в которое, казалось бы, должен попасть Эйнштейн, утверждая, что геометрия, с одной стороны, возникла из практических потребностей человека, и с другой, что она свободное создание свободного человеческого духа. „В отношении различных возможностей взаимного расположения твердые тела обладают теми же свойствами, как тела Евклидовой геометрии (Евклидова геометрия создана свободным духом, конечно, и чистая случайность или „нечаянная радость", что именно это создание духа оказалось в данном случае удобным. *А. Т.*). Таким образом, положения Евклидовой геометрии делаются положениями, определяющими свойства практически твердых тел"[1]). Таким образом иногда создания свободного духа, как оказывается, имеют много общего с действительностью. Эйнштейн подчеркивает важность этого взгляда на геометрию. „Я придаю особое значение такому пониманию геометрии—без него мне бы не удалось создать теорию относительности". Это давший раз, как представляется пишущему эти строки, доказывает правильность развиваемой им точки зрения[2]), что махизм неотъемлим был Эйнштейну в его работе: это вовсе не пристегнутая надстройка, а органическая часть самой теории и эта существенная помощь реакционной философии возможна только потому, что вся теория висит в воздухе—она не связана с реальной действительностью, она забронирована от опыта—только потому и возможен союз с махизмом. Но полную картину взглядов Эйнштейна на свою собственную теорию и ключ к философскому ее уразумению дает поистине замечательный отрывок из только-что цитированной нами речи „Геометрия и опыт", отрывок, в котором Эйнштейн излагает взгляды Пуанкаре: „Геометрия (Г) ничего не говорит о соотношении действительных предметов; и только геометрия вместе с совокупностью физических законов (Ф) описывает это соотношение (настоящий стиль махиста: описывает! *А. Т.*). Выражаясь символически, мы можем сказать, что поверке опыта подлежит только сумма (Г)+(Ф). Таким образом в действительности можно по произволу выбрать как (Г), так и отдельные части (Ф)[3] (курсив наш. В. Вот

[1]) Из этого многие т.т. марксисты, мало знакомые с механикой и физикой, делают вывод, что Евклидова геометрия неприложима к газам и жидкостям. Это крупное недоразумение. Вся гидро- и аэродинамика построена, пока что, на Евклиде. Речь идет о том, что в наших доказательствах, например, о равенстве двух треугольников; предполагается, когда мы при доказательствах мысленно переворачиваем один треугольник и накладываем его на другой, то при этом треугольник ведет себя, как „твердое тело". Только в таком смысле мы и говорим, что гипотеза „твердого тела" нужна для построения Евклидовой геометрии. См., напр., прекрасную статью І. Гельмгольца „О происхождении и значении геометрических аксиом". Сборник „Философия науки", ч. I—физика, вып. II, под редакцией А. К. Тимирязева.

[2]) Принцип относительности и махизм. А. Тимирязев (В. К. Ак. 7).

[3]) Мне приходилось слышать от математиков, стоящих на идеалистической позиции, восторги по поводу того, что, наконец то, вы, физики, с легкой руки Эйнштейна начинаете отходить от грубого опыта и призвать все большее и большее значение тому лучшему, что есть в человеке и что носит название „искры божией". Если принимать взгляды Эйнштейна Пуанкаре, то возразить против этого трудновато. Раз я выбираю по произволу не только геометрию, но и часть физики, и подгоняю другую ее часть так, чтобы

отчего в теории Эйнштейна можно издавать декреты, и природа им подчиняется! *А. Т.*); все эти законы являются условными. Для избежания противоречий необходимо только оставшиеся части (Ф) выбрать таким образом, чтобы опыт оправдал в общем (Г) и полное (Ф). При таком представлении, с точки зрения теории познания, аксиоматическая геометрия является равноценной с возведенной до степени условности частью законов природы. Мне кажется, что с принципиальной точки зрения (sub specie aeterni) такое воззрение Пуанкаре совершенно правильно" (стр. 13).

Эта схема, действительно, как нельзя лучше изображает всю суть Эйнштейновской теории и как бы подводит итог всему, о чем у нас шла речь. Мы имеем ряд произвольно подобранных декретов, касающихся геометрии и некоторой части физики, которые навязываются природе. А для того, чтобы сохранить внешние выражения открытых раньше нормальным путем научного исследования законов природы, мы подбираем надлежащим образом другую часть законов природы, напримеp, правила изменения длины, масштабов и хода часов так, чтобы все сохранилось попрежнему. Секрет успеха такого „революционного" метода заключается в том, что в отдельности все эти „положения" и декреты проверить при современном состоянии науки и техники нельзя. В тех же немногих случаях, где теория стремилась указать на новые факты—она дала осечку.

Дает ли все это вместе взятое основание считать теорию относительности революцией в науке и торжеством диалектического материализма,—предоставляем судить читателю [1]).

не оказаться в разладе с природой, то тогда, конечно, в первой части работы я могу чувствовать себя свободным от опыта и природы и... от науки вообще.

[1]) Пишущему эти строки пришлось на-ряду с грубыми ошибками т. Семковского указать на ошибки т. Цейтлина, но ему не хотелось бы, чтобы у читателей осталось впечатление, что у т. Цейтлина в статье одни только ошибки. Наоборот, в статье т. Цейтлина много ценного. Он совершенно правильно подходит к вопросу об отношении энергии и материи,—а в этом вопросе у многих марксистов, благодаря нескольким неосторожным выражениям Плеханова, установилась большая путаница. Не избег этой участи и т. Семковский. Далее т. Цейтлин совершенно правильно отмечает систематическое замалчивание тех из работ Максвелла, в которых он на основании придуманных им механических моделей приходит к своим знаменитым уравнениям. Сейчас „принято" говорить, что между механикой и электро-динамикой целая пропасть. Это темное пятно современной науки у т. Цейтлина правильно вскрыто, и, наконец, у него мы находим ряд ценных замечаний, касающихся механики Ньютона. Ошибки же его, часто очень основательные, вроде тех, на которые обращено внимание в настоящей статье, вытекают из предвзятой мысли—из желания доказать, что вся наука и весь диалектический материал вследствие растворяются в физике и философии Декарта.

Производственные отношения и вещные категории [1]).

И. Рубин.

Одним из интереснейших и труднейших вопросов марксовой экономической теории является вопрос о связи между производственными отношениями людей и вещными категориями политической экономии (стоимость, деньги, капитал, заработная плата, прибыль и т. д.). Маркс показал, что все эти вещные категории выражают собою не что иное, как социальные формы продуктов труда, принимаемые последними в зависимости от различного характера производственных отношений, связывающих людей. Каждый тип производственных отношений людей придает вещам, через посредство или по поводу которых люди вступают в данное отношение, особую социальную форму. Происходит „овеществление" производственных отношений людей.

С другой стороны, в капиталистическом обществе люди вступают между собой в определенные производственные отношения лишь при наличии у них вещей, обладающих определенной социальной формой. Положение отдельных лиц в системе производственных отношений определяется социальной формой находящихся в их обладании вещей. Таким образом, с одной стороны, — социальная форма людских отношений определяет социальную форму вещей, с другой же стороны, последняя определяет характер отношений между людьми.

Маркс ясно видел это кажущееся противоречие, характеризующее взаимную связь между производственными отношениями людей и социальными формами вещей. В одном месте он бросает загадочную фразу. Перечисляя противоречия товарного обмена, которые приводят к образованию денег (противоречие между потребительной и меновой стоимостью, конкретным и абстрактным трудом, частным и общественным трудом), Маркс прибавляет к ним, — очевидно, как наиболее глубокое, основное, — противоречие между „олицетворением вещей и овеществлением лиц" (К. I, с. 81) [2]). Здесь Маркс имеет в виду именно противоречие, указанное нами выше. „Овеществление

---

[1]) Расходясь с автором в политических воззрениях, редакция помещает настоящую статью, как имеющую значительный теоретический интерес.

[2]) Буква „К" обозначает „Капитал". Цитируется нами по переводу В. Базарова и И. Степанова: I том в издании 1923 года, III том в издании 1908 года.

лиц" означает, что производственные отношения людей придают определенную социальную форму вещам. „Олицетворение вещей" означает, что социальная форма вещей обусловливает определенный социальный характер их владельца и производственных отношений, участником которых он является [1]). В других местах Маркс отмечает ту же двойственную сторону явлений товарного фетишизма, не подчеркивая кажущегося противоречия между ними. Он говорит о „вещных отношениях лиц и общественных отношениях вещей", о „вещных чертах, которые получают общественные определения труда, и общественных чертах, которые получают вещи" (К. I стр. 40 и 59). Те же две стороны процесса он характеризует как „обобществление общественно-производственных определений и олицетворение материальных основ производства", или, короче, как „овеществление производственных отношений и персонификацию вещей" (К. III², стр. 410 и 360).

Итак, не попадает ли здесь марксова теория в порочный круг? С одной стороны, вещь приобретает известное общественное свойство, потому что люди находятся между собою в известных производственных отношениях. Но, с другой стороны, люди вступают в данные производственные отношения только потому, что являются владельцами вещей с определенными общественными свойствами. Возьмем, напр., капитал. „Капитал не есть вещь, а общественное отношение, опосредствованное вещами" (К. I, стр. 758—759). Вещь становится капиталом лишь при том условии, если она фигурирует в производственном отношении между капиталистом и рабочим. Но, с другой стороны, эти лица вступают между собою в данное производственное отношение только при условии, если у первого из них имеется капитал. „Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием, наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист" (К. I, стр. 310), т.-е. обладает капиталом.

Отмеченное нами противоречие может быть разрешено только в диалектическом процессе общественного производства, рассматриваемом Марксом как непрерывный, постоянно повторяющийся процесс воспроизводства, в котором каждое звено является следствием предыдущего и причиной последующего. Социальная форма вещей является результатом предыдущего процесса производства и предпосылкой дальнейшего.

Посмотрим сперва, как разбирает Маркс данный вопрос на конкретном примере того же капитала. „Деньги присвоивают себе в процессе прибавочную стоимость только потому, что... они еще до процесса производства предполагаются в качестве капитала. В процессе они сохраняются, производятся и воспроизводятся как капитал... Но еще до процесса,—если только капиталистический способ производства уже дан...—они существуют, как капитал, сами по себе, по своему характеру, хотя и осуществляют его лишь в самом процессе... Если бы они не входили в процесс, как капитал, то и не выходили бы из него в качестве капитала... Капитал—не только результат, но и предпосылка капиталистического производства" (Theorien über den Mehrwert, B. III, 1921, S. 546. Курсив Маркса). Данный процесс производства организуется определенным образом, т.-е. люди вступают в определенные производственные связи между собой только потому, что вещи уже обладают социальной формой капитала. Но чем создается эта последняя? „Что такое капитал, рассматриваемый не как результат, а как предпосылка процесса? Что делает его капиталом еще прежде, чем он входит в процесс?.. Это—общественная определенность, в которой он находится" (там же, S. 547). Эта „общественная определенность формы" [1]) или социальная форма капитала заключается в том, что материальные условия труда находятся в руках класса капиталистов и противостоят самому труду, как „чужая собственность, им командующая". Капитал, как предпосылка производства, капитал не в том виде, как он выходит из процесса производства, а в том виде, какой он имеет еще до вступления в него, представляет собою ту противоположность, в которой труд стоит к нему как чужой труд, или в которой он сам стоит к труду, как чужая собственность. В нем выражена построенная на противоречии общественная определенность (Там же). Расслоение общества на классы капиталистов и рабочих, занимающих каждый определенное место в процессе производства, придает средствам производства характер „капитала". Капитал является здесь выражением или результатом определенных производственных отношений людей. Но эта социальная форма капитала, фиксировавшись за вещью и срастаясь с нею, становится уже как бы ее свойством. Когда вещь уже вышла из данного процесса производства и перестала фигурировать в качестве связующего элемента между данным капиталистом и нанятым им рабочим, она тем не менее сохраняет еще свое свойство „капитала" и тем самым побуждает своего владельца начать снова процесс производства, т.-е. вступить опять в производственное отношение с наемными рабочими. Ибо в противном случае капитал останется „бездействующим" и не выполнит своего назначения, состоящего в том, чтобы доставлять своему владельцу определенный доход, прибыль. Вкладывая снова свои деньги в предприятие, капиталист уже заранее смотрит на них, как на „капитал", долженствующий приносить определенную „прибыль". Шансы на получение большей или меньшей прибыли и определяют его поведение, его склонность к расширению или сокращению производства. Являясь, следовательно, результатом господствующего в обществе типа производственных отношений людей, данная социальная форма вещей (капитал, прибыль и т. д.)

[1]) О „персонификации" вещей в этом смысле см. „Капитал", т. III², стр. 348, 360, 364

[1]) „Bestimmtheit" обозначает здесь у Маркса то же самое, что „Formbestimmtheit"

служит предпосылкой конкретных, единичных производственных отношений, устанавливаемых людьми. Иначе говоря, результат массового поведения товаропроизводителей является предпосылкой индивидуального поведения отдельных товаропроизводителей. „Общественный результат определяет поведение отдельного человека“ [1]).

Таким двойственным характером результата и предпосылки процесса производства отличаются все основные социальные формы, принимаемые продуктами труда в капиталистическом обществе и выражаемые вещными категориями политической экономии. Возьмем в качестве второго примера различные формы дохода. В капиталистическом обществе соединение всех факторов, необходимых для процесса производства, требует предварительного установления производственных отношений между предпринимателями-организаторами, с одной стороны, и рабочими, денежными капиталистами и землевладельцами—с другой. Эти различные типы производственных отношений, связующих представителей разных общественных классов, придают особые социальные формы тем долям вновь созданной стоимости, которые достаются указанным выше лицам. Получаются различные социальные формы дохода: заработная плата, предпринимательская прибыль, процент и земельная рента. Но каждый отдельный участник, прежде чем вступить в данное производственное отношение, уже заранее считает, что он, как владелец вещей, отличающихся определенной общественной формой (рабочей силы, отдаваемой в наем; землю, сдаваемой в аренду; денежного капитала, отдаваемого в ссуду), должен получить долю стоимости в определенной социальной форме (заработную плату, ренту, процент) и в таком-то размере. Будучи результатом производственных отношений между главными общественными классами современного общества, определенные социальные формы дохода являются предпосылкой для отдельных представителей этих классов, вступающих между собой в производственное отношение. Для предпринимателя-капиталиста „заработная плата представляется не частью всей стоимости товара, отрывающегося от своего целого в самостоятельной форме, а, наоборот, величиной данной и определяющей собой эту совокупную стоимость“ (К. III², стр. 400). Точно так же и процент становится в глазах функционирующего капиталиста самостоятельным элементом, предпосылкой производства товаров и их стоимости... Такую же роль в глазах земледельческого капиталиста играет земельная рента в форме, установленной контрактом арендной платы“ (там же, стр. 401). Даже средняя прибыль, остающаяся самому капиталисту, заранее им антиципируется, „входит в практические соображения и расчеты самого капиталиста, как регулирующий элемент“ (там же, стр. 400). Таким образом, „в действительном движении отдельных капиталов и их товарных продуктов не стоимость товара предполагается как данное при распадении ее на составные части, а, наоборот, составные части, на которые она распадается, выступают как предпосылка стоимости товаров“ (там же, стр. 399), и создается иллюзия, будто данные элементы издержек производства сами создают стоимость. Отсюда известная двойственность в учении Адама Смита: то стоимость товара распадается у него на заработную плату, прибыль и ренту, то она складывается из них, чтобы преодолеть эту двойственность. Необходимо было понять, что социальные формы доходов, как и вообще социальные формы продуктов труда, являются одновременно результатом общественных массовых действий товаропроизводителей и предпосылкой индивидуальных действий отдельных лиц. С этой точки зрения критика, направленная Марксом против отмеченной двойственности в учении Смита и особенно против теории стоимости вульгарных экономистов, получает, как увидим ниже, более широкое, социологическое освещение. С этой же точки зрения понятно, почему Маркс в формах дохода, которые являются не только результатом, но и предпосылкой определенной связи людей в процессе производства, усматривал не только „распределительные“, но и „производственные формы“ [1]).

Теперь, после разбора отдельных конкретных примеров (капитала и форм дохода), мы можем дать общую формулировку интересующего нас вопроса. „Капиталистический способ производства, как и всякий другой, непрерывно воспроизводит не только материальный продукт, но и общественно-экономические отношения, экономически определенные формы его образования. Поэтому результат этого процесса производства столь же необходимо принимает вид его предпосылок, как его предпосылки—вид его результата“ (К. III², стр. 401). В докапиталистических общественных формациях постоянное, почти неизменное повторение того же самого процесса производства вносило „регулярность и порядок“ как в материально-технический процесс производства, так и в присущую ему систему производственных отношений людей, приобретавшую общественную устойчивость и независимость от простого случая или произвола“ (там же, стр. 322). Но в капиталистическом обществе, как мы знаем, не существует постоянных производственных отношений, определяющих заранее место каждого индивидуума в общественном процессе производства. „В товарном производстве противостоят друг другу лишь взаимно независимые продавец и покупатель. Все отношения между ними обрываются, когда истекает срок заключенного ими договора“ (К. I, стр. 571). Каким же образом воспроизводится эта система производственных отношений, представляющая собой совокупность кратковременных, прерывающихся частных сделок между отдельными товаропроизводителями?

В капиталистическом обществе по окончании данного процесса

[1]) Н. Бухарин. Теория исторического материализма, 1923, стр. 37.

[1]) Theorien über den Mehrwert, B. III, S. 553. Подробнее об этом в главе 51-ой III тома „Капитала“ и в „Введении к критике политической экономии“, глава 2. См. сборник „Основные проблемы политической экономии“, стр. 17—22.

производства отношения, связующие его участников, прерываются. Но результатом процесса производства остается известная совокупность средств производства (материальных и личных) и продуктов труда, распределенных между различными общественными группами и обладающих различными „социальными формами" (капитал, рабочая сила, как наемный труд, земля, как объект собственности, заработная плата, прибыль, процент, земельная рента и т. п.). Эти социальные формы вещей являются выражением или результатом определенных производственных отношений людей, но результатом, продолжающим свое существование и после прекращения данного конкретного производственного отношения, в периоды перерывов между прекращением прежних и установлением новых конкретных отношений между участниками процесса производства. После окончания данного процесса производства (даже в случае увольнения предпринимателем рабочих) принадлежащие предпринимателю средства производства и деньги не теряют свойства капитала; они представляют „капитал в себе, потенциальный капитал" (К. III², с. 338), так как при господствующем в данном обществе типе производственных отношений между людьми могут и даже должны быть превращены в действительный капитал. Это значит, что определенная форма производственных отношений людей „овеществилась", „фиксировалась", „кристаллизовалась" в определенной социальной форме вещей, составляющей как бы объективное свойство самих этих вещей и присущей им независимо от перерывов в конкретных производственных отношениях людей. „Результат производства **фиксируется**, как **прочное и потому предполагаемое условие производства**, а именно как прочное **свойство** вещественных условий производства" (Theorien über den Mehrwert, B. III, S. 580. Курсив Маркса).

Раз произошло такое „овеществление" производственных отношений людей, продукт труда приобретает особую социальную форму, сохраняемую им, как мы видели, даже по прекращении того единичного, индивидуального производственного отношения, в котором он некоторое время фигурировал. Социальная форма вещей начинает существовать как бы независимо от производственных отношений людей. „Производственные отношения объективируются и приобретают самостоятельное по отношению к агентам производства существование" (К. III², с. 360) [1]). Отдельный товаропроизводитель находит уже готовые социальные формы продуктов труда, обладающие, как ему кажется, „прочностью естественных форм общественной жизни" (К. I, с. 43). Эти формы уже заранее действуют на него, вызывая в нем определенные мотивы и обусловливая его поведение. Товаропроизводитель со всех сторон окружен этими вещами, обладающими особыми

[1]) У Маркса в подлиннике: „Versachlichung" и „Verselbständigung" (Kapital, III², S. 366).

социальными формами и побуждающими его вступать с другими людьми в определенные, соответствующие их форме производственные отношения. Получивши по наследству имение, наследник хотя бы никогда в жизни не заключал арендных договоров, теперь вступает в производственное отношение с арендаторами, ибо такое поведение диктуется ему современной социальной формой полученной им земли, как долженствующей доставлять ренту. Эта социальная форма вещей, будучи результатом общественных производственных отношений людей, является здесь предпосылкой конкретных производственных отношений, устанавливаемых отдельными людьми. „Эти готовые отношения и формы являются предпосылками действительного производства, потому что капиталистический способ производства движется в им самим созданных формах, которые, будучи его результатом, вместе с тем в процессе воспроизводства противостоят ему как предпосылки. Как таковые, они определяют практическое поведение отдельных капиталистов, дают им мотивы и т. п." (Theorien, III, S. 558).

Вульгарные экономисты видели только вторую половину описанного процесса, находящуюся на поверхности хозяйственной жизни. Они видели готовые формы вещей, определяющие мотивы и поведение отдельного капиталиста и отражающиеся в его сознании. Но за этою „внешнею видимостью" они не видели „внутренней связи" явлений, а именно не видели самого процесса образования этих социальных форм вещей из массовых производственных отношений людей. Так как отдельному товаропроизводителю эти социальные формы вещей противостоят уже как готовые предпосылки, то и экономисты усматривали в них естественную форму вещей, не требующую объяснения. Маркс же поставил себе главною целью показать „генетическое" развитие этих социальных форм из производственных отношений людей.

Каждая социальная форма, присущая продуктам труда, в капиталистическом обществе (деньги, капитал, прибыль, рента и т. п.) появилась в результате длительного исторического и социального процесса, путем многократного повторения и наслаивания однотипных производственных отношений между людьми. Пока данный тип производственных отношений людей носит еще редкий, исключительный характер в данном обществе, он не может наложить на фигурирующие в нем продукты труда постоянную, прочную социальную печать. „Мимолетный общественный контакт" людей сообщает продуктам их труда лишь мимолетную социальную форму, появившуюся вместе с породившим ее общественным контактом и исчезающую сейчас же по его прекращении (К. I, с. 56). При неразвитом обмене продукт труда обладает меновою стоимостью только в самый момент обмена, не являясь стоимостью ни до, ни после этого момента. Когда обменивающиеся сравнивают свои продукты труда с третьим продуктом, последний в этот момент выполняет в зачаточном виде функцию денег, не будучи деньгами ни до, ни после этого акта обмена.

По мере развития производительных сил, вызывающего определенные типы производственных отношений между людьми, последние учащаются, многократно повторяются, становятся обычными и распространенными в данной социальной среде. Такое „уплотнение" производственных отношений людей приводит и к „уплотнению" соответствующей социальной формы вещей. Данная социальная форма „закрепляется", фиксируется за вещью, сохраняясь за нею и в моменты перерывов конкретных производственных отношений людей. Только с этого момента можно датировать появление данной вещной категории, как обособленной от породившего ее производственного отношения людей и, в свою очередь, воздействующей на него. „Стоимость" становится как бы свойством самой вещи, с которым она вступает в процесс обмена и которое она сохраняет по выходе из него. То же самое с деньгами, капиталом и другими социальными формами вещей. Из результата процесса производства они становятся вместе с тем и его предпосылками. Отныне данная социальная форма продукта труда служит уже не только „выражением" определенного типа производственных отношений людей, но и его „носителем". Наличие у данного лица вещи с определенною социальною формой побуждает его вступать в определенное производственное отношение, сообщает данному лицу особый социальный характер. „Овеществление производственных отношений" дополняется теперь „персонификацией вещей". Социальная форма продуктов труда, будучи результатом массовых действий товаропроизводителей, оказывается мощным средством давления на мотивацию отдельных товаропроизводителей и приспособления их поведения к господствующим в данном обществе типам производственных отношений людей. Через социальную форму вещей передается воздействие общества на индивидуума. Благодаря этому объективация или „овеществление" производственных отношений людей в социальной форме вещей сообщает экономическому строю большую прочность, устойчивость и регулярность. Происходит „кристаллизация" производственных отношений людей.

Критики Маркса совершенно упустили из виду, что процесс „кристаллизации" относится одинаково ко всем основным типам производственных отношений людей в товарном хозяйстве. Они обратили внимание только на фразы Маркса о „кристаллизации" труда в стоимости, о стоимости как „кристалле" общественного труда и на этом основании обвиняли Маркса в механически-натуралистическом понимании стоимости. Струве находит даже противоречие между теорией стоимости Маркса и его же социологической теорией товарного фетишизма [1]). Эти обвинения основаны на полнейшем недоразумении. Учение Маркса о „кристаллизации" труда в стоимости является не более, как прило-

[1]) Предисловие П. Струве к переводу 1 го тома „Капитала", 1906 г., стр. XXX.

жением его учения о товарном фетишизме или о „кристаллизации" производственных отношений людей в социальных формах, принимаемых вещами. В одном месте Маркс прямо говорит, что стоимость есть „овеществленный, фиксированный или, если угодно, кристаллизованный общественный труд" [1]). Такой процесс кристаллизации Маркс констатирует не только в теории стоимости, но и в применении в другим основным вещным категориям политической экономии: каждая из них является результатом объективации или „уплотнения" производственных отношений людей. Приведем только несколько примеров. Отношения людей в обмене „кристаллизуются в денежную форму", появляется „денежный кристалл", „золото кристаллизуется как деньги"; „перемена форм самих товаров кристаллизуется в определенных формах денег"; сравнение товарных цен „кристаллизуется" в счетных деньгах и т. п. [2]). „Определения, исходящие из процесса обращения, кристаллизуются как свойства определенных видов капитала, основного, оборотного и т. п. и таким образом кажутся данными свойствами, материально присущими определенным товарам" (Theorien, III, S. 558). „Всякая прибавочная стоимость, в какой бы особенной форме она впоследствии ни кристаллизовалась, в виде ли прибыли, процента, ренты и т. п." (К. I, с. 515) [3]). Последняя фраза очень характерна, так как в ней процесс кристаллизации означает появление тех „прочных", „твердых", „обособленных", „самостоятельных", „окостеневших" форм дохода (процента, предпринимательской прибыли, ренты), на анализе которых Маркс углубил свою теорию фетишизма в 48-ой главе III тома „Капитала". Пристрастие Маркса к термину „кристаллизация" легко объяснимо. Подобно тому, как постепенное насыщение определенного раствора приводит в известный момент к переходу количества в качество и выделению твердого кристалла, так длительное повторение определенного типа производственных отношений людей на известной ступени развития приводит к фиксации или закреплению за продуктами труда особой „социальной формы", прочного и как-будто постоянно присущего им свойства. „Текучие", динамические между-людские производственные отношения от длительного повторения как бы отвердевают, оставляя осадок в виде прочных, „кристаллических", „застывших" форм вещей. Свести эти застывшие на первый взгляд

[1]) „John, Preis und Profit". Издание Diehl-Mombert, Ausgewählte Lesestücke Studium d. polit. Oekonomie, Band V, S. 94—95.

[2]) Капитал, I, с. 54, 56 и др. Kritik der politischen Oekonomie, 1907, S. 52, 54, 74, 172 и др. (Русск. перев. П. Б., 1922 г., стр. 65, 66, 78, 134).

[3]) Ср. письмо Маркса Энгельсу: „В противоположность всей прежней политической экономии, исследовавшей прежде всего особые части прибавочной стоимости в их твердых формах—как рента, прибыль, процент, считая их данными, я стал впервые изучать общую форму прибавочной стоимости, в которой все особые части еще, так сказать, находятся в растворенном состоянии" (Письмо Маркса и Энгельса, 1923 г., стр. 169. Курсив наш).

статические формы вещей к живой динамике общественного процесса,—такова основная задача марксовой экономической теории. Во всех вещных экономических категориях Маркс открывает „общественную связь в ее уплотненной форме", как он выразился однажды по поводу товара и денег [1]).

Только на определенной ступени своего развития, после многократного повторения, производственные отношения людей оставляют, так сказать, осадок в виде фиксированных за продуктами труда известных социальных свойств. Пока данный тип производственных отношений не получил в обществе достаточно широкого распространения, он еще не может сообщить вещам соответствующую социальную форму. Когда господствующим типом производства было еще ремесло, которому ставилась задача „пропитания" ремесленника, последний в тех случаях, когда он расширял свое предприятие и по существу был уже капиталистом, живущим наемным трудом своих рабочих, все еще продолжал смотреть на себя, как на „мастера", и на доход свой, как на источник „пропитания". В этом доходе он еще не усматривал „прибыли" на капитал, как и в своих средствах производства еще не усматривал „капитала". Точно также, под влиянием господствовавшего над докапиталистическими общественными отношениями землевладения, в проценте долгое время еще не распознавали новой формы дохода, а усматривали в нем видоизмененную форму ренты. Так пытался еще вывести процент из ренты знаменитый экономист Петти. Происходит „подведение всех хозяйственных форм под господствующие" (К. III², с. 406), присущие данному способу производства. Этим объясняется, что должен пройти более или менее длительный период развития, пока новый тип производственных отношений „овеществится" или „кристаллизуется" в соответствующей социальной форме продуктов труда.

Зато, с другой стороны, новый тип производственных отношений с того момента, когда он упрочивается и достигает господства, в свою очередь, начинает окрашивать в свой цвет отличные от него производственные отношения, пережитки прежних или зачатки новых форм производства. Сильнейшее содействие этому оказывает описанный нами процесс кристаллизации производственных отношений в вещных категориях. С того момента, когда данный тип производственных отношений людей придал вещам специфическую социальную форму, последняя приписывается вещи даже в том случае, когда конкретно отсутствует соответствующее производственное отношение между людьми. Приведем примеры. В капиталистическом обществе, на основе обособления внутри класса капиталистов различных социальных групп, а именно денежных и промышленных капиталистов, совершилось обособление разных форм капиталистического дохода в виде

[1]) У Маркса сказано: „in seiner kompakten Form", — „Kritik der politischen Oekonomie", 1907, S. 129 (Русский перевод П. Б. 1922 г., стр. 109).

процента и предпринимательской прибыли. Но эти формы дохода, будучи результатом процесса производства, в свою очередь, выступают в качестве данных, готовых, прочных его предпосылок. Благодаря этому, даже тот капиталист, который работает исключительно на свой собственный капитал и никому не обязан выплачивать часть своей прибыли в виде процента, тем не менее, усматривает в своем доходе две различные части: процент на свой капитал, соответствующий средней норме процента в данной стране, и остаток, который он считает своею предпринимательской прибылью. Здесь речь идет не только о мысленном акте подведения разных долей дохода под разные рубрики или социальные формы. Этот акт определяет собою все индивидуальное поведение данного капиталиста, заранее определяя или „лимитируя" (ограничивая) его в известном направлении и подчиняя обычному, типичному поведению представителей данной общественной группы. Здесь опять овеществление производственных отношений выступает в указанной нами выше роли: как средство давления общества на индивидуум и подчинения индивидуального поведения массовому. На поведение отдельного капиталиста влияют те „объективные" формы дохода (предпринимательская прибыль и процент), которые, будучи результатом овеществления или кристаллизации производственных отношений между представителями различных социальных групп (промышленными и денежными капиталистами), служат предпосылками для деятельности отдельных капиталистов. „Промышленный капиталист, если даже применяет только свой собственный капитал, рассматривает часть прибыли, как процент, потому что эта форма имеет обособленное существование" (Theorien, III, S. 483). „Обособленное существование" здесь, как и в других местах, означает не что иное, как овеществление, кристаллизованное или фиксированное в форме свойства продукта труда. Встречающиеся у Маркса бесконечное число раз указания на „обособление" разных частей прибавочной стоимости или разных форм дохода становятся вполне понятными только на фоне его учения о фиксации или кристаллизации производственных отношений людей в вещах, т.-е. на фоне теории товарного фетишизма.

Возьмем другой пример, еще более яркий, к которому Маркс возвращается неоднократно: самостоятельного мелкого производителя, например, ремесленника или мелкого крестьянина, работающего на собственной земле, без помощи чужого наемного труда [1]). В странах высоко развитого капитализма этот мелкий крестьянин, хотя бы ни с кем не делился своим доходом, все же усматривает в нем различные составные части: одну часть он считает рентой за свою землю, другую—заработной платой за свой труд, третью—прибылью. Соответ-

[1]) См., напр., „Капитал", т. III², стр. 405—406; „Теории прибавочн. стоимости", т. I. Перевод под редакцией Г. В. Плеханова, 1906 г., стр. 332—333; „Theorien", B. III, S. 483—484.

ственно с этим и на свои средства производства он начинает постепенно смотреть, как на капитал. В условиях развитого капитализма такой способ калькуляции имеет для крестьянина известный смысл и может оказаться необходимым для правильного ориентирования в окружающих хозяйственных условиях.

Данный пример представляет для нас особенный интерес, потому что на нем мы можем наглядно сравнить метод Маркса с методом классиков. На том же примере мелкого самостоятельного производителя останавливается и Адам Смит: „Какой-нибудь независимый ремесленник, располагая маленьким капиталом, достаточным для закупки материалов и для собственного содержания впредь до продажи продукта на рынке, вырабатывает зараз и заработную плату поденщика, работающего на хозяина, и прибыль, которую бы последний получил на его работе... Садовник, собственными руками обрабатывающий свой сад, совмещает в себе три различных лица: собственника, фермера [1]) и рабочего. Поэтому из произведений своего сада он должен выручить ренту первого, прибыль второго и заработную плату третьего,—а между тем все это вместе взятое считается обыкновенно результатом его личного труда. Здесь рента и прибыль смешиваются с заработной платой" [2]). Как видим, Адам Смит ни на минуту не сомневается, что мелкий производитель имеет „капитал" и действительно получает три вида доходов. Смит выражает даже недовольство тем, что последние недостаточно строго отличаются друг от друга. Взгляд Смита вполне последователен и даже неопровержим до тех пор, пока мы смотрим на заработную плату, прибыль и ренту только с „вещной" их стороны, т.-е. пока мы видим в них три части, на которые делится продукт труда при распределении его между тремя лицами, участвующими в производстве (землевладельцем, капиталистом и рабочим). Если производство ведется крестьянином на собственной земле, и продукт труда или его стоимость целиком остается в его руках, то совершенно бесспорно, что крестьянин получил все три части, из которых продукт труда состоит, т.-е. все три вида доходов.

Но мы придем, конечно, к иному выводу, если вспомним, что разные доходы суть не части продукта труда, а социальные формы, принимаемые продуктом труда и выражающие производственные отношения людей. Три формы дохода предполагают существование трех обособленных общественных классов, между которыми делится стоимость продукта общественного труда. Если же крестьянин работает сам на собственной земле, то процесс производства не строится на основе соединения представителей трех указанных общественных

[1]) Под собственником здесь понимается собственник земли, под фермером—предприниматель-капиталист.

[2]) А. Смит, Исследование о богатстве народов, перев. М. Щепкина и А. Кауфмана, II ое изд., стр. 63 (глава VI первой книги).

классов, и, следовательно, отсутствуют и формы дохода, выражающие в вещной форме эти производственные отношения людей. Заработная плата и прибыль суть не разные части одной вещи, как кажется на первый взгляд, а вещные выражения одного производственного отношения между разными лицами. Раз в производстве участвует одно лицо, в руках которого остается стоимость всего продукта труда, это одно означает уже полное отсутствие тех форм дохода (заработной платы, прибыли и ренты), которые предполагают противопоставление разных людей в производстве. Крестьянин получает в самом деле некапиталистический, недифференцированный доход мелкого собственника. Неверно, что доход этот содержит в себе и заработную плату, и прибыль, и ренту. Наоборот, он не представляет собой ни первой, ни второй, ни третьей формы дохода, как и получатель его не является ни наемным рабочим, ни капиталистом, ни землевладельцем (в капиталистическом смысле слова, т.-е. в смысле землевладельца, не участвующего в производстве).

Так именно смотрит на данное явление Маркс. В отличие от Смита, который считает нужным объяснить, почему крестьянин недостаточно строго проводит различие между разными частями своего дохода, Маркса интересует вопрос противоположного характера: почему крестьянин усматривает в своем едином и неделимом доходе различные составные части. Ответ на этот вопрос заключается в учении об овеществлении или кристаллизации производственных отношений людей. Обособление разных форм дохода представляет собой „овеществленный" результат производственных отношений капиталистического общества, противостоящий отдельному индивидууму, как данная предпосылка, и применяемый „даже там, где совершенно отсутствуют самые предпосылки существования этих форм дохода" (К. III², стр. 405). Существование трех общественных классов с различными функциями в производстве сообщает средствам производства социальную форму „капитала". Но после того, как эта социальная форма продуктов труда стала господствующей, всякое средство производства начинает считаться „капиталом", в чих бы руках оно ни находилось и поскольку в собственнике этих средств производства начинает видеть quasi-капиталиста, хотя бы он и не нанимал рабочих. Вещь, получивши свою социальную форму в результате массовых действий товаропроизводителей, бросает теперь отраженный свет на своего владельца, накладывая на него определенную социальную печать. Это и есть то, что Маркс называет „персонификацией вещей", которая является результатом предшествующего ей процесса „овеществления производственных отношений людей" (или, как Маркс иногда кратко выражается, „овеществление людей"). „Здесь резко обнаруживается тот факт, что капиталист, как таковой, есть лишь функция капитала, а рабочие — функция рабочей силы" (Теории прибавочной стоимости, т. I, стр. 333). Средства производства и живой труд, объединенные в хозяйстве крестьянина, заранее выступают в присущей им

в капиталистическом обществе социальной форме: средства производства считаются „капиталом", а живой труд — „рабочей силой" или наемным трудом. Отсюда и собственник этого хозяйства как бы совмещает в себе два социальных характера. „Как свой собственный рабочий, он получает свою заработную плату, и как капиталист—свою прибыль". „Этот производитель сам разлагается в этом случае на различные экономические характеры" (Theorien, B. III, S. 483). Это мысленное „разложение" мелкого производителя на капиталиста и рабочего антиципирует и ускоряет действительный процесс такого разложения, т.-е. превращения этого производителя либо в мелкого капиталиста, либо в наемного рабочего. И здесь мы видим, что фиксирование за вещами определенной социальной формы ускоряет процесс подчинения отдельных производителей господствующему типу производственных отношений, нашедшему свое выражение в данной социальной форме вещей.

Итак, связь между производственными отношениями людей и вещными категориями мы должны представлять себе в следующем виде. Каждый тип производственных отношений между людьми, характеризующих товарно-капиталистическое хозяйство, придает вещам, через посредство или по поводу которых люди вступают в данное отношение, особую социальную форму. Происходит „овеществление" или „кристаллизация" производственных отношений людей. Вещь, фигурировавшая в определенном процзводственном отношении между людьми и обладающая соответствующей социальной формой, сохраняет последнюю и по прекращении данного конкретного единичного производственного отношения людей [1]). Только при этом условии можно считать производственное

[1]) Не следует думать, будто сохранение данной социальной формы вещи предполагает непременно неизменность натуральной формы последней: при изменении натурального вида вещи или замене ее другою, возможно сохранение той же социальной формы, представляемой этими вещами. Напр., изменение вида сырья в процессе производства на фабрике ни в малейшей мере не меняет социальной формы „производительного капитала", фиксированного в сырье на различных стадиях обработки.

Вопрос о сохранении натурального вида вещи сам по себе (т.-е. независимо от изменения ее социальной формы) сюда не относится.

Далее, поскольку речь идет о сохранении социальной формы вещи, было бы ошибочно думать, что таковая сохраняется вечно, переходя в неизменном виде из одного процесса производства в другой. Такое постоянное существование такой же самой социальной формы отчасти предполагается только по отношению к „имуществам": капитал, земле (один и тот же капитал, хотя и через ряд метаморфоз, переходит из предыдущего процесса производства в следующий). „Доходы" же (мы оставляем в стороне накопление) потребляются, исчезают, и в следующем процессе производства воспроизводится не тот же самый, а аналогичный доход. Но такое исчезновение доходов не опровергает нашего положения о сохранении социальной формы вещей по прекращении данного конкретного производственного отношения людей. Рабочий, получив в конце недели свою заработную плату (и даже уволившись в этот момент с фабрики), не перестает смотреть на данную сумму стоимости, как на свой доход в определенной социальной форме (т.-е. как на заработную плату). И это сознание побуждает его возобновить производственное отношение с капиталистом. Доход рабочего не теряет своих социальных признаков немедленно по прекращении данного конкретного производственного отношения и оказывает на индивидуума давление в сторону возобновления последнего.

отношение людей действительно „овеществленным", „кристаллизованным" в форме свойства вещи, присущего как бы ей самой и обособленного от этого производственного отношения. Раз вещи выступают в фиксированной за ними определенной социальной форме, они в свою очередь начинают воздействовать на людей, определяя их мотивацию и побуждая их устанавливать между собою конкретные производственные отношения. Обладая социальной формою „капитала", вещи делают своего владельца „капиталистом" и заранее определяют те конкретные производственные отношения, которые будут установлены между ним и другими членами общества. Социальный характер вещи как бы определяет социальный характер ее владельца, происходит „персонификация вещей". Капиталист таким образом светит отраженным светом своего капитала, но это возможно только благодаря тому, что последний, в свою очередь, отражает свет, присущий данному типу производственных отношений людей. В итоге получается подведение отдельных индивидуумов под господствующие типы производственных отношений. Социальная форма вещей обуславливает индивидуальные производственные связи отдельных людей только потому, что сама она является выражением общественных производственных связей. Социальная форма вещей выступает, как заранее давная, готовая, прочно фиксированная предпосылка процесса производства, только потому, что она сама является застывшим, кристаллизованным результатом динамического, вечно текучего и меняющегося общественного процесса производства. Так в диалектическом непрерывном процессе воспроизводства разрешается кажущееся противоречие между „овеществлением людей" и „персонификацией вещей", т.-е. между обусловленностью социальной формы вещей общественными производственными отношениями людей и обусловленностью индивидуальных производственных отношений людей социальною формой вещей.

Из указанных нами двух сторон процесса воспроизводства только последняя сторона, „персонификация вещей", лежит на поверхности экономической жизни и доступна непосредственному наблюдателю. Вещи выступают в уже готовой социальной форме, воздействуя на мотивацию и поведение отдельных производителей. Эта сторона процесса отражается непосредственно в психике отдельных лиц и доступна прямому наблюдению. Гораздо труднее проследить образование самих социальных форм вещей из производственных отношений людей. Эта сторона процесса, т.-е. „овеществление" производственных отношений людей, является гетерогенным результатом массовых, друг на друга наслаивающихся действий людей, социального процесса, происходящего за их „спиною", т.-е. результатом, который не ставится

заранее, как цель. Только при посредстве глубокого исторического и социально-экономического анализа удалось Марксу выяснить эту сторону процесса.

С этой точки зрения становится понятным различие, которое Маркс часто проводит между „внешней видимостью", „внешней связью", „поверхностью явлений", „формой проявления", с одной стороны, и „внутреннею связью", „скрытою связью", „имманентной связью", „сущностью вещей"—с другой [1]). Вульгарных экономистов он упрекает в том, что они ограничиваются изучением внешней стороны явлений, Адама Смита—в том, что он колеблется между „эзотерическою" (внутреннею) и „экзотерическою" (внешнею) точками зрения. Смысл этих заявлений Маркса представлялся весьма туманным. Критики Маркса, даже из числа более доброжелательных, обвиняли его в экономической метафизике за желание объяснить скрытую связь явлений. Марксисты иногда объясняли это противопоставление Маркса, как различие между грубо-эмпирическим и абстрактно-изолирующим методами исследования [2]). Мы полагаем, что указание на абстрактный метод является, конечно, необходимым, но далеко недостаточным для характеристики метода Маркса, и не это имел последний в виду, противопоставляя внутреннюю связь явлений внешней. Абстрактный метод общ Марксу со многими его предшественниками, включая Рикардо. Но исключительно его заслугой является внесение в политическую экономию метода социологического, усматривающего в вещных категориях выражение производственных отношений людей. В этой социальной природе вещных категорий Маркс и видит их „внутреннюю связь". Вульгарные экономисты изучают только форму проявления, „отчужденную" от самих экономических отношений (К. III[1], с. 346 и др.), т.-е. уже овеществленную, готовую форму вещей, не понимая ее социального характера. Они видят происходящий на поверхности хозяйственной жизни процесс „персонификации вещей", но не имеют понятия о процессе „овеществления" производственных отношений людей. Они рассматривают вещные категории, как данные готовые „предпосылки" процесса производства, воздействующие на мотивы производителей и отражающиеся в их сознании, не исследуя характера этих вещных категорий, как результата общественного процесса. Игнорируя этот внутренний социальный процесс, они ограничиваются „внешнею связью вещей, поскольку она проявляется в конкуренции; в конкуренции же все всегда проявляется наизворот—всегда имеет обратный вид" (Теор. приб. стоим., т. II, стр. 57), а именно производственные отношения людей кажутся зависимыми от социальной формы вещей, а не наоборот [3]).

[1]) См. „Капитал", III[2], с. 346 и друг.; „Теории прибавочн. стоим." т. II, ч. I, ГИЗ 1923 г., стр. 10, 57 и др.; Theorien, III, S. 576 и множество других мест.

[2]) См. Кунов, К пониманию метода исследования Маркса. Сборник „Основные проблемы политической экономии", 1922 г., стр. 57—58.

[3]) Из многочисленных, относящихся сюда, мест приведем одно: „Норма прибыли, точно так же, как и норма заработной платы, предполагаются данными. Это достаточно для

Выводы, к которым мы пришли в настоящей статье, служат лишним подтверждением того совершенно исключительного монизма, который связывает воедино различные части экономической теории Маркса и даже отдельные его замечания, разбросанные в разных местах, на первый взгляд независимо друг от друга. Теория товарного фетишизма; две стороны процесса фетишизации общественных отношений, а именно: „овеществление людей" и „персонификация вещей"; „кристаллизация" производственных отношений людей в свойствах вещей; превращение результатов процесса производства в его готовые предпосылки; противопоставление „внешней видимости" и „внутренней связи" явлений,—все эти стороны марксовой теории, обычно не обращавшие на себя достаточного внимания и в лучшем случае рассматривавшиеся изолированно, оказываются в самой тесной неразрывной связи между собою. Самые отдаленные и заброшенные уголки марксовой системы освещаются и обобщаются светом, исходящим из его теории товарного фетишизма. В тесной связи с перечисленным комплексом основных вопросов стоит и целый ряд частных вопросов, о которых мы могли только мимоходом упомянуть: разложение прибавочной стоимости на разные виды доходов; роль последних, как форм „производственных", а не только „распределительных" [1]); критика учения Смита о формах дохода, как конституирующих стоимость.

Теснейшая связь соединяет не только отдельные части экономической теории Маркса, но и последнюю в целом с его социологической теорией. В настоящей статье нам не раз приходилось отмечать роль вещных категорий, как средства давления на поведение отдельного производителя и подчинения его господствующему в обществе типу производственных отношений. Тем самым мы непосредственно подходим к одной из основных идей теории исторического материализма, к идее примата общества над личностью. Как осуществляется

образования цены производства. Они ей предпосланы. Они являются, таким образом, данными и для отдельного капиталиста. Как, где и когда они возникают, это его не интересует. Смит становится здесь на точку зрения отдельного капиталиста, агента капиталистического производства, который устанавливает цену производства своего товара; столько-то на заработную плату и т. д., тому-то равняется всеобщая норма прибыли" (Теории приб. ст., т. III, стр. 59). Как видно из всего контекста, именно в таком ограничении исследования данными предпосылками процесса производства Маркс усматривает игнорирование „внутренней связи" последнего.

[1]) С этой точки зрения становится понятным, почему Маркс в письме Энгельсу от 24 августа 1867 г. считал самым лучшим в первом томе „Капитала" исследование: 1) двойственного характера труда и 2) „прибавочной стоимости независимо от ее особенных форм прибыли, процента, земельной ренты". В другом письме Маркс прибавляет к этим двум пунктам третий: выяснение „иррациональной" формы заработной платы. Что общего между этими тремя пунктами? Общее в них—это учение об овеществлении или кристаллизации основных производственных отношений товарно-капиталистического общества в социальных формах вещей. Производственное отношение между капиталистами и рабочими овеществляется в разных формах дохода, с одной стороны, проистекающих из прибавочной стоимости, с другой—в заработной плате.

этот примат общества над личностью в товарно-капиталистическом хозяйстве, построенном на видимой полнейшей автономности отдельных производителей, при разрешении этого вопроса немалую помощь может нам оказать учение Маркса об овеществлении или кристаллизации производственных отношений людей в социальных формах вещей. Эта тесная связь экономического и социологического моментов не является случайною особенностью данного вопроса, нами разобранного. Она проникает всю систему Маркса. В экономических сочинениях последнего разбросан богатейший социологический материал, привлечение которого к исследованию теории исторического материализма могло бы, вероятно, заполнить немало пробелов в последней и содействовать разрешению многих спорных и темных вопросов в этой области. Разработка экономической теории Маркса под углом зрения связи ее с теорией исторического материализма должна явиться одною из очередных задач марксистской теоретической мысли.

К вопросу о капитализме и внешнем рынке.

(Теоретический очерк.)

В. Поздняков.

Основной тезис критики Р. Люксембург [1]) марксовой теории накопления капитала состоит в том, что расширенное воспроизводство или накопление капитала невозможно в чистом капиталистическом обществе, которое Маркс положил в основу своего анализа. Весь совокупный продукт производственного цикла состоит из $c+v+m$; Р. Люксембург утверждает, что при отсутствии некапиталистического окружения, т.-е. самостоятельных товаропроизводителей, совокупность которых она называет внешним рынком по отношению к данной капиталистической системе, накопление капитала вообще невозможно, ибо реализация продуктов, произведенных в течение данного цикла, сразу же наталкается на препятствие. Из общей массы продуктов c идет на восстановление изношенного постоянного капитала—возможность реализации c не вызывает сомнений, v покупается рабочими, которые к тому же не могут затратить ни копейкой больше того, что они получают, т.-е. больше v. Остается m. С ним происходит затруднение: если капиталисты потребят все m, то не будет никакого накопления, мы будем иметь простое воспроизводство; если же они потребят только часть m, то как же будет реализована остальная часть m? Кто ее купит? Очевидно, это сделать не смогут ни рабочие, ни капиталисты, ибо во втором случае, как мы указывали, отпадет всякая возможность накопления. Р. Люксембург выдвигает в качестве deus ex machina самостоятельных товаропроизводителей; именно, они должны реализовать этот остаток m и тем сделать возможным накопление капитала. Таким образом, существование самостоятельных товаропроизводителей является необходимым условием накопления капитала; без наличия такого „внешнего рынка" проблема накопления неразрешима. Но так как известно, что в борьбе самостоятельного товаропроизводителя с капиталистической конкуренцией он быстро вытесняется капиталистическими отношениями, так как развивающийся капитализм интенсивно разлагает еще существующие остатки простого товарного общества, то тем самым создается угроза, постоянно висящая над капиталистическим обществом, угроза невозможности дальнейшего накопления и, следовательно, краха капитализма. Правда, существует еще натуральное хозяйство. Капитализм в интересах самосохранения постоянно стремится всеми мерами разложить эти натурально-хозяйственные отношения, превращая их

[1] См. Р. Люксембург, Накопление капитала.

в товарные отношения и тем самым постоянно поддерживая ту питательную среду, которая необходима для его дальнейшего развития и существования. Получается такая картина: с одной стороны натуральное хозяйство постоянно, под натиском капитализма и товарных отношений, превращающееся в товарное хозяйство, с другой—самостоятельные товаропроизводители, т.-е. простые товарные отношения, все время расширяющиеся за счет разлагающегося натурального хозяйства, но в то же время постоянно вытесняемые с другого конца развитием капиталистических отношений. Эту борьбу за области, в которых господствуют простые товарные отношения, а также борьбу за области натурального хозяйства и борьбу с самим натуральным хозяйством, Р. Люксембург называет империализмом. Империализм, стало быть, имманентен капиталистическому производству; он появляется вместе с появлением капиталистического производства. Это представление о сущности империализма указывает и на неизбежный конец капитализма; в конце концов, должен наступить такой момент, когда натурально-хозяйственные отношения исчезнут, когда „внешний рынок" в указанном понимании целиком будет поглощен капиталистическими отношениями. Это будет моментом наибольшего торжества капитализма, но в то же время это будет момент краха капитализма.

В общем, в основе теории Р. Люксембург лежит одна, очень существенная ошибка, которая заключается в следующем. Весь продукт производственного цикла она рассматривает как некую „товарную кашу", как огромную кучу всевозможных товаров. Часть этой кучи, воплощающую *c*, берут капиталисты для восстановления своих сношенных или потребленных постоянных капиталов; очевидно, что для этого берутся товары определенного рода—это или машины и др. орудия производства или сырье. Товары, в которых воплощено *v*, очевидно представляют из себя средства потребления рабочего класса. Что же касается *m*, то Р. Люксембург выходит тут из определенной, хотя ею прямо и не высказываемой, предпосылки, что эта оставшаяся часть товарной каши содержит исключительно предметы индивидуального потребления. Если же среди них и имеются средства производства, то это—средства производства исключительно для самостоятельных, но не капиталистических товаропроизводителей. На чем основана эта предпосылка, Р. Люксембург не указывает. Но именно благодаря ей она увидела проблему там, где в действительности никакой проблемы нет. На этой необоснованной предпосылке и основывается вся ее критика марксовой теории накопления капитала. В самом деле, предположим, что из общей товарной кучи взяты товары, необходимые для восстановления *c*, взяты также (куплены) средства существования рабочего класса; от общей кучи осталась меньшая куча, воплощающая *m*. Говорить, как это делает Р. Люксембург, что эти товары могут быть потреблены капиталистами, значит предполагать, что эти оставшиеся в куче товары годны для такого индивидуального потребления класса капиталистов, т.-е. что эти товары—предметы индивидуального потребления. Указывать, что их реализация возможна в том случае, если они будут куплены самостоятельными товаропроизводителями, опять-таки значит утверждать, что по своей материальной природе они или предметы индивидуального потребления, или же средства производства, но только для самостоятельных товаропроизводителей. Почему в этой куче должны остаться, положим, шампанское, шелковое белье, дорогая колбаса, или же только ручные шила, дратва, иголки и нитки, а также крестьянский ситец, водка и т. д., Р. Люксембург не выясняет. Почему в этой куче не могут остаться также

уголь, нефть, ткацкие станки, всевозможные механические станки, паровые машины, др. двигатели, а также хлопок, железная руда и т. п.? А в последнем случае то препятствие, о которое споткнулась Роза Люксембург просто исчезает; требуется лишь, чтобы в оставшейся товарной каше все эти товары в определенной пропорции распределялись между различными родами их; если там будет определенное количество определенных машин, определенное количество сырья и вспомогательных материалов, определенное количество средств потребления как для рабочих, так и для капиталистов, то расширение производства или накопление капитала вполне возможно и в чистом капиталистическом обществе. Маркс как раз и исходил из этого предположения; для этого достаточно заглянуть в третий отдел II тома „Капитала". Для возможности накопления капитала не требуется вовсе наличия некапиталистических товаропроизводителей. И это тем более, что эти самостоятельные товаропроизводители, в конце концов, не могут спасти теорию Р. Люксембург.

В самом деле, согласимся даже на минуту, что товары, в которых воплощается *m*, это или предметы индивидуального потребления, или же часть их, по крайней мере, средства производства, но исключительно для самостоятельных товаропроизводителей. Капиталисты, в руках которых они находятся, могут или сами их употребить, но в таком случае невозможно никакое накопление капитала; или продать их на „внешнем рынке" в люксембургском понимании этого термина, т.-е. самостоятельным товаропроизводителям. В целях накопления или расширенного воспроизводства они должны это сделать; они должны их реализовать, т.-е. совершить метаморфозу *T—D*. Капиталисты выступают в данном случае владельцами этих товаров—их продавцами; самостоятельные товаропроизводители—их покупателями, т.-е. владельцами *D*. Но рынок является великим левеллером: и капиталист, поскольку он приходит на рынок в качестве продавца или покупателя, и самостоятельный товаропроизводитель, и даже рабочий, как продавец товара—рабочей силы и покупатель средств существования—все они являются равноправными гражданами этой великой товарной республики. Но перед нами встает вот какой вопрос. Откуда же эти самостоятельные товаропроизводители берут *D*, необходимые для реализации прибавочной ценности класса капиталистов? Яснее ясного, что с того же рынка; мы предполагаем, что данная капиталистическая система с принадлежащей к ней сферой простого товарного общества является замкнутой системой: ибо только при таких условиях возможен научный анализ; международные торговые отношения до крайности его осложнят, не внося ничего принципиально нового. Самостоятельный товаропроизводитель—владелец *D*—только потому и является владельцем *D*, что раньше он уже был на этом рынке, но в роли владельца *T*. Прежде чем купить, он должен был раньше продать другой товар—продукт своего производства. Стало быть, если самостоятельные товаропроизводители реализовали, предположим, 1000 *m*, то ранние в общую товарную кучу они бросили продуктов своего производства тоже на 1000 единиц (мы предполагаем, что обмен производится по ценностям товаров). Могут указать, что это необязательно; покупателем может быть золотопромышленник, для которого золото или *D* являются непосредственным продуктом его производства. Но не нужно забывать, что такой золотопромышленник есть самостоятельный товаропроизводитель, т.-е. он по-простому старатель. Если встать на эту точку зрения, то придется признать, что мировое накопление капитала возможно в меру „старательской" работы искателей золота!

Пусть совокупный продукт производственного цикла будет равен

$$3000c + 1500v + 1500m.$$

Если в ценность продукта вошло $3000c$, это значит, что в течение этого же цикла постоянный капитал был сношен или потреблен на 3000. Для того, чтобы производство продолжалось, эти 3000 должны быть восстановлены. Соответствующая часть „товарной кучи" будет куплена капиталистами. $1500v$ точно так же будут куплены рабочими. Из $1500m$, положим, $500m$ будут потреблены капиталистами. Остается, следовательно, $1000m$; по мнению Р. Люксембург, их должны купить самостоятельные товаропроизводители; но для того, чтобы купить товаров на 1000, эти самостоятельные товаропроизводители должны свалить в общую товарную кучу продукты своего некапиталистического производства, тоже на 1000 единиц (назовем их 1000 p.). На рынке будет:

$$3000c + 1500v + 1500m + 1000p.$$

c и v, как мы видели, будут реализованы. $500m$ будут потреблены капиталистами, $1000m$ будут куплены самостоятельными товаропроизводителями. Но кто же купит эти 1000 p? Перед нами снова встает тот же вопрос, который стоял и раньше. Правда, можно выйти из этого затруднения, предположив, что товары были проданы самостоятельными товаропроизводителями в предыдущем цикле, теперь же они, радуясь своей прошлой удаче, пришли на рынок, гремя деньгами в кармане и реализуя $1000m$, выручают капиталистов из беды. Но если они в то же время не принесут с собой нового товара—продуктов своего производства на 1000, то в следующем цикле они явятся на рынок с пустыми карманами без денег и тем лишат капиталистов радостей реализации m. В этом предположении самостоятельные товаропроизводители спасают теорию Р. Люксембург только до момента реализации продуктов следующего производственного цикла; ибо они туда смогут явиться только с товаром ценностью в 1000, но без D. Но тогда встает тот же вопрос: кто же купит у них этот товар и тем самым даст им возможность купить m у капиталистов? Быть может, выходом из этого положения будет их покупка капиталистами: но если эти продукты—предметы индивидуального потребления, капиталисты смогут только их потребить, и накопление опять станет невозможным; если же это будут средства производства, главным образом сырье, производимые самостоятельными товаропроизводителями, то вопрос разрешен: накопление возможно.

Но остается неясным, почему же капиталисты, нуждающиеся в средствах производства для расширения производства, не могут купить их у других капиталистов, у которых m имеет как раз эту материальную форму, а должны покупать их непременно у самостоятельных товаропроизводителей; другими словами, почему реализация m невозможна в пределах самого же m; путем взаимных реализаций среди самих капиталистов. Для этого потребуется только, чтобы средства производства и средства существования как класса капиталистов, так и рабочих были произведены—опять-таки в пределах m—в соответствующей пропорции; нужно, следовательно, чтобы m воплощалось в определенных количествах ряда определенных товаров. Но вопрос о пропорциональности совершенно особый вопрос; Р. Люксембург его даже и не выдвигает.

В приведенных словах заключается вся суть теории Р. Люксембург; здесь же заключается и ее основная ошибка.

Р. Люксембург ставит вопрос о возможности реализации m также в несколько иной плоскости. Она спрашивает, откуда же в чистом капиталистическом обществе возьмутся деньги для реализации m. Для того, чтобы исчерпать вопрос, скажем несколько слов об этом. Прежде всего в совокупный продукт любого производственного цикла деньги вообще не входят; деньги существуют наряду с товарной кучей. Потребное количество их, как мы знаем, определяется рядом моментов. В товарную кучу может входить в условиях простого воспроизводства только производство денег (золота) в количестве, необходимом для покрытия убыли от их снашивания; при расширенном воспроизводстве сюда войдет еще некоторое добавочное количество денег, необходимое для реализации возросшей массы ценностей.

Если даже предположим, что эта реализация продукта, произведенного в течение цикла, происходит сразу, в конце этого цикла, и если эта реализация все-таки имеет место (и происходит периодически—в конце каждого цикла), то очевидно, что наряду с этой товарной кашей подлежащей реализации, имеется соответствующее количество денег. Если эта реализация производится только за наличные, то ясно, что, согласно известной формуле Маркса, количество денег (т.е. ценность каждой монеты, умноженной на количество монет) будет равно ценности всей товарной массы. Где же эти деньги будут находиться? Бесхозяйных денег не бывает; деньги всегда являются чьей-либо собственностью, лежат в том или другом кармане. Количество денег, необходимое для реализации m, будет находиться в карманах или кассах капиталистов, стремящихся реализовать это m. Конечно, богатство, если можно так выразиться, каждого капиталиста при этих условиях будет состоять из двух частей: из функционирующего капитала и праздно лежащего сокровища в виде золотых монет. Но это вопрос другой. Легко поэтому и ответить на вопрос, поставленный Р. Люксембург: откуда же возьмутся D, необходимые для реализации m. Просто, капиталисты вынут их или из своих карманов, или из несгораемых сундуков. Таково разрешение второго затруднения.

Теория Р. Люксембург в корне своем ошибочна. Там, где она видит проблемы, в сущности нет даже проблем. Но книга Р. Люксембург имеет другое значение; она ценна тем, что выдвигает на первый план иную проблему, притом чрезвычайно важную, но которая до сей поры мало обращала на себя внимание. Речь идет о теоретическом анализе тех взаимоотношений, которые складываются между капиталистическим производством и той некапиталистической средой, которая его окружает.

Вспомним, как вел свой анализ Маркс. Целью той колоссальной работы, которую проделал Маркс, было изучение капиталистического способа производства, установление того закона развития, который лежит в его основе и который в конечном счете определяет всю ту сложную и пеструю, противоречивую, действительность, каковой, с первого взгляда, кажется капиталистическое общество. Гениальность и—нельзя забывать и этого—поразительная работоспособность Маркса, с одной стороны, и анализ этого капиталистического общества под иным углом зрения, с точки зрения пролетариата, которая являлась для данного времени единственно научной и объективной,—сделали то, что Марксу удалось построить теорию капиталистического общества, разрешить те противоречия, в которых тщетно билась предшествующая ему буржуазная экономическая мысль.

Маркс брал капиталистическое общество во всей его сложности, он отправлялся от этой, как он говорил, капиталистической види-

мости, но он не ограничивался этим. Он всюду искал закономерность, которая лежит в глубине явлений; он все глубже и глубже спускался, так сказать, в эти глубины капитализма. Но для выяснения этих основных закономерностей, носящих все более и более общий характер, ему приходилось все более и более абстрагироваться от реальных черт действительно существующей капиталистической системы; ибо эти черты могли только модифицировать констатируемые им закономерности (правильнее: они сами представляли только модифицированные закономерности), но ни в коем случае их не уничтожали.

Наивысшей абстракции он достиг в первом томе „Капитала" и в третьем отделе II тома — в учении о воспроизводстве — этой, по справедливым словам Гильфердинга, наиболее гениальной части его труда и — мы сказали бы — высшей точки, которой достигла его теория.

Возьмем первый том „Капитала"; в нем Маркс изучает процесс производства капитала. Для этого он берет капиталистическое общество. Но что оно из себя представляет? Это не реально существующее где-нибудь или реально существовавшее когда-нибудь капиталистическое общество; это скорее костяк любого капиталистического общества, его самая общая схема. В самом деле, в первом томе „Капитала" оно состоит только из рабочих и промышленных капиталистов — руководителей и организаторов капиталистических предприятий. Он исследует взаимоотношения между этими двумя основными классами капиталистического общества в их наиболее общей, а потому в наиболее основной форме! Так же ставится им вопрос и в третьем отделе II тома. Но капиталистическая действительность не ограничивается только процессом капиталистического производства: на ряду с ним имеет место и процесс обращения. Процесс обращения привлекается к его анализу во втором томе; при этом нельзя не упомянуть об агентах этого процесса: отсюда выяснение роли торгового (купеческого) и денежного (и ростовщического) капитала.

В третьем томе, где Маркс ближе всего подходит к капиталистической поверхности, мы встречаем уже три класса, из которых один носит не совсем капиталистический характер. На — ряду с рабочим классом мы там встречаем класс капиталистов, но не как нечто однородное, монолитное; мы видим там различные группировки в среде этого класса, мы наблюдаем там их взаимную борьбу. И, наконец, класс землевладельцев, этот капитализированный обломок феодального прошлого.

Легко заметить, что во всех трех томах „Капитала" Маркс берет в той или иной степени схематизированное капиталистическое общество — единственный путь, по которому вообще можно притти к установлению законов, движущих развитие капитализма. Но каждая историческая формация — а капиталистический способ производства является одной из таких формаций — чреватая не только будущим; она содержит также изрядное количество пережитков прежних исторических формаций. Марксова схематизированное капиталистическое общество всегда в действительности окружено некапиталистическим окружением, в виде производства независимых самостоятельных товаропроизводителей. Более того, оно как бы вправлено в это окружение и связано с ним тысячей нитей. Глупо было бы бросать упреки Марксу, что он упустил это из виду. Его главной задачей был анализ капиталистического способа производства, как законченной системы. Но этот симбиоз капитализма с некапиталистическим окружением, — ибо, ведь, нельзя представить себе, что капитализм существует сам по себе, его некапиталистическое окружение в виде массы самостоятельных товаропроизводителей существует тоже само по себе, вне всякой связи с ним, — несомненно, должно в известной степени модифицировать те закономерности, которые установлены для чистого капитализма. Все это осталось у Маркса неисследованным; и вся заслуга Р. Люксембург, как мы указывали, в том, что она поставила эту проблему. Она установила, с своей точки зрения, роль некапиталистической среды для развития и существования капитализма. Предвосхищая дальнейшее, скажем, что ею совершенно верно установлено это значение так называемого „внешнего рынка" для развития капитализма, но причинная зависимость, характер взаимоотношений совершенно не те, что она полагала.

Теоретическое изучение взаимоотношений между капиталистическим способом производства и окружающим его мощным пластом простых товарных отношений не только чрезвычайно интересно, но в то же время весьма актуально. Не говоря уже о том, что капиталистический способ производства исторически является лишь дальнейшей фазой развития простого товарного общества; не говоря о том, что этот процесс превращения простых товарных отношений в капиталистические и сейчас происходит во многих пунктах многих стран; не говоря, наконец, о том, что между еще существующими отношениями простого товарного общества и капитализмом не может не установиться определенного взаимоотношения, одинаково влияющего как на то, так и на другой, достаточно припомнить, что носителем таких некапиталистических товарных отношений в современном капиталистическом обществе является по-преимуществу крестьянство.

Мы не задаемся целью дать здесь целую теорию; мы попытаемся сделать в этом направлении лишь первые шаги. На этом пути мы последуем за Марксом: возьмем сперва самую общую схему капиталистического общества, как некоего целого, притом общества, состоящего только из двух антагонистических классов: капиталистов и рабочих. Такой схемой будет схема воспроизводства Маркса; мы ограничимся при этом только простым воспроизводством. Хотя простое воспроизводство и есть абстракция, хотя оно рисует стадию того явления — капитализма, самой существенной чертой которого является его динамичность, тем не менее мы ограничимся простым воспроизводством ради упрощения; к тому же и этот анализ даст нам возможность установить целый ряд интересных положений.

Схема простого воспроизводства Маркса известна [1]). К ней мы добавим еще два ряда: III — производство средств производства (конечно, что будет преимущественно сырье) самостоятельными товаропроизводителями и IV — производство средств потребления такими же товаропроизводителями. Эти два ряда представят собой таким образом аналогичную марксовой схеме схему простого (некапиталистического) производства.

Общая схема такого смешанного воспроизводства — капиталистического и некапиталистического, представляющего, однако, одну систему, примет такой вид:

$$\begin{aligned} &\text{I.}\quad 4000c + 1000v + 1000m = 6000\\ &\text{II.}\quad 2000c + 500v + 500m = 3000\\ &\text{III.}\quad 1000c + 1000w = 2000\\ &\text{IV.}\quad 1000c + 1000w = 2000 \end{aligned}$$

В двух последних строках не может быть, понятно, трехчленного деления — на $c + v + m$; категории заработной платы (или ценности

[1]) I. $4000c + 1000v + 1000m$
II. $2000c + 500v + 500m$

рабочей силы) и прибавочной ценности в производстве самостоятельных товаропроизводителей отсутствуют. Их место занимает вообще вновь созданная в данном процессе или цикле новая ценность; ее мы обозначаем *w*.

Прежде всего, нужно показать, что в такой схеме реализации совокупного продукта возможна, и что результатом этой реализации явится возможность нового производственного цикла; другими словами, нужно доказать, что в подобном смешанном, хотя и схематически взятом, обществе возможно воспроизводство. Простое рассуждение должно показать, как происходит эта реализация; она будет совершенно аналогична реализации в схеме капиталистического воспроизводства, но, конечно, примет несколько более сложный вид.

Начнем с I подразделения. Предположим, что капиталистам этого подразделения требуется для восстановления своего постоянного капитала закупить сырья, производимого самостоятельными товаропроизводителями, на 500; для этого они авансируют денежную сумму в 500. Таким образом, они реализуют 500*c* III. Те на полученные деньги покупают средства производства у капиталистов I, которые необходимы им взамен сношенных, испорченных и потребленных средств производства для того, чтобы они снова могли начать свой трудовой процесс; они реализуют 500*c* I, и деньги, брошенные в обращение капиталистами I, снова возвращаются к ним. Остальные 3500*c* I перераспределяются капиталистами I-го подразделения.

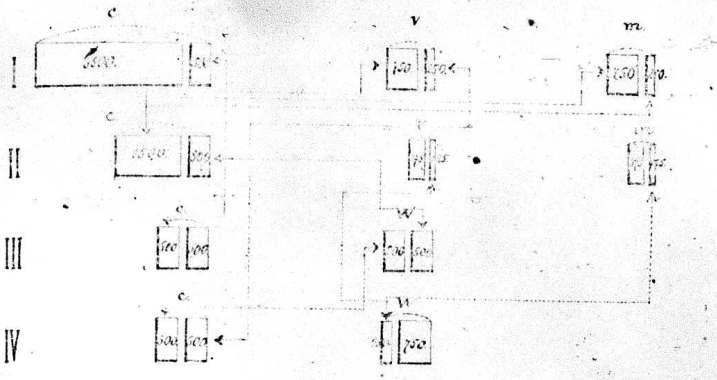
На полученные от капиталистов I деньги в качестве заработной платы рабочие, занятые в I-м подразделении, покупают средства потребления у капиталистов II подразделения на 750 и на 250 у самостоятельных товаропроизводителей; этим самым будут реализованы во II-м подразделении 750*c* и в IV подразделении 250*c*. Капиталисты II и товаропроизводители IV на полученные деньги покупают необходимые им средства производства у капиталистов I подразделения и тем реализуют 1000*c* I. Деньги возвращаются к капиталистам I и представляют переменный капитал в денежной форме. Теперь капиталисты бросают снова в обращение 1000 деньгами (они могут быть уже раньше брошенные в обращение и вернувшиеся к ним 500; требуется только, чтобы эта операция была произведена двукратно), покупают необходимые им средства существования и предметы роскоши и реализуют 750*c* II и 250*c* IV. На полученные деньги эти последние покупают средства производства: происходит реализация 750*m* I + 250*m* I. Авансированные деньги опять возвращаются к капиталистам I. Процесс реализации для первого подразделения закончен.

Переходим ко второму подразделению, 1500*c* уже восстановлены. Для закупки необходимого им сырья капиталисты II бросают в обращение 500 деньгами и закупают его у товаропроизводителей III подразделения. Тем самым реализуется 500*c* III. Товаропроизводители на вырученные деньги покупают у II необходимые им средства существования и реализуют 500*c* II. К капиталистам II приходит обратно авансированная денежная сумма. 375 *v* и 375 *m* перераспределяются в пределах этого подразделения. Кроме того, рабочие на оставшиеся у них неизрасходованными 125 деньгами покупают у IV средства существования, реализуют 125*w* IV; капиталисты II авансируют деньги (125) и тоже покупают у IV необходимые им средства существования и предметы роскоши и тем реализуют еще 125*w* IV. Товаропроизводители IV, имея 250 деньгами, покупают у II средства существования, являющиеся продуктами капиталистической промышленности, и реализуют оставшиеся нереализованными у II—125*v* и 125*m*. Деньги возвращаются к брошенным их в обращение капиталистам II подразделения. Для второго подразделения процесс реализации тоже закончен.

Что касается третьего подразделения, то 500*c* III уже реализованы и восстановлены. Остальные 500*c* перераспределяются в пределах этого же подразделения. Из 1000*w* III 500 уже были реализованы. Реализация остальных 500 происходит таким образом: товаропроизводители III подразделения авансируют 500 и закупают необходимые им средства существования у IV, реализуя там 500*c* IV. Товаропроизводители IV, получив эти 500, покупают у III средства производства и тем реализуют 500*w* III. Тут может встать вопрос: откуда эти самостоятельные товаропроизводители возьмут такую крупную денежную сумму. Дело может происходить двояким образом. Или эта реализация распадется на ряд актов, и небольшая денежная сумма будет последовательно авансироваться и возвращаться; или же товаропроизводители III подразделения, продав капиталистам свой продукт (сырье) на 500, не сразу же закупят у капиталистов II средства производства; они авансируют эту сумму для реализации 500*c* IV, и после возвращения ее снова к ним будет совершена их закупка у капиталистов II. В итоге и в III подразделения реализация закончена. Наконец, в IV подразделении мы уже имели реализованными с и 250*w*. Остальные 750*w* перераспределяются в пределах этого подразделения.

Мы видим, таким образом, что и с включением некапиталистического производства в общую схему простого воспроизводства реализация совершается и процесс воспроизводства может происходить от цикла к циклу. Здесь, разве, нужно отметить только одно обстоятельство: в I и II подразделениях средства существования как

рабочих, так и капиталистов распадались в такой пропорции: $^3/_4$ представляли продукты капиталистической промышленности и $^1/_4$—продукты некапиталистического производства. В III подразделении эта пропорция была $^1/_2$ и $^1/_2$, в IV—$^1/_4$ и $^3/_4$. Но это имеет и свое основание. В I и II подразделениях перед нами промышленное население, главным образом, население больших городов. III и IV—это преимущественно сельское население; но III подразделение—это, главным образом, представители технических культур, занимающие скорее промежуточное положение между городским (I и II подразделения) и типично деревенским населением (IV подразделение), с соответствующим уровнем потребностей. Весь процесс реализации можно изобразить в виде след. схемы:



Данная схема показывает: во-первых, что возможно такое сложное общество, в котором наряду с капиталистическим производством существуют отношения простого товарного общества и соответствующий ему способ производства; во-вторых, что оно представляет некоторую систему, обладающую известной устойчивостью, и, в-третьих, что в его пределах производство самостоятельных товаропроизводителей увязывается с капиталистическим производством, т.-е. что они связаны друг с другом тысячью нитей. Но какого типа эта связь? Как происходит это увязывание?

Капиталистическое общество есть более развитой тип товарного общества вообще, следовательно, и один способ производства, и другой имеют то общее, что и там, и здесь производятся товары. А это дает ответ и на вопрос, как происходит это увязывание. Очевидно—на рынке; тип этой связи—отношения рыночного обмена. И в самом деле, если мы подойдем с точки зрения рыночных отношений к капиталистическому обществу, если мы будем наблюдать его только в его проявлениях на рынке, то мы рискуем совершенно не заметить его специфических особенностей. На рынке мы встретимся с капиталистом, но не как с таковым, а как с простым товаровладельцем; при каких условиях произведен этот товар, это обстоятельство рынок не интересует; для него товар есть определенное количество материализованного общественного абстрактного труда, но чей это труд—самого ли капиталиста, его наемного рабочего, наконец, труд раба—для рынка совершенно безразлично. Точно так же, когда капиталист выступает покупателем, для рынка он является только владельцем некоторой денежной суммы; что эта денежная сумма является одновременно капиталом для самого капиталиста, на рынке этого не видно и для него это безразлично. Подобным образом и рабочий дважды появляется на рынке: один раз как товаровладелец—как собственник спе-

цифического товара—рабочей силы; другой раз,—как владелец D, как покупатель средств существования, т.-е. опять-таки перед нами отношения простого рыночного обмена.

В данном отношении нет принципиального различия между представителями этих классов капиталистического общества и самостоятельными товаропроизводителями; все они появляются там как товаровладельцы, как собственники того или иного товара, или же как владельцы денег. Все они друг с другом на равной ноге, между ними царит абсолютное равенство: равная ценность идет в обмен за равную ценность. Такое идеальное, до конца демократическое рыночное общество и получило воплощение в нашей схеме. Капиталистическое общество связывается с окружающим его простым товарным обществом рынком, рыночными отношениями обмена; основной закон такого общества—закон ценности, и все отношения между отдельными участниками рыночных отношений принимают ценностную формулировку. Ценность, таким образом, есть не что иное, как общественное отношение таких равноправных товаровладельцев.

Развитие капиталистических отношений вносит сюда некоторое изменение. Но на рынке оно проявляется только косвенным образом, не нарушая гармонии ценностных отношений. Во-первых, на рынке появляется новый товар, который был неизвестен простому товарному обществу—рабочая сила; во-вторых, покупателем этого товара неизменно являются капиталисты. Капиталисты и рабочие, сверх этого, вообще становятся покупателями определенных товаров: первые—средств производства, вторые—средств существования. Но все это, происходя на рынке, имеет прежнюю оболочку, все это носит ценностную формулировку, все эти отношения складываются по типу рыночного обмена $T—D$ и $D—T$. Старая форма сохраняется, хотя содержание изменяется; она начинает прикрывать иной тип общественных отношений. Но именно эта прежняя сохраняющаяся форма дает капиталистическим отношениям возможность развития в недрах товарного общества, делает их способными увязаться с простым товарным обществом.

Наша схема представляет для такого типа смешанного общества высшую степень абстракции; сделаем теперь некоторый шаг в сторону конкретной действительности. Действительно, в нашем примере мы предполагали обмен по ценности—равный труд обменивается на равный труд; при этом условии капиталистическое производство и простое товарное производство мирно сожительствуют в рамках одной замкнутой экономической системы; ни о какой эксплоатации одного другим говорить не приходится. Накопление капитала, если мы его предположим, может здесь происходить только и исключительно за счет части прибавочной ценности. Капитал явится исключительно накопленной прибавочной ценностью. Единственным способом воздействия капитализма на товарное производство самостоятельных товаропроизводителей будет развитие производительной силы труда, неизбежно сопровождающее развитие капитализма, и связанное с этим понижение ценности товаров. Труд самостоятельного товаропроизводителя будет в результате этого развития представлять меньшее количество общественно-необходимого труда, и его жизненное положение в той же мере будет страдать. Но это имеет место только в том случае, если капиталистическое производство выступает его конкурентом, если оно захватывает производство продукта, производившегося до сих пор этим самостоятельным товаропроизводителем. Но такая идиллическая картина редко встречается в жизни; вернее—она никогда не встречается.

Исторически характер связи между капитализмом и простым товарным производством носит несколько иной вид. Эпохе промышленного капитала предшествовала, как известно, эпоха торгового капитала. Торговый капитал как раз помещался на той грани, которая отделяла не только исторически, но и в пределах данной системы, эти две экономические формации. Более того, торговый капитал был тем посредником, который их связывал; такова была его функция, которую он выполнял и которую он выполняет и до сих пор, пока имеется налицо простое товарное производство, существующее наряду с капиталистическим. Понятно, что эту функцию он не будет выполнять бескорыстно; он потребует определенного вознаграждения, т.-е. прибыли. Включим в нашу абстрактную схему торговый капитал.

Нам здесь придется сейчас же встретиться с прибылью. Известно, что понятие прибыли у Маркса не одинаково, в зависимости от стадии в развитии его анализа. Оговоримся, что здесь прибыль мы будем понимать в формулировке первого тома, т.-е. прибыль $= \frac{m}{c+v}$. Понятно, этим мы предполагаем, что товары продаются по ценностям.

Итак, берем нашу схему и включим в нее торговый капитал (P) в размере 1000, который мы заберем в скобки, ибо он никаких ценностей не создает. Оговоримся также, что ради упрощения мы будем предполагать, что C целиком сношивается в течение года. Противное предположение ничего по существу в ходе рассуждений не меняет.

$$\begin{aligned}
&\text{I. } 4000c + 1000v + 1000m\\
&\text{II. } 2000c + 500v + 500m\\
&\text{P. } [1000\ldots\ldots\ldots]\\
&\text{III. } 1000c + 1000v\\
&\text{IV. } 1000c + 1000v
\end{aligned}$$

Если мы ограничимся только капиталистическим производством, не принимая во внимание простого товарного производства, то прибыль будет равна 20%.

$$\frac{m}{c+v} = \frac{1500}{7500} = 20\%.$$

Но на участие в распределении этой прибыли претендует и торговый капитал; соответствующую часть прибыли он должен получить, и он получит такую долю m, которая пропорциональна его собственной величине. Прибыль теперь будет

$$\frac{m}{c+v+P} = 17{,}65\%.$$

Другими словами капиталисты уже не смогут реализовать всю ценность произведенных ими товаров. Часть прибавочной ценности они должны будут отдать торговому капиталу.

Но каковы взаимоотношения торгового капитала с самостоятельными товаропроизводителями. Если капиталисты уступают торговцу часть прибавочной ценности, то самостоятельные товаропроизводители, попадающие в большую зависимость от торгового капитала, должны продавать ему свои продукты ниже ценности, и обычно ниже даже в большей степени, чем капиталисты. Торговый капитал эксплоатирует их, присваивая часть ценности, созданной их трудом. Часть

труда самостоятельного товаропроизводителя становится неоплаченным. Но экономическая природа этого неоплаченного труда иная, чем неоплаченный капиталистом труд рабочего; поэтому называть его прибавочной ценностью не приходится. Следовательно, прибыль на торговый капитал, поскольку мы рассматриваем взаимоотношения торговца и самостоятельного товаропроизводителя, есть неоплаченный труд этого товаропроизводителя; сколько будет присвоено этого неоплаченного труда—это в значительной степени зависит от соотношения сил и иных обстоятельств.

Но может ли торговый капитал целиком удержать за собой эту прибыль? Если раньше не могли этого сделать промышленные капиталисты и вынуждены были соответствующую часть прибавочной ценности уступить торговому капиталу, то и, обратно, торговый капитал, поскольку его прибыль превысит средний уровень, вынужден будет согласиться на ее общую переразверстку.

Предположим, что торговый капитал покупает товары у самостоятельных товаропроизводителей ниже ценности на 10%.

Прибыль при этих условиях будет

$$\frac{m+p\ ^{1})}{c+v+P}=22{,}35\%.$$

Положение вещей можно будет представить в следующей таблице:

	Ценность.	Норма прибыли.	Цена.
I. $4000c+1000c+1000m$ . . .	6000	22,35%	6117,50
II. $2000c+500c+500m$ . . .	3000		3059
P. [1000 . . . . .]	—		—
III. $1000c+1000w$	2000		1800
IV. $1000c+1000w$	2000		1800

Присмотримся к этой таблице. Мы предполагали, что товары, по крайней мере капиталистического производства, продаются по ценностям. При появлении на сцене торгового капитала промышленные капиталисты вынуждены были уступить ему часть прибавочной ценности; но на рынке последний потребитель платит за покупаемые товары их полную ценность, но и не более. Теперь мы видим нечто иное: исходя из того же предположения (о продаже товаров по ценности), мы видим, что товары капиталистических производителей продаются вообще не по ценности, и могут даже продаваться выше ценности [2]). Т.-е. капиталисты реализуют не только полную ценность

*) Буквой p назовем неоплаченный труд самостоятельных товаропроизводителей, присваиваемый торговым капиталом.

2) Если $p<\frac{m+p}{c+v+P}$ (в процентах), они продаются ниже ценности; если $p>\frac{m+p}{c+v+P}$, они будут продаваться выше ценности; при $p=\frac{m+p}{c+v+P}$ они будут продаваться по ценности.

их продуктов, но получают некоторый плюс. Откуда же этот плюс берется? Ответ ясен: путем эксплоатации самостоятельных товаропроизводителей. Через посредство торгового капитала промышленный капитал принимает участие в этой эксплоатации; можно сказать, что он питается за счет своего некапиталистического окружения.

Вообще можно, следовательно, сделать следующие выводы:

1) если самостоятельные товаропроизводители непосредственно эксплоатируются торговым капиталом, то действительное участие в этой эксплоатации принимает весь класс капиталистов;

2) прибыль есть превращенная форма прибавочной ценности; в наших условиях прибавочный труд самостоятельных товаропроизводителей становится как бы прибавочной ценностью, принимает, по крайней мере, ее форму (превращенную), поскольку он составляет часть капиталистической прибыли;

3) ценность здесь модифицируется и превращается в иную категорию, аналогичную цене производства, но носящую более сложный характер.

Мы предполагали, что продукты капиталистического производства продаются по их ценности. Теперь мы видим, что при наличии эксплоатации самостоятельных товаропроизводителей ценность превращается в иную категорию; но и вообще в капиталистическом обществе, при различии органического состава капитала и ряда других моментов, товары продаются по ценам производства. Сделаем и мы этот шаг и предположим, что товары продаются по ценам производства. Какие модификации мы должны отметить по сравнению с предыдущим. Уже a priori можно предсказать, что никаких принципиальных изменений не получится.

Пусть перед нами будут три отрасли производства, на которые распадается все капиталистическое производство, органический состав $\left(\frac{c}{v}\right)$ которых будет различен. Примем также для простоты рассуждений, что c ежегодно целиком снашивается; от этого у нас только повысятся абсолютные величины прибыли, но нас здесь интересуют их изменения и относительные величины.

	Ценность продукта.	Норма средней прибыли.	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производства.
$3000c+500v+500m$	4000	20%	3500	700	4200
$2000c+500v+500m$	3000		2500	500	3000
$1000c+500v+500m$	2000		1500	300	1800

И наряду с этим будет простое товарное производство, которое будет характеризоваться следующей строкой: $3000c+3000w$.

Включим сюда торговый капитал. Пусть он будет равен 3000. Тогда мы будем иметь:

	Ценность продукта.	Норма средней прибыли.	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производства [1].
$3000c + 500v + 500m$	4000	14,28%	3500	500	4000
$2000c + 500v + 500m$	3000		2500	357	2857
$1000c + 500v + 500m$	2000		1500	214,50	1714,50
P [3000. . . . .]	—		—	428,50	—

И на-ряду с этим: $3000c + 3000w$.

Но вот торговый капитал начинает свою историческую миссию по отношению к самостоятельным товаропроизводителям. Их эксплоатация есть исторический процесс: как таковой он имеет свою историю и свои стадии развития. Предположим, что торговый капитал платит самостоятельным товаропроизводителям на 10% ниже ценности, и что поле эксплоатации расширяется; сначала под его лапу попадает $^1/_3$ всех самостоятельных товаропроизводителей, затем $^2/_3$ и, наконец, все. Благодаря этому мы ознакомимся также с взаимоотношениями между простым товарным и капиталистическим производством в их движении.

Итак, мы будем иметь:

Торговым капиталом эксплоатируется $^1/_3$ товаропроизводителей.

	Ценность продукта.	Прибавочн. ценность и приб. труд.	Средняя норма прибыли	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производ. и рыночн. цена.
$3000c + 500v + 500m$	4000	500	16,19%	3500	566,65	4066,65
$2000c + 500v + 500m$	3000	500		2500	404,75	2904,75
$1000c + 500v + 500m$	2000	500		1500	242,85	1742,85
P [3000 . . . . .]	—	—		—	485,75	—
$1000c + 1000w$ . . .	2000	200		1800 [2]	—	1800
$2000c + 2000w$ . . .	4000	—		4000 [2]	—	4000

Поле действия торгового капитала расширяется: его эксплоатации подпадает $^2/_3$ товаропроизводителей.

[1] Цена производства для промышленного капиталиста, но не общественная цена производства.

[2] 1800 и 4000 будут для самостоятельных товаропроизводителей не издержками производства, а возмещением сношенных и потребленных ими средств производства и реализованная ценность, созданная приложением их труда; в первой рубрике уменьшенная на всю величину эксплоатации со стороны торгового капитала.

	Ценность продукта.	Прибавочн. ценность и приб. труд.	Средняя норма прибыли.	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производ. и рыночн. цена.
$3000c + 500v + 500m$	4000	500	18,09%	3500	633,25	4133,25
$2000c + 500v + 500m$	3000	500		2500	452,50	2952,50
$1000c + 500v + 500m$	2000	500		1500	271,50	1771,50
P [3000 . . . . .]	—	—		—	542,75	—
$2000c + 2000w$ . . .	4000	400		3600 [1]	—	3600
$1000c + 1000w$ . . .	2000	—		2000 [1]	—	2000

Наконец, торговый капитал распространяет свою эксплоатацию на всех товаропроизводителей:

	Ценность продукта.	Прибавочн. ценность и приб. труд.	Средняя норма прибыли.	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производ. и рыночн. цена.
$3000c + 500v + 500m$	4000	500	20%	3500	700	4200
$2000c + 500v + 500m$	3000	500		2500	500	3000
$1000c + 500v + 500m$	2000	500		1500	300	1800
P [3000 . . . . .]	—	—		—	600	—
$3000c + 3000w$ . . .	6000	600		5400 [2]	—	5400

Ход изложения не всегда совпадает с ходом действительного исторического развития. Собственно говоря, исторически последняя наша таблица является исходным пунктом действительного развития промышленного капитала. Ему предшествовало господство торгового капитала, и еще Маркс указал, что первоначально размер средней прибыли капиталистов-промышленников определяется уровнем прибыли, приносимой торговым капиталом. Если, как в нашем примере, торговый капитал приносит в результате эксплоатации самостоятельных товаропроизводителей 20%, то и промышленная прибыль тоже должна равняться 20%. При меньшем размере этой прибыли капитал из области производства будет отливать в торговлю до тех пор, пока его прибыль не сравняется с торговой прибылью.

Предыдущие таблицы, если брать их последовательно в обратном порядке, указывают на различные стадии развития промышленного капитала.

[1] См. предыдущую сноску.

[2] См. предыдущую сноску.

Выводы, как легко заметить, остаются те же, что и раньше, когда мы брали ценностные отношения; в этом смысле цена производства не вносит принципиальных изменений. Прежде всего приходится указать, что экономические категории вообще принимают теперь несколько иное значение. Выводя категории „ценности", „прибавочной ценности", „цены производства", „средней прибыли", Маркс исходил из предположения или законченного товарного общества вообще, или же чистого капиталистического общества, где не было места никаким ингредиентам, никаким обломкам и остаткам иных экономических формаций. Наше общество представляет явление более сложное: на-ряду с капитализмом мы включим в него и простое товарное производство; но это не есть механическая смесь, это—некоторое единство органического характера. Ясно, что и чистые категории чистого капиталистического общества принимают здесь более сложный характер, теряют, если можно так выразиться, свою химическую чистоту. Но вскрыть эту сложность их характера в то же время можно только, имея их в абсолютно-чистом виде. Что такое, в самом деле, средняя прибыль, как экономическая категория? Она есть превращенная форма прибавочной ценности,—отвечает Маркс; Маркс дал также и законы этого превращения.

Но если мы обратимся к нашим таблицам, то заметим—и это нам пришлось уже констатировать,что здесь средняя прибыль есть нечто большее, чем прибавочная ценность, созданная в данном капиталистическом обществе и распределенная pro rata капиталов отдельных капиталистов; такая превращенная прибавочная ценность составляет лишь часть той средней прибыли, которую фактически получают капиталисты. Второй составной частью ее явится прибавочный труд (в его ценностном выражении) самостоятельных производителей, неоплаченный и присвоенный торговым капиталом. Можно даже сказать об обратном отношении между ними: чем большую часть прибыли (относительно) представляет неоплаченный труд самостоятельных товаропроизводителей, тем меньшую ее долю составит прибавочная ценность. Подчеркнем еще раз, что этот неоплаченный прибавочный труд принимает вид или форму (хотя и превращенную) прибавочной ценности, т.-е. отношения, носящие некапиталистический характер, в обществе капиталистическом сами принимают капиталистическую формулировку. Форма покрывает, таким образом, иное содержание. Одна и та же категория является выражением различных общественных отношений. И именно поэтому, заметим мимоходом, вульгарная экономия, все свое внимание сосредоточивающая на этих внешних формах, принципиально лишена в какой-либо степени возможности понять действительное строение и развитие капитализма.

Из наших таблиц можно вывести также влияние на величину средней прибыли возрастающей эксплоатации самостоятельных товаропроизводителей. Стоит только предположить, что поле эксплоатации во всех трех случаях остается одинаковым: эксплоатируются все товаропроизводители, но степень эксплоатации увеличивается: торговый капитал в одном случае похищает 3,3% ценности продукта самостоятельного товаропроизводителя; во-втором—6,6% и в-третьем—10%. Цифры в этих случаях получаются аналогичные.

Разобранный нами способ эксплоатации некапиталистического окружения со стороны капитализма, связанного с ним отношениями рыночного обмена в одну экономическую систему, далеко не является единственным. Можно указать, что этих путей вообще много. Не ставя себе задачей характеристику всех путей, мы остановимся дальше только на таких, которые являются, так сказать, „нормальными";

методы первоначального накопления, так ярко описанные Марксом и Р. Люксембург, останутся в стороне.

Для указанной цели нам придется прежде всего остановить свое внимание на след. обстоятельстве. Марксом уже выяснено, что в капиталистическом обществе при различиях в органическом составе капитала [1]) товары не могут продаваться по их ценностям; поэтому в предыдущих таблицах мы оперировали с ценами производства. Но мы там предполагали, что между капиталистическим способом производства и простым товарным производством отсутствует конкуренция; другими словами, что продукты капиталистической промышленности и некапиталистического производства различны. Но это предположение нереально: мы знаем, что всегда и всюду существуют товары, производимые одновременно и тем, и другим способами. Известно также, что на одном и том же рынке, а мы имеем дело только с одним рынком, не может быть разных цен на один и тот же товар.

Теперь предположим, что техника производства, а стало быть и производительность труда одинаковы как при капиталистическом, так и при некапиталистическом производстве какого-либо товара, и, следовательно, этот товар имеет одну и ту же ценность вне зависимости от того, каким способом он произведен. Но, поскольку он продукт капиталистического производства, он будет продан по его цене производства. Являясь продуктом некапиталистического производства, он в силу конкуренции не будет продан по своей ценности, ни даже по ценности минус тот вычет, который забирает в свою пользу торговый капитал; его цена будет равна его капиталистической цене производства. Но отрасли капиталистического производства, еще конкурирующие с самостоятельным товаропроизводителем, есть отрасли с низкой, отсталой техникой, т.-е. с низким органическим составом капитала. А для них цена производства стоит ниже ценности. Следовательно, и товар самостоятельного товаропроизводителя будет продаваться ниже его ценности.

Положим еще, что этот самостоятельный товаропроизводитель совершенно не эксплоатируется купцом; тогда естественно встает вопрос: куда девается эта разница между ценностью товара и его рыночной ценой (средней рыночной), равной его капиталистической ценой производства. Ответ дает след. таблица (берем те же три отрасли производства, что и раньше):

	Ценность продукта.	Средняя норма прибыли.	Издержки производства.	Прибыль.	Цена производства.
$3000c + 500v + 500m$ . .	4000	20%	3500	700	4200
$2000c + 500v + 500m$ . .	3000		2500	500	3000
$1000c + 500v + 500m$ . .	2000		1500	300	1800

Рядом с ними имеет место простое товарное производство, обозначим его $1.000_o + 1.000_m$, которое производит тот же товар, что и последняя отрасль капиталистического производства (третья строка).

[1]) А также и др. различиях, как, напр., различии в степени применения простого и квалифицированного труда, ибо их нормы эксплоатации различны.

	Ценность продукта.	Издержки производства.	Средняя норма прибыли.	Прибыль.	Цена производства.
$3000c + 500v + 500m$ . .	4000	3500	22,22%	777,70	4277,70
$2000c + 500v + 500m$ . .	3000	2500		555,50	3055,50
$1000c + 500v + 500m$ . .	2000	1500		333,30	1833,30
$1000c + 1000^c$	2000	—		—	1833,30[1])

Результат совершенно аналогичен первому случаю. Различие между ними заключается только в том, что там необходимым посредником выступал торговый капитал, здесь эксплоатация капитализмом самостоятельных товаропроизводителей производится самим промышленным капиталом через посредство механизма обмена, благодаря конкуренции. В этом, вместе с тем, и отличие этой формы эксплоатации от эксплоатации капиталом наемного рабочего. Таков другой путь, по которому неоплаченный труд самостоятельного товаропроизводителя, принимая форму капиталистической прибыли, превращается в доход класса капиталистов.

Для того, чтобы выяснить третий способ, которым класс капиталистов упрочивает свое положение за счет некапиталистического окружения, нам нужно вспомнить о традиции классиков-экономистов. И Адам Смит, и Рикардо, и даже Д.-С. Милль—все они заканчивали свои общие экономические труды теорией налогов: к налогам обратимся и мы. Государство, как известно, есть организация господствующего класса, в капиталистическом обществе—класса капиталистов; цель его—защита интересов этого класса и охрана капиталистического правопорядка, т.-е. существующих производственных отношений. Но эти задачи требуют известных материальных средств. Уже Рикардо выяснил, что все налоги падают, в конце концов, на m. Если мы обратимся к схеме воспроизводства чистого капиталистического общества, то должны будем убедиться в правильности этого положения Рикардо: ибо, предполагая, что рабочая сила покупается по ее ценности, мы другого источника, кроме m, для уплаты налогов не найдем. Конечно, в действительности, главная масса налогов падает на рабочий класс: стоит указать хотя бы на косвенные налоги в капиталистическом обществе. В конечном счете это является одним из методов понижения цены рабочей силы. Стало быть, в чистом капиталистическом обществе, абстрагируясь от колебаний цен, часть совокупного m расходуется на содержание и функционирование государственной организации класса капиталистов, т.-е. класс капиталистов должен за свой счет (за счет своих доходов) нести издержки по сохранению своего классового господства. Другое дело, если мы возьмем наше смешанное общество: здесь налоги падают и на самостоятельных товаропроизводителей; пожалуй даже не пропорционально большая часть. Но тем самым сокращается доля m, расходуемая на общую защиту капиталистических отношений; это же приводит к повышению средней нормы прибыли. Практически дело происходит так: с точки зрения индивидуального капиталиста налоги составляют часть его издержек производства. Чем меньше сумма налогов, падающих на него, тем меньше его издержки производства, тем, следовательно, больше его прибыль. Для того, чтобы охарактеризовать конкретные формы такой эксплоатации капитализмом некапиталистического окружения, приведем для примера след. историческую справку:

„Грубый-хищнический характер французского капитализма тридатых и сороковых годов XIX века нашел себе яркое выражение в целом ряде характерных явлений. Сюда прежде всего относится финансовая политика правительства. Первая черта этой политики заключалась в том, что главное бремя податной тяготы возлагалось на трудящихся, малоимущие массы населения, почему косвенные налоги не только преобладали, но и увеличивались гораздо быстрее, чем налоги прямые. В десятилетие с 1835 по 1845 г.г. прямые налоги увеличились всего на 8%, а косвенные на 44%; в 1835 г. косвенные налоги составляли 67,4% всего налогового обложения, а в 1845 г. уже 73,5%. При этом главное увеличение и прямого обложения производилось опять-таки насчет неимущих масс: в то время как поземельный налог с 1830 по 1848 г.г. был повышен всего на 15,4%, налог на двери и окна был удвоен, т.-е. увеличен на 100%.

Второй чертой финансовой политики июльской монархии было усиленное покровительство индустрии в ущерб сельскому хозяйству. Это повело к таможенной войне с Англией, чем особенно больно поражено было французское виноделие: вывоз французских вин в Англию сильно сократился: а между тем виноделием заняты были во Франции 2½ миллиона человек, преимущественно крестьяне, у них было до 2 милл. гектаров земли под виноградниками, и они производили 43 милл. гектолитров вина в год на 700 милл. франков. Понятно, что в южных департаментах Франции, где особенно важно было виноделие, росло республиканское настроение.

Третьей характерной чертой финансовой политики того времени являлись огромные траты на армию и флот—внешнюю защиту капитализма—и на экономическую его поддержку—общественные работы—и ничтожные расходы на просвещение. На армию и флот в 1830 г. расходовалось 287 милл. фр., на общественные работы 54 милл., а народное образование только 17 милл.: к 1848 году первый расход возрос до 485 милл., второй—до 75-ти милл., а третий—всего лишь до 19-ти милл.“...

Таков этот третий метод эксплоатации in actu.

Теперь мы можем подвести итоги. Р. Люксембург утверждала, что накопление и даже существование капиталистического общества невозможно без „внешнего рынка“, т.-е. без наличия самостоятельных товаропроизводителей, связанных рыночными отношениями с данной капиталистической системой. Ибо условием существования капитализма является его непрерывное расширение, т.-е. накопление капитала. „Внешний рынок“, по словам Р. Люксембург, играет для капитализма определенную роль: он делает возможной реализацию прибавочной ценности, которая в другом случае, при предположении чистого капитализма, не реализуема. Это положение, как мы указывали, не выдерживает критики. Реализация m возможна и в чистом капиталистическом обществе.

С реализацией m связано накопление капитала; раз невозможна реализация прибавочной ценности, то тем самым невозможно и накопление капитала. Это тоже утверждает Р. Люксембург. Но раз неверна предпосылка, неверен и вывод: накопление капитала возможно и в чистом капиталистическом обществе; доказательство—II-й том „Капитала“.

В такой постановке теория Р. Люксембург несостоятельна. Но она верно подметила тенденцию, верно прощупала тип взаимоотношений, которое складывается между капиталистическим производством и производством самостоятельных товаропроизводителей; но характер причинных зависимостей иной, чем думала Р. Люксембург.

Капиталистический способ производства есть способ производства, битком набитый противоречиями: собственно говоря, он есть, сам по себе, одно сплошное противоречие, которое принимает только различные формы в своих проявлениях; одна из форм этого проявления есть закон тенденции нормы прибыли к понижению.

Капитал есть накопленная прибыль. Чем выше прибыль, тем, теоретически говоря, возможно более быстрое накопление капитала. Но накопление капитала в то же время влечет за собой непрерывный рост его органического состава, а это неизбежно приводит к падению нормы прибыли, т.-е. или к более медленному темпу накопления, или, в пределе, к невозможности всякого накопления. Получается противоречие: но развитие этого противоречия есть одновременно развитие самого капитализма.

Способы преодоления этого противоречия в капиталистическом обществе различны: усиление эксплоатации рабочего, сокращение времени и издержек обращения капитала и т. д.; существенно то, что любой из этих способов приводит, в конце концов, только к воспроизводству этого же противоречия в расширенном масштабе. Одним из таких способов преодоления этой тенденции прибыли к понижению является то взаимоотношение между капиталистическим производством и производством самостоятельных товаропроизводителей, поскольку они связаны отношениями обмена в одно экономическое целое, которое мы рассматривали на предыдущих страницах. Наличность „внешнего рынка", не являясь условием реализации прибавочной ценности и накопления капитала, представляет момент, противодействующий тенденции нормы прибыли к понижению. В этом—значение этого внешнего рынка для развития капитализма. Расширение поля эксплоатации самостоятельных товаропроизводителей со стороны капиталистического общества, усиление степени этой эксплоатации, преодолевая тенденцию нормы прибыли к понижению, расширяют возможности капиталистического развития и ускоряют самый темп этого развития.

Исчезновение этого внешнего рынка, которое для Р. Люксембург неразрывно связано с крахом капитализма, конечно, не влечет за собой автоматически этого краха; но оно уничтожает одно из могущественных препятствий для полного проявления тенденции прибыли к понижению и, тем самым, чрезвычайно обостряет все противоречия капиталистического общества. Крах капитализма является, следовательно, не фатальным последствием простого исчезновения внешнего рынка, он есть результат обострения внутренних противоречий капиталистического общества, стимулированного этим исчезновением.

Основные взгляды Фердинанда Лассаля.

(К 60-летию со дня смерти.)

Ал. Бернштейн.

31 августа 1924 года исполнилось шестидесятилетие со дня смерти одного из первых вождей немецкого рабочего движения, Фердинанда Лассаля. Пора вспомнить огненную агитацию этого неутомимого борца и разобраться в оставленном им наследии. Имя Лассаля чрезвычайно популярно среди не одних только немецких рабочих. Тем ощутительнее сказывается почти полное отсутствие о нем марксистской литературы. Кроме предисловия Эд. Бернштейна к собранию сочинений Лассаля да еще того, что писал о Лассале Меринг в своей „Истории герм. соц.-демократии",—нечего назвать. Насколько важен вопрос, видно из того, что мы имеем попытку взяться за него со стороны Плеханова, попытку, к сожалению, не законченную. Между тем, ходячее представление о Лассале очень далеко от действительности. Мало кто представляет себе, что Лассаль (подобно Луи-Блану) стоял на точке зрения „сотрудничества" классов. И никто еще не пытался в ошибках Лассаля искать корни дальнейшего оппортунистического перерождения германской социал-демократии. Между-тем, одна постановка такого вопроса бросает неожиданный свет на позднейшую историю немецкого рабочего движения, а через нее — и на историю II Интернационала.

Мы не можем, однако, ставить себе здесь такие широкие задачи. Но одно назрело до очевидности: в идейном наследии Лассаля пора разобраться к 60-й годовщине со дня его смерти. Вот эту, сравнительно суженную, задачу мы и ставим себе в этой работе. Мы исследуем основные взгляды Лассаля, начиная с философско-исторических и кончая его тактикой. Как представлял себе Лассаль ход исторического процесса? в чем видел задачи рабочего движения? какие меры предлагал для осуществления этих задач? какая тактика вытекала из его общих взглядов? — вот те вопросы, на которые нам придется ответить, основываясь на его богатом литературном наследии.

I. Философско-исторические взгляды.

Общефилософский идеализм.

Лассаль нигде не изложил в систематическом виде своих общефилософских взглядов. Причина этому простая: ничего „своего" в этой области у него и не было. Как показывают его произведения, он не шел в общефилософских вопросах дальше истолкования и популяризации идей Гегеля. Главная философская работа Лассаля— „Философия Гераклита Эфесского" (1858 г.)—не только содержанием, но и выбором темы свидетельствует о гегельянстве известно, что Гегель считал „темного" Гераклита одним из первых предвосхитителей диалектики.

Достаточно прочесть речь Лассаля о Фихте, произнесенную пред собранием ученых-философов (1862, 19 мая), в самые зрелые годы, за два года до смерти, чтобы понять, до какой степени Лассаль стоит на почве идеалистической философии Гегеля. Уже первые страницы речи наводят на раздумье:

„...Всякое чествование великого человека, сознательно или бессознательно, сводится всегда к самопрославлению национального духа[1]) со стороны этой нации. Да, милостивые государи, это есть мысль, самым строгим образом согласующаяся с духом самого Фихте, мысль о том, что нация вообще не может чествовать ничего другого, кроме своего собственного духа!" (Сочинения, т. III, стр. 7)[2]).

И немного дальше:

„...Мы теперь собираемся судить о Фихте не по отдельным его творениям, но по тому основному закону, который их порождает, и таким путем вскрыть перед собою дух его духа".

Уже на третьей странице мы встречаем дух во второй степени... Но такое доказательство может показаться несерьезным, и мы читаем дальше. Строится философская лестница из Канта, Фихте и Шеллинг-Гегеля, идут очень тонкие рассуждения о том, что внес каждый следующий философ в проблему о субъекте и объекте, о „я" и „не-я", рассуждения, демонстрирующие чудо популяризаторского искусства, и, наконец, идеалистический монизм Гегеля объявляется высшим философским достижением. Почти половина лекции заполнена рассуждениями в духе Фихте об особенностях немецкого народного духа, и Лассаль доходит до высшего лирического пафоса, говоря о той высокой роли, которая предстоит немецкому народному духу в ряду других национальных „духов".

„Немецкий народ не имеет никакой немецкой территории! Бесплотный дух встает над этим народом, немецким народом, — и состоит он из простой духовной сущности („бесплотный дух из простой духовной сущности" — дух в четвертой степени... *А. Б.*) и страстно томится он по реальной действительности, — и этот дух есть постулат будущего! Метафизическому народу, немецкому народу, — в силу всего его развития и в полном согласии его внутренней и внешней истории — выпала, таким образом, на долю эта величайшая метафизическая задача: это — величайшая всемирно-историческая почесть — из чисто духовного понятия о народе создать для себя национальную почву, территорию, из чистого мышления породить для себя бытие. Метафизическому народу — метафизическая задача! Это есть акт, подобный божественному акту миротворения! Из глубины чистого духа нужно не только породить данную ему реальную действительность, но даже создать самое пристанище для его бытия, его территорию!" (Там же, стр. 35).

От каждой строчки пахнет здесь Гегелем. Из глубин „чистого духа" порождается реальная действительность; из „бесплотного", „чисто-духовного" понятия о народе возникает действительный народ на действительной территории: одним словом за великолепными идеалистическими покровами, которыми облекается здесь объединительное движение в Германии, трудно и разглядеть Фердинанда Лассаля, каким привыкли его себе представлять. Такие строки мог бы написать любой буржуазный философ-идеалист, и эта идеология чрезвычайно знаменательна для той ступени рабочего движения, которую олицетворяет собою Лассаль.

[1]) Неоговоренный курсив везде принадлежит самому Лассалю.

[2]) Издание Сабашникова, СПБ. Все ссылки из I тома приведены по 2-му изданию, а из II и III томов — по 1-му изданию.

Исторический идеализм.

Можно бесконечно умножить количество цитат, подтверждающих общефилософский идеализм Лассаля, но нас гораздо более должны интересовать здесь его философско-исторические взгляды. Как представлял себе Лассаль ход исторического процесса? Что клал в его основу? Как объяснял смену исторических эпох? — После того, что мы уже о нем знаем, нас не удивит его идеалистическая позиция и в этом, основном для теории социализма, вопросе.

В статье о Лессинге („Готхольд Эфраим Лессинг") Лассаль пишет:

„...сама история превращается во внутреннее развитие самосознания... История перестает быть царством бессмыслия и произвола. Самосознание отказывается от своего чисто-отрицательного отношения к историческому и занимает теперь относительно него позицию положительную, т.-е. такую, находясь на которой оно возвышается до понимания истории, как процесса своего собственного развития. Таким образом Лессинг оказался мыслителем, положившим начало тому величайшему духовному завоеванию, благодаря которому немецкая философия достигла свой наивысшей кульминационной точки развития, — а именно, полезное начало истории, понимаемой, как саморазвитие духа" (Соч., т. III, стр. 250).

Итак, что же представляет собою исторический процесс? — „Внутреннее развитие самосознания", „саморазвитие духа", — отвечает Лассаль, и этот идеалистический ответ с обычной стремительностью провозглашает „наивысшей кульминационной точкой развития" немецкой философии. Лассаль и не скрывает, конечно, что это — не его, а гегелевский взгляд. „Если исходить из гегелевского конструктивного взгляда на историю, которого я сам по существу придерживаюсь, то..." и т. д. — пишет он Марксу в письме от 27 мая 1859 г.[1]). Итак, некий „дух", некая „абсолютная идея", развиваясь, лежит в основе всего исторического процесса. Что это за идея, как определить этот всеобщий дух, лежащий в основе истории? Лассаль никогда не отвечал на этот вопрос в такой прямой связи: он слишком тонко для этого понимал Гегеля. Абсолютная идея, абсолютный дух, стремящийся к осуществлению, к становлению для самого себя (das Fürsichwerden) во внешнем мире, в объекте, но приходящий к самосознанию, к бытию для самого себя (das Fürsichsein) — в субъекте. Вот этот абсолют, представляющий собою скорее процесс, чем явление, эта абсолютная идея — движущий центр истории. И только. Но в другой связи Лассаль не может не назвать точнее этот таинственный „дух" истории. И здесь уж трудно ему быть оригинальным. Ведь все уже указано; все прекрасные идеи, как справедливость, свобода, равенство, давно уж побывали в основе исторического процесса. И даже у современников Лассаля: справедливость — у Прудона, свобода и равенство — у Бакунина... Лассалю нечего выдумывать. И вот, мы читаем:

„История, господа, есть борьба... со всяческой неволей, в которой мы находились, когда род человеческий зачинал свою историю. Постепенное преодоление этого бессилия есть развитие свободы, которое представляет собою история" („Программа работников", т. I, стр. 31).

[1]) „Письма Ф. Лассаля к К. Марксу и Ф. Энгельсу", под ред. Финна-Енотаевского, с примеч. Мерингa, стр. 154.

История есть „развитие рода человеческого по направлению к свободе". Развитие свободы — вот коротенькое определение всеобщего духа, лежащего в основе истории. И эту мысль Лассаль последовательно проводит везде: и в учении о государстве, и в своей философии права. В своем большом юридическом труде, „Система приобретенных прав", набрасывая так называемую философию истории права, Лассаль пишет: „Культурно-исторический процесс всей истории права состоит именно в том, чтобы все более ограничивать сферы собственности отдельной личности, чтобы все большее количество объектов выводить из сферы частной собственности" (т. III, стр. 338), и дальше: „...это все прогрессирующее сокращение сферы частной собственности своим базисом имеет не что иное, как положительное развитие человеческой свободы, и только здесь, в этой сфере достигает своей истинной реализации" (стр. 346).

Итак, и здесь, в истории права, вся суть в развитии принципов, идей. История права лишь иллюстрирует упадок принципа частной собственности и в то же время рост уже знакомого нам, универсального принципа свободы. Как недалеко ушел здесь Лассаль от сенсимонистов, толковавших о падении „принципа антагонизма" и о росте „принципа ассоциации"... Мы не будем, конечно, касаться исторической правильности этого обобщения (напр., Лассаль ничего не знает о доисторическом периоде т. н. патриархального коммунизма, когда собственность была общественной, и развитие шло как раз в обратную сторону роста частной собственности...). Для нас важно установить, что и здесь—идеалистическая позиция, что и здесь—развитие „принципа" свободы.

„Сферы" общественной жизни.

Но еще любопытнее здесь то, что этот абсолютный дух, абсолютная идея лежит не только в основе исторического процесса в целом, но и в основе каждой отдельной „сферы"—Лассаль очень любит это словечко,—каждой отдельной „сферы" общественных отношений. Мы видели, как проявляется общий принцип роста свободы в „сфере" права; в „Системе приобр. прав" Лассаль проводит „параллель" со „сферой" экономических отношений, где проявляются те же принципы; часто говорит о росте свободы в „сфере" политической жизни и т. д. Здесь очень интересно и очень важно для понимания дальнейших построений Лассаля подчеркнуть, что общественная жизнь разбивается в его представлении на ряд отдельных сфер, существующих рядом, почти независимых друг от друга. Вот — экономические отношения, здесь—политическая борьба, там—правовые институты и т. д. Каждая область вполне самостоятельна, но в основе всякой „сферы" лежит один и тот же общий принцип развития некоей общей идеи, и источник всех этих сфер—тоже общий: это—народный дух (Фихте!!). Так, в предисловии к „Сист. приобрет. прав" Лассаль говорит, что

„...правовые институты являются только реализациями исторических понятий духа, только выражением духовного содержания того или иного исторического народного духа (курсив мой. *А. Б.*)... и как таковые только и могут быть понимаемы" (Т. III, стр. 272).

Характерно, что даже революцию, даже этот период ломки и созидания, заставляющий учащенно биться горячее сердце Лассаля, даже революцию освещает он, как борьбу принципов, бурьбу идей.

„...всякое революционизирование внешней действительности остается чисто внешним и построенным на песке, если духу не удается с таким же успехом освободиться из-под власти исторически-тяготеющего над ним мира духовного бытия, провести свой новый принцип чрез все свои сферы и инстанции (вот, вот... *А. Б.*) и снизнова воздвигнуть его из самого себя" (т. III, стр. 240)—так пишет Лассаль в статье о Лессинге. Даже революция лишь тогда обретает почву, когда дух (народный?) проводит чрез все „свои" сферы (сферы общественной жизни?) новый революционный принцип. В основе—революционный принцип, а на его почве—революционизирование действительности.

Итак, Лассаль—идеалист. Его философско-исторические взгляды—безграничное царство Гегеля. Великий „старик" протянул над ним свою властную руку, опутав горизонт великого пролетарского борца дымчатой сетью идеализма.

Корни лассалевского идеализма уже подрыты Марксом.

И, тем не менее, в философско-исторических взглядах Л. характерно не столько то, что он—идеалист, сколько то, что в его идеализме уже давно подточены корни. Как никак, Лассаль внимательно изучил „Коммунистический манифест" и прочитал предисловие к „К критике политич. экономии". Как никак, он тринадцать лет (1849—1862) переписывался с Марксом и научился слишком живо интересоваться экономическими кризисами...

„Я приветствую с радостью торговый кризис в Англии, о котором ты извещаешь в газете, — пишет он Марксу 24 окт. 1849 г. — Хорошо, если бы его наступление было действительно обеспечено и близко". И находит время обойти всех знакомых фабрикантов для того, чтобы написать Марксу: „В Бергском округе наступило хорошее время для фабрик, фабриканты едва успевают выполнять заказы; на Рейне происходит то же самое; точно так же и в Париже, как я слышал. Естественно, что все это ускоряет с имманентной неизбежностью новый кризис" (там же).

И недаром Герман Онкен [1]), так сочувственно похваливающий Лассаля за его „высоконравственные" идеалистические тенденции, ругательски-ругает „Программу работников", где Лассаль, по собственным его словам, дал „сжатую на 34 стр. философию истории, от средних веков до настоящего времени" („Наука и работники", т. I, стр. 47). Онкен жестоко обрушивается на то разделение исторических периодов, которые дает здесь Лассаль, с ужасом подчеркивает влияние Маркса, заявляет, что „фактическое содержание речи не выдерживает критики" и что „в наше время легко доказать, что основания Лассаля, с точки зрения исторической, национал-экономической и философской, очень шатки..." (стр. 182). Когда идеалист начинает вопить о точках зрения, и особенно—о философской точке зрения, это первый признак того, что здесь затронуты самые основы идеализма. И, действительно, всякий, прочитавший „Программу работников" не может не заметить, что здесь лассалевский идеализм—лишь непрезавойденная им оболочка, а под этой идеалистической оболочкой уже дышит прямая экономическая борьба классов. Правда, исторический процесс и здесь характеризуется, как смена различных „принципов", (землевладение, капитал, принцип рабочего сословия), но самые эти принципы,—слишком уж земного происхождения, а смена их слиш-

[1]) Г. Онкен, Лассаль как политич. деятель.

ком тесно переплетена с борьбой классов: новый принцип завоевывает все „сферы" общественных отношений не сам из себя, а через борющийся класс, приходящий к победе.

Вот эта черта составляет наиболее характерное в философско-исторических взглядах Лассаля. Исторический процесс для него—развитие духа, идеи, смена принципов и т. п. Но эта смена принципов, это развитие идей не само из себя воплощается в мире действительности: новый принцип отстаивается новым борющимся классом. Смена принципов есть в то же время смена господствующих классов. Этим самым классы лишаются своей жизненной плоти и крови и превращаются в отвлеченных носителей отвлеченной идеи. Но зато этим же самым отвлеченная идея Гегеля облекается плотью и кровью живой классовой борьбы.

В статье о формальной трагической идее своей трагедии „Франц фон Зикинген" Лассаль пишет: „Постоянная слабость всякой правильной революционной идеи, пытающейся осуществиться практически (любопытно: револ. идеи пытающейся осуществиться практически—чистое гегельянство! *А. Б.*) лежит в недостатке сознательности со стороны заинтересованных в ней классов" („Письма к Марксу" и др., стр. 130). Здесь пред нами в отраженной и сжатой форме вся философия истории Лассаля. Идеалистическая оболочка налицо: идет борьба идей, принципов, стремящихся осуществиться во внешней действительности и т. д., но тут же и классы, заинтересованные в той или другой идее. Уже есть Маркс, но еще остался Гегель. Идеи воплощаются, не сами из себя, их воплощают реальные классы, но борьба этих классов приводит не к росту производительных сил, а к торжеству новых идей. Идеализм Гегеля Лассаль соединил с теорией классовой борьбы Маркса.

В той же „Программе работников" есть поразительные места, говорящие о том, как глубоко минутами понимал Лассаль Маркса. „...первая машина (Аркрайта. *А. Б.*), несмотря на свой внешний невинный вид, сама по себе была уже революцией, потому что в своих зубцах и колесах заключала зародыш всего нового общественного порядка, основанного на свободной конкуренции; и порядок этот неизбежно должен был развиться из нее..." (т. I, стр. 14). Но было бы большой ошибкой преувеличивать значение таких мест, счесть их доказательством того, что Лассаль стоит на Марксовой точке зрения, развития производительных сил. Это—лишь отдельные прозрения, просветы мысли, столь характерные для темперамента Лассаля. Они свидетельствуют лишь об одном: в царстве Гегеля не все уже обстоит благополучно. Где-то в глубине, под блестящим идеалистическим покровом, упорно роется материалистический крот. Но, несмотря на глухие подземные толчки, то тут, то там выходящие на поверхность лассалевских произведений, несмотря на эти толчки, горизонт его сплошь задернут идеалистической пеленой, унаследованной еще от Гегеля. И лучше всего подтверждает это сам Лассаль в своей судебной защитительной речи по поводу „Программы работников":

„Взгляните на содержание этой брошюры.

„Это содержание есть не что иное, как сжатая на 34 стр. философия истории, начиная от средних веков до настоящего времени.

„Это—развитие объективного разумного процесса мысли, более тысячи лет лежащего в основании европейской истории: развертывание внутренней души, присущей исторической действительности, лишь кажущейся фактической, эмпирической: действительности, которую она (внутренняя душа истории... *А. Б.*) породила из себя, как свою собственную движущую и творящую силу. Несмотря на краткость брошюры, в ней дано точное доказательство той мысли, что история есть не что иное, как непрестанный прогресс разума и свободы, совершающийся по внутренней необходимости под покровом явлений, только кажущихся чисто-внешними и материальными" (Т. I, стр. 47).

Сомнений быть не может: здесь по-прежнему царствует „старик Гегель".

Значение обще-идеалистической позиции Лассаля.

Почему так важно было для нас в первую голову разобрать философско-исторические взгляды Лассаля? Зачем подчеркиваем мы его идеализм, зачем так долго останавливаемся на его обще-идеалистических позициях? Это станет совершенно ясно, когда мы увидим, как преломился этот идеализм во всех других, в том числе и тактических, воззрениях Лассаля и даже в его практической работе. Сколько раз восклицал он о своей вере в силу слова, в силу истины, сколько раз полагался на свое красноречие, как на величайшую движущую силу! „Господа!—говорит он во Франкфурте враждебно настроенной против него аудитории.—Я так верю в силу истины, что не удивился бы, если бы вы, придя сюда с единодушной решимостью осудить меня, вышли отсюда, единодушно одобрив меня!" (Т. II, стр. 105). Не эта ли вера в движущую силу своей логики, своего красноречия погнала его на попытки соглашения с Бисмарком? Не эта ли вера в силу идеологического „фактора" заставила его ожидать мгновенного эффекта от своей агитации и приходить в отчаяние, когда рост числа членов Вс. Герм. Раб. Союза оказался не так стремителен, как ему хотелось? А его взгляд на государство! Взгляд, из которого вытекало почти все содержание его агитации, почти все провозглашенные им лозунги... Ведь и этот взгляд—одно из типичнейших отражений общеидеалистического миропонимания, тяготевшего над Лассалем. Нельзя понять Лассаля, не уяснивши себя отчетливо его идеализма. И его роковые ошибки, и его страстная сила имеют один общий источник,—идеалистический источник.

Но где же искать причины идеалистической позиции Лассаля? Чем объяснить такое явление, что классовый вождь немецкого пролетариата оказывается в большой степени зараженным непролетарским мировоззрением?—Классовые корни этого очень ясны. Разбирая тактику Лассаля, мы будем иметь случай подробно рассмотреть соотношение классовых сил в Германии 60-х годов, и убедится в относительной слабости немецкого рабочего движения в этот период. Молодой и зеленый, только начинающий выходить на арену классовых битв, только еще начинающий осознавать свои классовые интересы в значительной степени еще только „класс в себе", немецкий пролетариат не мог сразу оторваться от идейного наследства буржуазии, растущей рядом с ним и тоже не достигшей еще поры своего расцвета, своего классового господства. Пути пролетариата во многом лежат еще рядом с буржуазией; в борьбе против федального правительства оба класса пока единодушны, и идейное влияние сегодняшнего друга сегодня еще велико, хотя уже завтра, быть может, будет сознательно отброшено. Лассаль стоит на заре немецкого рабочего движения. Все неизбежные детские болезни растущего класса ярко отражаются в мировоззрении его вождя.

II. Экономические взгляды.

(Анализ капиталистического общества.)

Что представляют собой экономические взгляды Лассаля?—Отнюдь не самостоятельную систему. Это—несколько положений, выхваченных из политической экономии, с целью построить на них свои социалистические выводы. Эта черта Лассаля, как экономиста, отчетливее всего вскрывает и сильные, и слабые его стороны. Для него политическая экономия—не объективный анализ капиталистического общества, а только резервуар положений, из которых можно черпать социалистические выводы. Он подходит к экономическим проблемам с предвзятой целью: отыскать новые аргументы для своего социалистического идеала. Этот социалистический идеал у него наперед дан, как нечто, само собою разумеющееся, а не вытекает, как у Маркса, из глубокого анализа капитализма. И отсюда следуют все достоинства и все ошибки Лассаля-экономиста. Никто лучше его не мог выхватить самые яркие моменты из политической экономии, чтобы превратить их немедленно в острое оружие социальных лозунгов и полемических ударов по врагам. Но это же стремление выхватить лишь наиболее яркое, стремление *использовать* политическую экономию для наперед поставленных целей заставляет Лассаля проглядывать важнейшие положения, установленные уже в „критике политич. экономии", и даже допускать прямые неточности и ошибки.

Теория ценности.

Известно, что Маркс начинает I том „Капитала" со сжатого изложения своей теории стоимости, уже развитой в его предыдущей работе. И мотивирует это отчасти и тем, что даже Лассаль неправильно понял ее. И действительно, у Лассаля нигде нет разделения абстрактного и конкретного труда,—этой основы всей теории стоимости Маркса. Для него важно лишь то, что ценность создается *трудом*, ибо отсюда легко строится вывод, что все ценности должны принадлежать *рабочим*. Но тонкое разделение Маркса, впервые только и дающее научную почву трудовой теории стоимости, проходит мимо острых глаз Лассаля, как нечто несущественное для *его* целей. Вместо этого он усиленно подчеркивает разделение на „индивидуальный" и „общественный" труд. Почему?—Да потому, что из понятия об общественном труде легко строится вывод и об общественном распределении продуктов труда. Но и здесь почти против воли Лассаля просовывается величайшая неточность. Оказывается, по Лассалю, что с момента зарождения товарного общества, труд из индивидуального, производившего лишь потребительные стоимости, для индивидуального потребления, превратился в общественный, производящий стоимости меновые, для потребления других. Индивидуальный труд, превратившись в товарном обществе в *общественный*, создает меновую стоимость...

Но ведь люди всегда, на протяжении всей известной нам истории, жили и работали обществами, и хотя в разных формах, но труд их был *всегда* общественным. Маркс устанавливает лишь *специфичность* общественного труда *в товарном обществе* и видит ее именно в том, что в этом товарном обществе „единичная работа становится общественной лишь в силу того, что она принимает форму непосредственной своей противоположности, форму абстрактной всеобщности" („К критике и т. д.", стр. 13). В товарном обществе общественный труд, по Марксу, принимает форму абстрактного труда и лишь как таковой—образует стоимость. Лассаль в этом посредничестве абстрактного труда не нуждается. У него стоимость создает непосредственно общественный труд, будто бы ставший таким лишь в товарном обществе. Этим самым Лассаль притягивает новый фактор, образующий стоимость. Этот фактор —„общественные взаимоотношения", изменившие характер до того индивидуального, а теперь общественного труда, и тем создавшие меновые стоимости [1]).

Одним словом, Лассаль напрасно думал, что излагает теорию стоимости Маркса. На деле его общий идеалистический подход к политической экономии, подход с предвзятым социалистическим идеалом, помешал ему проникнуть вглубь теории Маркса. Он снял лишь верхки, захватил одну поверхность, уцепился за два пункта, решающие его практическую задачу, но вовсе не решающие задачу научного обоснования трудовой теории стоимости. Мы уже подчеркнули эти два пункта и следующие из них выводы: 1) стоимость создается трудом, отсюда—стоимости должны принадлежать рабочим, и 2) в товарном обществе труд, создающий стоимость,—общественный труд, а отсюда вывод, что и распределение стоимости должно быть общественным. Первое утверждение ничего нового не вносит в теорию Рикардо, а второе—неточно и ошибочно, ибо вводит новый фактор в образование стоимости.

И был бы неправ тот, кто стал бы объяснять эти ошибки сугубополемическим характером основного экономического труда Лассаля: „Господин Бастиа-Шульце-Делич, экономический Юлиан и т. д.". Несмотря на полемический тон, вообще характерный для Лассаля, эта книжка, несомненно, подытоживает все его экономические воззрения, накопленные им за много лет.

„Железный" закон заработной платы.

Мы коснемся еще одного пункта, экономических взглядов Лассаля,—его знаменитого железного закона заработной платы. И здесь опять-таки нельзя пройти мимо той же характерной черты. Лассаль выхватывает самое яркое и боевое, способное сразу стать политическим лозунгом. Как формулирует сам Лассаль этот закон заработной платы?

„При теперешних отношениях, под господством спроса и предложения труда,—пишет он в „Гласном ответе",—рабочую плату определяет следующий железный закон: *средний размер заработной платы всегда сводится на безусловно необходимое содержание, требуемое привычками народа для поддержания жизни и для размножения*. Вот точка, вокруг которой вращается действительная поденная плата, как маятник, никогда не поднимаясь надолго выше и никогда надолго не опускаясь ниже. (Теперь следует обоснование. *А. Б.*).

„Она не может надолго подняться выше этого среднего размера, потому что тогда, вследствие улучшения положения рабочих, браки между ними стали бы чаще, усилилось бы размножение, рабочее

[1]) Все это очень полно и убедительно обосновано в превосходной книжке Т. Григоровичи, „Теория стоимости у Маркса и Лассаля, „Моск. Раб.", 1923 г.

население умножилось бы и, таким образом, увеличилось бы предложение рук, что низвело бы рабочую плату к прежнему размеру или ниже.

„Но заработная плата не может долго продержаться и ниже размера, безусловно необходимого для существования, потому что тогда наступают выселения, безбрачие, воздержание от деторождения и, наконец, уменьшение числа рабочих вследствие нищеты, что ослабляет предложение рабочих рук и потому возводит заработную плату до прежнего размера".

И затем вновь почти лирический аккорд:

„Ограничение среднего размера заработной платы пределами, по привычкам народа безусловно необходимыми для существования и размножения,—таков, повторяю, железный и жестокий закон, управляющий при нынешних обстоятельствах заработною платой" (Соч., т. II, стр. 67).

Вот основная формулировка Лассаля. Что можно сказать о ней теперь, когда мы имеем пред собою „Капитал" Маркса?—Да раньше всего, конечно, то, что сказал сам Маркс в своей „Критике Готской программы": Лассаль просто не знал, что такое заработная плата. Он считал ее стоимостью труда рабочего, между тем как она есть стоимость рабочей силы. Поэтому ему и приходилось искать объяснений тому, что „стоимость труда", производящего огромные богатства, стоит на низком уровне средств существования рабочего, и для объяснения—ссылаться на законы спроса и предложения рабочей силы. Между тем, заработная плата—вовсе не „стоимость труда"; заработная плата—это стоимость рабочей силы, а стоимость рабочей силы—само собою разумеется—есть стоимость необходимых средств существования рабочего.

Но, не поняв сущности заработной платы, Лассаль дает и весьма рискованное обоснование своему „железному закону". Конечно, нельзя никак согласиться, что именно абсолютный рост и падение рабочего населения может так механически действовать на уровень заработной платы, всегда сводя ее к минимуму средств существования. Все это обоснование вдребезги разбивается несколькими страницами I тома „Капитала" (гл. 23 п. 3 и 4). Там Маркс показывает, что процесс накопления капитала сопровождается ростом его органического состава, т.-е. относительным повышением его постоянной части и понижением переменной. И вот „отталкиваемые" этим процессом накопления рабочие руки неизбежно образуют огромную, все увеличивающуюся промышленную резервную армию, постоянно давящую своей тяжестью на уровень заработной платы. Устанавливая на основании процесса накопления капитала неизбежное образование этого относительного перенаселения, Маркс уничтожает теорию перенаселения Мальтуса и заодно лассалевское обоснование закона заработной платы. В самом деле, абсолютный рост населения перестает подстегивать заработную плату: ростом промышленной резервной армии, она и без того загнана к своему минимуму: к стоимости рабочей силы.

Вся суть этих различных обоснований вскрывается в различии выводов из этого закона. Настаивая на „железном" „жестоком" характере ужасного закона заработной платы, Лассаль ставит его в основу всех своих дальнейших построений. И выводы его не менее железные и жестокие... Экономическая борьба рабочих нисколько не может улучшить их положения. Бесполезны кооперативы: покуда их мало, они не могут повысить жизненный уровень всего рабочего класса, а как только они охватят массы,—рост рабочего населения немедленно понизит уровень заработной платы к прежнему минимуму. Не приносит

пользы и стачечное, и профессиональное движение: за ними остается лишь чисто-агитационный смысл, поскольку они повышают классовое сознание рабочих [1]). Одним словом, всякая экономическая борьба заранее объявляется бесполезной, практически-ненужной в силу „железного" закона, тяготеющего над заработной платой...

Иное дело—у Маркса. Колебания заработной платы ставятся у него в зависимость от другой силы—силы сопротивления рабочего класса. Стоимость рабочей силы, этот прожиточный минимум, определяемый и по Лассалю общими „привычками народа",—величина шаткая, и от силы напора рабочего класса зависит, какой минимум он себе отвоюет. Конечно, есть предел и этому напору,—средний уровень прибыли, от которого не отступит капиталист,—но заработная плата опустилась бы куда ниже этого высшего предела, если бы рабочие приняли всерьез „железный" характер закона заработной платы и считали бы, подобно Лассалю, напрасной тратой сил бороться за повышение зараб. платы. По выражению Меринга [2]), закон заработной платы у Маркса из „железного" становится эластичным, и тем самым экономической борьбе рабочих развязаны руки и указано содержание.

Итак, теоретические погрешности Лассаля в формулировке закона заработной платы бесспорны. И, тем не менее, нельзя не отдать ему справедливости: тактически это подчеркивание, это выпячивание перед рабочими низкого уровня их заработной платы имело громадное значение (если бы только Лассаль не делал отсюда своих выводов насчет экономической борьбы). Лучше всего другого доказывает это невероятная ярость буржуазной прессы при обнародовании „Гласного ответа". В своей речи „К рабочему вопросу" Лассаль сам именно так объясняет эту ярость: „Мне не могли простить, что я выдал вам экономический закон, управляющий заработной платой рабочих классов и оковывающий ваше существование словно железными кандалами" (Соч., т. II, стр. 87). Здесь снова лишний раз подчеркивается и слабая, и сильная сторона лассалевского идеализма.

Идеалистическое понимание экономических проблем.

Для понимания того, как отразилась общая идеалистическая позиция Лассаля в его экономических взглядах, особенно характерно не только то, что он подходит к экономическим проблемам с заранее принятым социалистическим идеалом. Самые экономические проблемы он толкует сплошь и рядом с чисто этической точки зрения. Угнетенное положение рабочего класса для Лассаля не просто неизбежное следствие капиталистического способа производства, нет, для него это—величайшая этическая несправедливость, требующая немедленного вмешательства, немедленного устранения.

„Может быть, вы думаете, господа, что вы—люди?—говорит он франкфуртским рабочим.—Вы страшно ошибаетесь!..—В экономическом смысле вы не что иное, как товар! Высокая плата умножает вас, как умножает чулки при недостатке их; а потом вас опять сбывают, количество вас уменьшают посредством понижения заработной платы, вас истребляют, как зловредных насекомых! Еще в конце прошлого столетия член Парижской академии г. Дианьер доказал исследованием

[1]) См., напр., о стачках—речь—Агитация Общ. Герм. Раб. Союза и обещание прусского короля,—Соч., т. II, стр. 350—351.
[2]) История Германской социал-демократии, т. III, гл. I, п. 6.

сорокалетнего периода в Париже и Лионе, что всякое малейшее вздорожание хлеба усиливает смертность между рабочими. Что это такое, как не голодная смерть?"

И через несколько строк восклицает:

„Теперь дело идет о том, чтобы прекратить это бесчеловечие, убедить общество в необходимости его прекращения (подчеркнуто мною. *А. Б.*), отыскать законное средство для этого!" (Соч., т. II, стр. 112—113).

Итак, рабочие—не люди, они—товар. Это—бесчеловечие. Надо немедленно убедить общество в необходимости его прекращения. Вот до чего может договориться Лассаль в горячую минуту (правда, минута во Франсфурте была действительно горяча). Надо убедить общество... Чистый рационалистический утопизм! Конечно, нельзя брать всерьез таких отдельных мест, как нельзя по одной цитате из „Программы работников" считать, что Лассаль вполне стоит на марксовой точке зрения развития производительных сил (см. в этой работе гл. I, п. 3). Но это место ярче множества других иллюстрирует чисто-этическую точку зрения Лассаля при освещении экономических проблем.

Что же представляет собою Лассаль, как экономист? Сам Лассаль говорил, что в экономических вопросах следует Марксу. Мы видели, что это не совсем так. Если в экономических взглядах Лассаля и сквозит Маркс, то в решающих местах это—Маркс, недодуманный до конца. И, повидимому, именно идеалистическая закваска и не давала Лассалю до глубины понять положения великого экономиста. Если в царстве Гегеля, в области философско-исторических взглядов Лассаля, корни были уже подточены Марксом, то в области экономических проблем Гегель платит Марксу той же монетой...

III. Теория государства.

Итак, каковы же выводы Лассаля из анализа капиталистического общества?—Положение рабочего класса безотрадно; отношение к нему капиталистов—бесчеловечно. Необходимо действовать, немедленно действовать. Но как? Кооперативы Шульце-Делича помочь не могут; стачки по существу бесполезны; вообще экономическая борьба не имеет смысла, ибо все ее результаты будут немедленно сведены к нулю „железным и жестоким" законом заработной платы. Где же искать выхода?

И вот, в „Господин Бастиа-Шульце и т. д." Лассаль пишет:

„[Понятна]... ненависть буржуазии к государству,—не к известному государству, а к понятию государства вообще (здесь намек на фритредеров, на манчестерскую школу. *А. Б.*)... так как в государстве рабочие все еще рассматриваются как люди, тогда как в буржуазном обществе, где царит закон свободной конкуренции, они, как и все остальное, рассматриваются только с точки зрения стоимости издержек производства, только как вещь" (Соч., т. III, стр. 179).

Итак, вот куда забрасывается спасительный якорь. Отношение государства к рабочим кажется Лассалю более „человечным", чем отношение к ним капиталистов.

„В политическом отношении,—говорит он дальше,—рабочий, как и раньше, управляем, но в общественном он превратился в вещь.

„Из этого общественного положения нет, поэтому, выхода общественным путем (здесь разумеется—экономическим путем. *А. Б.*). Тщетные усилия вещи сделаться человеком—английские стачки,

печальный исход которых достаточно известен. Поэтому единственный исход рабочим открывается при посредстве той сферы (снова наша старая знакомая—„сфера". *А. Б.*), в которой они еще считаются людьми, т.-е. при посредстве государства" (ibid., стр. 181, примеч.).

Теперь все становится ясным. Мы уже знаем, что у Лассаля есть много разных „сфер", хотя все они проникнуты одним общим „принципом". Так вот, на этот раз о принципе не говорится, говорится только о сферах, о различных сферах. Одна—это сфера общественных отношений, сфера гражданского общества, где рабочий совершенно обездолен и где спасения никакого нет. Другая—сфера политическая, сфера государственной власти, где рабочий еще сохраняет какие-то человеческие права, рассматривается как человек, а не как вещь [1]). Здесь-то и скрыто спасение. Сюда и надо направить усилия и надежды. Государство, государственная власть—вот кто может „спасти" рабочий класс.

Государство и его вечные задачи.

И вот, создается возвышенная теория государства, приводящая в восторг уже цитированного нами Онкена. Что такое государство?

„Государство есть такое единство личностей в одном нравственном целом, единство, умножающее в миллионы раз силы всех отдельных личностей, входящих в это единение, бесконечно увеличивающее индивидуальные силы каждой из них" („Прогр. раб.", т. I, стр. 31—32).

Итак, бледнеют и уходят на задний план классы, забыта их борьба пред сияющим понятием государства. Земные дрязги не касаются его. Смена общественных форм не трогает его. Государство есть объединение личностей „в одном нравственном целом", некое высшее единство всех личностей и классов, умножающее силу каждой из этих личностей (как не вспомнить теорию прибыли Прудона, по которой прибыль—продукт массового труда, продукт единства трудящихся, а не отдельных работников!..). Государство—это объединение человечества, необходимая „общественная связь" между людьми, которые без государства, без этой общественной связи „бродили бы как звери" (см. воззвание „К берлинским работникам", т. II, стр. 271).

Но каково же назначение, какова цель государства? О, она, конечно, еще более возвышенна, еще более нравственна!

„... Цель государства—положительно развивать и неустанно совершенствовать человеческое существо; другими словами,—осуществлять в действительности назначение человека, т.-е. культуру, к которой человеческий род способен".

И далее заключительный аккорд:

„Цель государства—воспитание и развитие человечества по направлению к свободе" (т. I, стр. 32).

---

[1]) Необходимо отметить, что и в этом пункте цельность построений Лассаля нередко нарушается под сильной работой марксистского крота. Так, в „Программе работников" можно встретить места, свидетельствующие о том, что Лассаль как будто разделяет взгляды Маркса на зависимость политической и других „сфер" от экономических отношений. И тем не менее, как мы видим, такие места остаются у Лассаля случайными просветами, а в решающих местах пред нами оказываются разъединенные „сферы" общественных отношений. Особенно интересно здесь привести цитату из той же самой „Программе работников": „В противоположность как крестьянскому, так и дворянскому движениям, одна лишь стремящимся еще последовательнее прежнего утвердить участие в госуд. управлении на земледелии,—в противоположность им обоим начавшая развиваться княжеская власть, как представительница идеи государственного суверенитета, независимого от земельной собственности, как защитница государственной идеи, независимой от частных имущественных отношений, представляла собой явление сравнительно справедливое и революционное" (т. I, стр. 5) (Последний курсив мой. *А. Б.*).

Да, Онкен имеет все основания называть лассалеву идею государства—„высоко-нравственной“ и высоко-„этической“. В самом деле, ведь весь смысл, вся суть исторического процесса заключается в развитии идеи „свободы“. И прямое назначение государства—осуществлять этот божественный дух истории, воспитывать и развивать „род человеческий в направлении к свободе“. Более высокого назначения нельзя и придумать, с точки зрения Лассаля.

Итак, все увязано очень чисто. Рост принципа свободы обеспечивается не только заинтересованностью в этом борющихся классов; это—лишь там, в низшей сфере гражданского общества; там великий принцип исторического процесса осуществляется просто классовой борьбой. Но есть и иная сфера—сфера политическая, и здесь прямым проводником этого высшего принципа является государство. Правда, мы скоро убедимся, что и в этой сфере классовой борьбе отведено свое место, но место чисто подчиненное, служебное. В общем, все увязывается очень чисто, и идеализм весьма последовательно и прочно угнездился и на этом решающем участке социологических взглядов Лассаля.

Апогей идеализма.

Прямая связь с общеидеалистическими взглядами Лассаля здесь сразу кидается в глаза. Любопытно не только то, что государству ставится некоторая вечная задача—постоянно направлять человечество к свободе,—а значит, увековечивается и самое государство. Любопытно еще и то, что государство отрывается от своей классовой основы, возносится ввысь, становится особым надзвездным миром, способным произвольно воздействовать на общественные отношения.

„Вы видите, господин Шульце, вся ваша мещанская мразь существует только по милости полиции, которую ей доставляет государство!

„Горе ей (мещанской мрази. *А. Б.*), если оно в один прекрасный день иначе посмотрит на дело!“ (т. III, стр. 203).

Так пишет Лассаль в книге „Господин Бастиа-Шульце и т. д.“. Достаточно государству „иначе посмотреть на дело“, и тогда—горе мещанам и буржуазии!

Но нужно, чтобы государство иначе посмотрело на дело. Нужно склонить на свою сторону государство. И тут-то выступает иная сторона медали. Из-за спины Лассаля-теоретика выступает „практик“ Лассаль, тот самый, который в 15-летнем возрасте писал в своем дневнике: „(29 февр.). Купил у Пиёка перочинный нож за $7\frac{1}{2}$ зильбергрошей и хотел продать его матери за 10. Она обещала мне только 5“. А через две недели (!) 15 марта: „В пятницу мне удалось продать матери свой перочинный нож за 10 зильбергрошей. $2\frac{1}{2}$ гроша барыша!“[1])

Да, так вот из-за спины теоретика выступает Лассаль-практик, и оказывается, что все конституции—не больше, как клочок бумаги, что праву, как это ни печально, предшествует сила, что „фактические отношения силы определяют конституцию государства“ (речь „О сущности конституции“). И отсюда прямой вывод: рабочему классу надо организоваться в мощную силу, и тогда он завоюет право.

Скажут: но ведь отсюда один шаг к классовой теории государства! Да, конечно. Но этого последнего шага Лассаль и не делает. Прямая классовая борьба за право, прямая борьба классовых сил за конституцию уживается у него с чисто-идеалистической теорией государства. Каким образом?—Да очень просто. Лассаль нигде не говорит о классовом завоевании государства, о подчинении государства

[1]) Ф. Лассаль, Дневник, изд. Звонарева, СПБ. 1901, стр. 112 и 118.

классовым интересам. Скорее наоборот, борьба классов играет лишь служебную роль для выполнения государством его высоких задач. Новый класс приносит с собой новую „идею“ государства, и если эта идея подвигает государство вперед по пути к свободе, то она—революционная, и она победит. Вся суть и здесь в движении „по направлению к свободе“, в росте этой великой идеи исторического процесса, а борьба классов лишь служит этому движению; каждый новый революционный класс потому и революционен, потому и победит, что приносит с собою новый, более высокий взгляд на государство, новую конституцию государства, облегчающую общее движение к свободе.

Точно так же связывал Лассаль и свои философско-исторические взгляды с теорией классовой борьбы, в результате—соединяется несоединимое, уживаются рядом величайшие противоположности... Абсолютная идея в основе исторического процесса,—и классы, в борьбе за свои экономические интересы способствующие росту этой абсолютной идеи. Вечное назначение, вечные цели государства,—и вереница классов, сменяющих друг друга в борьбе за это государство, но в общем лишь приспосабливающих государство к осуществлению его целей... Общий идеализм—и зародыши материалистического понимания истории, гегельянство—и Маркс.

Во всем этом возвеличении государства сказывается, между прочим, и еще одна особенность Лассаля—преобладание в нем юриста, его юридическая эрудиция. Бесчисленные процессы, которые пришлось ему вести на своем веку, и за себя, и за графиню Гатцфельд, и за старика Гейне (Л. оказал большую услугу престарелому поэту), не могли не отразиться на его умственном облике; его большая юридическая работа „Система приобретенных прав“—заставила его основательно изучить всю область теоретического права. И некоторый юридический налет—часто к невыгоде Лассаля—покрывает почти все его произведения. Очень любопытно сказывается это в тех местах защитительных речей Лассаля, где он с особой, присущей ему искренней яростью обрушивается на нарушения права то прокурором, то судом, и даже самим королем, самовольно нарушившим прусскую конституцию 1848 года. И трудно разобрать, да и сам Лассаль, наверное, не всегда давал себе отчет, где это было просто риторическим приемом, а где—искренним негодованием против „правонарушителей“. Даже самому революционизированию права Лассаль в своей „Системе приобрет. прав“ ищет основания не в классовой борьбе, и не в экономической необходимости, а из самой теории права пытается вывести „право“ его революционизирования. Юрист в Лассале всегда преобладал над экономистом. Это сказалось прежде всего в его теории государства, но не менее интересно и то правовое определение, которое он дает понятию „буржуа“.

„Капиталист, господа, сам по себе вовсе еще не буржуа!“—говорит Лассаль в „Программе работников“...

„Нет ничего проще, естественнее и законнее (и законнее! *А. Б.*), когда капиталист, сидя у себя дома, наслаждается удобствами и выгодами, которые в избытке доставляет своему обладателю большое имущество...

„... Но если капиталист, не довольствуясь фактическими преимуществами богатства, хочет еще выставить свое богатство, капитал условием участия в государственной власти, в определении воли и цели государства,—тогда он обращается в буржуа, тогда он превращает факт владения в правовое условие политической власти, тогда он выказывает себя новым привилегированным сословием в народе“ (Соч., т. I, стр. 17).

Итак, „совершенно невинный и безобидный факт более крупного владения“ (т. I, стр. 67) еще не создает буржуа. Буржуа, это—тот, кто этот факт владения превращает в правовое условие участия в политической власти. Правовое определение здесь прямо бьет в глаза. Вообще Лассаль, как это было обычно в его время, не делал различия между понятиями сословие и класс. И если, говоря о рабочем „сословии“, он разумел в действительности рабочий класс, то, говоря о классе буржуазии, он, как мы теперь видим, всегда хотел сказать: сословие буржуазии. Только правовые привилегии создают буржуазию—вот мысль Лассаля, прямо противоположная мысли Маркса, считавшего, что с буржуазной революцией навеки уничтожены сословия. Это правовое определение чрезвычайно характерно для Лассаля-юриста. И во всем этом юридическом налете нельзя не видеть остатков чуждой идеологии, тяготевших в то время над молодым германским пролетариатом.

Но каковы же главные выводы Лассаля из его теории государства? — Экономическая борьба бесполезна; только государство может дать освобождение рабочему классу. В своей политической борьбе рабочий класс должен победить, ибо его принцип, принцип рабочего класса—принцип более высокий, принцип революционный, а его взгляд на государство делает новый шаг вперед „по направлению к свободе“.

IV. „Идея рабочего сословия“.

В чем же состоит этот новый принцип, эта „идея“ рабочего класса, или рабочего сословия, как чаще выражался Лассаль?

Новый взгляд на государство.

Да прежде всего в том, что именно рабочий класс впервые осознает настоящее призвание государства. То призвание, которому государство до сих пор служило бессознательно, при господстве идеи рабочего сословия станет осознанным, сознательным. Если в представлении буржуазии государство—это ночной сторож, охраняющий граждан от разбоя и грабежа, то по идее рабочего сословия государство сознательно становится тем, что оно есть: единением всех личностей на пути к свободе.

Всеобщее избирательное право.

Но как достигает рабочее сословие осуществления высокой нравственной цели государства? —Взамен политического „принципа“ буржуазии—имущественного ценза, рабочее сословие выдвигает новый политический „принцип“: всеобщее избирательное право. Этим самым все без исключения граждане привлекаются к участию в политической власти, что и составляет высшее развитие принципа свободы. Только такое государство, в своей высшей форме, может улучшить положение рабочих.

„...Берлинские работники, — обращается к ним Лассаль в своем воззвании,—разве я указывал вам на помощь нынешнего, полицейского государства? Я обращал вас к помощи государства будущего, в котором будет господствовать всеобщее и прямое избирательное право, стало быть, государство, которое будет представлять высшее развитие свободы и состоять под державой всего народа“. (Соч., т. II, стр. 271).

Итак, вот в чем суть. Государство будущего, это—демократическое государство. Всеобщее и прямое избирательное право, это—высшее развитие свободы, величайшее проявление всеобщего исторического духа в „сфере“ государства. И вот, на долю рабочего сословия выпадает высокая миссия: сделать этот свой принцип господствующим принципом века.

„Высокая всемирно-историческая честь такого предназначения должна преисполнить собою все ваши помыслы,—говорит Лассаль рабочим.—Пороки угнетенных, праздные развлечения людей немыслящих, даже невинное легкомыслие ничтожных,—все это теперь недостойно вас. Вы—скала, на которой созиждется церковь настоящего!“ („Прогр. работников“, т. I, стр. 33).

Нравственное стремление к прогрессу.

И в связи с этим выступает третья сторона „идеи рабочего сословия“, ее высокое нравственное содержание. Личные интересы буржуазии влекут ее назад, к ограждению своих несправедливых привилегий, к угнетению низших классов, к упадку свободы. Личные интересы рабочего сословия влекут его вперед, к общей свободе. В „Прогр. раб.“ Лассаль пишет:

„Личный интерес (рабочих) не только не сталкивается с историческим движением и не осуждается, благодаря этому, на безнравственность, но, наоборот, совпадает по своему направлению с развитием всего народа, с победой идеи, с прогрессом культуры, с самим жизненным началом истории, которая есть не что иное, как развитие свободы“ (Т. I, стр. 29).

Любопытно, какие слова Лассалем подчеркнуты: народа, идеи, культуры, свободы... Как ярко проникнута идеализмом—даже по фразеологии—почти каждая его страница!

Итак, вот что такое „идея рабочего сословия“: высокое почитание государства, всеобщее избирательное право и нравственное стремление к прогрессу идеи культуры и прочего. Чрезвычайная бедность, бессодержательность такой формулировки конечных лозунгов рабочего движения для социалиста XIX века бросается в глаза. Но экономические произведения Лассаля показывают, что он не был чужд и иных основных лозунгов социализма. Под блестящей бессодержательностью его собственных идеалистических построений прекрасно угнездились и основные идеи научного социализма. И лучше всего доказывает это ряд мест из его работы „Господин Бастиа-Шульце и т. д.“. Так, в четвертой главе он касается вопроса о собственности. Любопытны его соображения о том, что буржуазная собственность, это—анархический социализм; социализм потому, что распределение собственности уже в капиталистическом обществе зависит не от отдельного человека, а от общественных отношений.

„Каждое событие в Турции или Мексике,—говорит Лассаль,—война или мир,—да не только война и мир! нет,—каждое проявление „общественного мнения“, болтовня журналистов, обманная депеша, заем в Париже или в Лондоне, урожай на Миссисипи, золотые россыпи в Австралии—короче, каждое объективное событие, чисто объек-

тивные движения общества, как такового, происходят ли они в политической, финансовой, меркантильной и проч. „сферах“ (кавычки мои. *А. Б.*),—ежедневно определяют и устанавливают на бирже мое и твое индивидуумов“ (Соч., т. III, стр. 193).

А социализм хочет вовсе „не уничтожить собственность, а, наоборот, впервые ввести индивидуальную собственность, собственность, основанную на труде“ (стр. 194).

И вот, можно подумать, что Лассаль и в самом деле предполагает передать в индивидуальную собственность (хотя бы и основанную на труде)—и средства производства. Но это—лишь одна из обычных неточностей Лассаля, как экономиста. На следующей же странице (195-й) он пишет:

„Требуется... во всем производстве устранить индивидуальные средства производства,—так как именно они приводят к вышеизложенному захвату дохода производства предпринимателем, при чем в его руках остается весь избыток над средствами, необходимыми для поддержания жизни,—и вести и без того общую работу на общие же средства, а доходы производства распределять между всеми его участниками сообразно работе каждого“.

Итак, Лассаль требует обобществления средств производства, но считает необходимым все „доходы“ производства распределять между рабочими сообразно затраченному труду. В другом месте („Гласный ответ“, т. II, стр. 73) он выставляет еще более резкую формулировку, ставшую после одним из основных лозунгов лассальянцев: „вознаграждением труда должен быть—продукт труда!“.

Известна уничтожающая критика Маркса и самого понятия „доход производства“, и лозунга о продукте труда („Критика Готской программы“). Известен длинный перечень того, что нужно „вычесть“ из продукта труда прежде, чем можно будет приступить к его „разделу“ между производителями.

Наша задача здесь, конечно, не повторять эту убийственную критику, но установить, что же говорил Лассаль о будущем обществе, при господстве „идеи рабочего сословия“. Выводы довольно бедны. Пламенный трибун не имел времени говорить о далеком будущем. Обобществление средств производства, распределение сообразно затраченной работе, продукт труда—рабочему, вечное государство с всеобщим избирательным правом и высокое развитие идей, культуры, свободы и прочего—вот то немногое, о чем он говорит.

V. Стратегия рабочего класса (переходные меры).

Под заголовком „Программы работников“, первого печатного выступления Лассаля по рабочему вопросу, стоит такое пояснение: „Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“. Идее рабочего сословия суждено стать „господствующей идеей века“, и потому весь современный исторический период связан с этой идеей рабочего сословия. Но как действовать рабочему сословию? Как добиться торжества своей идеи? Каковы те общие переходные меры, тот общий стратегический план, который необходим для действия?

Всеобщее избирательное право.

Уже и до прямой постановки этого вопроса легко было почувствовать, что основной стержень, гвоздь „идеи рабочего сословия“—это всеобщее избирательное право. Заканчивая свой „Гласный ответ“, Лассаль пишет:

„Вся тайна практических успехов состоит в искусстве сосредоточивать все свои силы на одном пункте, на важнейшем пункте, не отвлекаясь по сторонам. Не заглядывайтесь ни вправо, ни влево; будьте глухи ко всему, что не всеобщее и прямое избирательное право или что не связано с ним и не может вести к нему! ...Вот знамя, которое вам следует поднять. Вот знамя, под которым вы победите, и другого для вас нет!“ (Соч., т. II, стр. 85).

Всеобщее избирательное право, главный стержень „идеи рабочего сословия“, оказывается в то же время и основной переходной мерой, главным стратегическим пунктом, на котором рабочему классу надо прежде всего сосредоточить все свои усилия. Почему? С точки зрения Лассаля это совершенно последовательно и понятно. Государство – основная сила в историческом движении к свободе. Лишь при посредстве государства может рабочее сословие ожидать облегчения своей участи. Но сейчас государство проникнуто отсталым принципом буржуазии: имущественным цензом. И вот, первая задача логически ясна: принцип рабочего сословия, всеобщее избирательное право, должен стать господствующим в государстве. Это—первый ключ, открывающий широкую дорогу. Это—первая и главная из „сфер“, которые должен завоевать новый принцип. Лишь после этой победы, с помощью государства, „принципиально“ уже завоеванного, идея рабочего сословия зашагает победным маршем по другим „сферам“.

И вот, пред нею—сфера экономическая. Лассаль подошел к „изюмине“ рабочего вопроса: что-то он скажет, как разрешит задачу? Захват орудий производства? Экспроприация экспроприаторов?—Нет, отвечает Лассаль: „рабочий никогда не должен забывать и никогда не забудет, что всякая собственность, однажды законно (!) приобретенная, неприкосновенна и правомерна (!)“ (Соч., т. I, стр. 17).

Производительные ассоциации с государственным кредитом.

Да, не захват и не экспроприация. Но что же? Как же? У Лассаля готов рецепт: производительные ассоциации с государственным кредитом.

Что это такое? Что это значит?—Надо сделать рабочее сословие „своим собственным предпринимателем“. Рабочие этих новых ассоциаций должны быть сами их владельцами. И весь „доход“ от предприятий будет делиться между рабочими—участниками производства. Тем самым и будет осуществлено требование, чтобы вознаграждением труда был продукт труда. А частные предприятия? а капиталисты? —А они постепенно будут вытеснены рабочими ассоциациями с гос. кредитом. Почему будут вытеснены?—Да потому, что новые ассоциации будут обладать в конкуренции огромными преимуществами. В чем же эти преимущества?

Раньше всего, — более высокая производительность труда работников ассоциации, лучше обеспеченных и лично заинтересованных в своем предприятии. Во-вторых, кредитный и страховой союз всех рабочих ассоциаций, объединяющий их в одну цельную организацию, меньше подверженную риску и более устойчивую в превратностях конкурентной борьбы. В-третьих, производительные ассоциации будут постепенно избавляться от опасности перепроизводства к кризисов, ибо по мере того, как будет расширяться их число, они заведут „научную статистику потребностей в производстве". В-четвертых, концентрация производства в больших производительных ассоциациях приведет к недостижимой до тех пор дешевизне продуктов и чрезвычайно увеличит богатство общества (мы берем тот порядок, какого придерживается Лассаль в „Господин Бастиа-Шульце и пр.", глава 4). В-пятых, крупные земледельческие ассоциации позволят быстро производить технические улучшения в сельском хозяйстве. В-шестых, исчезнут ненужные расходы на „анонсы, рекламу, назойливых коммивояжеров, обманные этикеты, фальсификацию, плату газетным сотрудникам, подкуп и пр., и пр., и пр." (т. III, стр. 206), исчезнут потому, что рабочий органически не способен обладать „спекулятивным талантом" буржуазии, а эти ее таланты не помогут ей в борьбе с дешевизной продуктов ассоциации, „как хитрости и изворотливости лисы не помогают против удара львиной лапы" (стр. 205). В-седьмых, так как масса рабочих превратится, наконец, в платежеспособных потребителей, то и направление производства станет регулироваться вкусами рабочего класса: стало быть, станет производиться только полезное и красивое, а не дорогое, которое производилось буржуазией лишь потому, „что оно дорого, и, следовательно, в нем, хотя бы оно было бесполезно и некрасиво, выступает напоказ богатство владельца" (стр. 206); это новое направление производства приведет к огромным сбережениям общественного труда. В-восьмых, огромные ассоциации при поддержке государства смогут браться и за совершенно новые предприятия, на которые никогда не рискнет отдельный капиталист, хотя бы они сулили огромные выгоды народу; например, использование мяса техасских буйволов или плодов хлебного дерева... В-девятых... „но иногда можно завести чересчур далеко теоретические доказательства" (стр. 208), — спохватывается сам Лассаль, обрывая на этом длинный перечень преимуществ производительных ассоциаций.

Государственный кредит.

Но почему необходим государственный кредит? Окажется ли он по силам государству? Откуда возьмет государство необходимые средства? И не окажется ли впоследствии губительным для ассоциаций давление государства-кредитора?

Лассаль страстно возражает против манчестерской теории „невмешательства государства". Ей не следует даже сама буржуазия, не раз пользовавшаяся гос. кредитом, хотя бы для постройки железных дорог. У рабочих нет средств именно для почина, для организации первых своих ассоциаций. Нужно дать им первый толчок, и через несколько лет число ассоциаций умножится уже само собою, а полученный кредит будет выплачен без всякого труда. И сумма не велика. Лассаль рискует даже выставить цифру — 100 миллионов талеров. Откуда ее добыть?— Это очень легко сделать простыми финансовыми кредитными операциями. Но пусть даже государству надо „прямо вынуть и положить эти 100 миллионов. ...Не было еще ни одной войны, которая не стоила бы вдвое, а за что только не велись войны! ...На всё находили эти 100 миллионов и вдвое — на удовлетворение всякого ничтожного интереса имущего класса, всякой фантазии государей; только когда зашло дело о спасении человечества,— денег не оказывается!" („Книга для чтения рабочим", Соч., т. II, стр. 138).

Но не окажутся ли ассоциации в прямой зависимости от государства? — Нисколько, — говорит Лассаль. Буржуа и теперь сплошь и рядом заключают такие кредитные договоры, а разве это лишает их самостоятельности? Государство будет иметь лишь обычные права кредитора, нисколько не стеснительные для ассоциации. Наконец, ведь это будет не нынешнее полицейское государство, а государство при всеобщем избирательном праве!

Одним словом, возражения рассыпаются в прах. „Я требую от государства только мизинца! — заключает Лассаль.—Из него все остальное развилось бы органически, само собою, творческой силой жизни. Через 50 лет после этой меры наш мир был бы неузнаваем!" (Соч., т. II, стр. 147).

„Врастание" социализма.

Через 50 лет!.. Производительные ассоциации—„еще не решение социального вопроса". Для окончательного преобразования мира Лассаль устанавливает срок в 50 лет—громадный срок для его „громадного" темперамента. И в других местах он часто подчеркивает, что окончательное преобразование „требует работы многих поколений". Производительные ассоциации—лишь „самая легкая переходная мера", они представляют собою „органическое горчичное зерно, неудержимо побуждающее к дальнейшему развитию и распускающееся само собою" (т. III, стр. 195). Одним словом, здесь медленное „врастание" социализма в капиталистическую действительность, как выразились бы в наше время.

Итак, вот каковы основные пункты стратегии рабочего сословия. Все усилия сосредоточить на том, чтобы добиться всеобщего и прямого избирательного права, а затем—потребовать у государства кредит для организации массовых производительных ассоциаций. Дальше все разовьется само собою, и „идея рабочего сословия" воплотится во всех „сферах" общественной жизни.

Стратегический план Лассаля с вышки XX столетия.

После опыта нашей революции, конечно, очень легко критически оглядеть стратегический план Лассаля и отделить в нем пшеницу от плевелов. Мы уже не можем верить, подобно Лассалю, что всеобщее избирательное право могло бы подчинить государство интересам рабочего класса, и потому весь его стратегический план превращается в утопию. Мысль о государственно-объединенных крупных производительных ассоциациях рабочего класса, вступающих в победоносную борьбу с частным капиталом, в условиях Германии 60-х годов, была бы, конечно, единственно возможной мыслью, если бы лассалевское „государство будущего" действительно могло быть пролетарским государством. Но утопизм всего его плана в том и состоит, что он предполагал внедрение своих ассоциаций в незатронутой революцией капиталистической действительности. И

недаром в начале 1862 г. Бухер писал в письме к Лассалю: „То, что вы хотите поставить на место буржуазного порядка, меня не удовлетворяет. Все указываемые вами меры носят... юридический характер, они стоят на старой социальной почве, создают лишь новых буржуа" (цитир. по Мерингу, т. II, стр. 303—304). Вся слабость лассалевского плана—в том, что он стоит „на старой социальной почве". То, что Лассаль по своей идеалистической теории считал наивысшим резолюционизированием государства, всеобщее избирательное право, только на словах могло быть революцией р а б о ч е г о „сословия". Почва оставалась старая, буржуазная, а потому и „производительные ассоциации" превращались в утопию.

Впрочем, вряд ли имеют какую-либо историческую ценность подобные оценки с вышки двадцатого столетия. Для нас важно здесь лишь отчетливо установить суть стратегического плана Лассаля, имея в виду, что больше десятилетия план этот был знаменем доброй половины немецкого рабочего класса, а в 1875 году вошел даже и в Готскую объединительную программу в следующих словах:

„Немецкая рабочая партия для подготовления решения социального вопроса требует учреждения производительных товариществ с государственной помощью под демократическим контролем рабочего народа. Производительные товарищества должны быть вызваны к жизни в промышленности и земледелии в таком числе, чтобы из них возникла социалистическая организация всего труда" (цитир. по „Критике Готской программы").

Обе основные идеи Лассаля пустили глубокие корни в немецком рабочем движении. И как бы к ним ни относиться, но надо иметь в виду, что это — основное лицо Лассаля, как социалиста. Страстное выдвигание на первый план п о л и т и ч е с к о й б о р ь б ы за всеобщее избирательное право и вера в чудесную силу п р о и з в о д и т е л ь н ы х а с с о ц и а ц и й с государственным кредитом — это основное, что внес Лассаль в историю немецкого рабочего движения.

Лассаль и Луи-Блан.

Для историка социализма замечательное явление, которое никак нельзя обойти молчанием, составляет то необыкновенное сходство, которое проявляется в теоретических взглядах Лассаля и французского социалиста Луи-Блана. Лассаль справедливо мог протестовать против смешения его производительных ассоциаций с национальными мастерскими 1848 г., организованными при участии Луи-Блана. Но если такова оказалась практика Луи-Блана, то его т е о р е т и ч е с к и е взгляды чуть ли не во всех пунктах предвосхищают построения Лассаля. Не только в-ра в демократическое государство с всеобщим избирательным правом, не только проект производительных ассоциаций с государственным кредитом, но и общая идея сотрудничества классов и даже общ-исторический идеализм целиком находим мы у Луи-Блана, подча: даже в сходной ф-рмулировке. Несмотря на это поразительное сходство, здесь, без сомнения, нет и тени заимствования. Но в смысле социального анализа эта аналогия наводит на много очень любопытных сопоставлений.

Не будем говорить об относительной незрелости французского пролетариата 30—48-х г.г., примерно соответствующей незрелости немецкого—60-х г.г.: в социальной структуре Франции и Германии указанных годов, несмотря на существенное различие, несомненно, есть очень много общего, в особенности — применительно к относительным силам рабочего класса. Но любопытно и другое.

Социализм, как теоретическое учение, возникает, как известно, очень рано, перемешиваясь частью с веяниями другого порядка. В эпоху торгового капитала и позже, в предпролетарский период, социализм, как учение, возникает в среде интеллигенции, главным образом, мелко-буржуазного, а иногда—и крупно-буржуазного происхождения. Напр., Винстэнли, Веррас, Ж.-Ж. Руссо, Сен-Симон, одно время сам — неутомимый предприниматель-спекулянт, наконец, Ш. Фурье и Р. Оуэн. Такое происхождение не может не сказываться на характере этих учений, и наследство это долгое время тяготеет на идеологах выросшего пролетариата [1]). Рабочий класс не сразу скидывает с себя эти „социалистические" традиции, не сразу может избавиться от этого прошлого.

В таком идеологическом наследии чуждого класса, переходящем к пролетариату как путем совместной борьбы с буржуазией против феодального государства, так и отраженным путем унаследованных мелко-буржуазных социалистических теорий, можно видеть классовый источник и объяснение многих теоретических и тактических уклонов различных вождей вырастающего рабочего движения. И тогда не покажется столь удивительным, что нередко в разных странах, а иногда даже в различной социальной обстановке, уклоны эти—одни и те же...

VI. Тактика Лассаля.

Итак, общий стратегический план готов. Как же его проводить на практике, с чего начать, как действовать в окружающих конкретных условиях, как наметить т а к т и к у движения?

Общественные корни тактики Лассаля: Германия к началу 60-х годов.

Для всякой тактики основой служит та обстановка, в которой приходится действовать, а основой с о ц и а л ь н о й обстановки служит соотношение классов. Каково же было соотношение классовых сил в Германии к началу 60-х годов, когда Лассаль начал свою агитацию?— Германская промышленность только начинала развиваться, хотя и семимильными шагами. В городах все еще численно преобладающим слоем были ремесленники, хотя и эксплоатируемые уже со всех сторон растущим торговым капиталом и выбиваемые из колеи развивающейся промышленностью. По данным, которые приводит Меринг („Ист. герм. с.-д.", т. III, гл. I), в Пруссии насчитывалось всего $^3/_4$ миллиона фабричных рабочих и свыше 1 миллиона ремесленников. А Пруссия была одним из самых промышленных „государств" раздробленной Германии. Если взять в совокупности Пруссию, Саксонию, Кургессен, Баварию, Вюртемберг и Баден, то во всех этих государствах насчитывалось меньше $1^1/_2$ милл. фабричных рабочих и 2 милл. ремесленников. При чем фабричные рабочие—это в большинстве тоже недавние ремесленники, а 2 миллиона ремесленников полны самой ожесточенной ненависти к растущей фабричной промышленности и ненависть эту стихийно переносят и на фабричных рабочих. Но еще любопытнее сравнить цифры по городской промышленности с цифрами по сельскому хозяйству. В Пруссии, с ее 17 миллионами населения (см.

[1]) Мысль эта целиком принадлежит проф. В. П. Волгину.

Соч. Лассаля, т. II, стр. 118), рабочих и ремесленников, вместе взятых, было $1^3/_4$ миллиона, а рабочих, занятых в сельском хозяйстве,— $3^1/_2$ миллиона. Здесь характерно не только то, что сельско-хоз. пролетариат, далекий от городских рабочих, используемый помещиками в их интересах (особенно впоследствии, при избират. кампаниях) и настроенный почти враждебно к городу, ровно вдвое превосходил по численности обе группы городских работников, вместе взятые. Здесь любопытно и то, что за вычетом всех этих трех групп работников, составлявших вместе $5^1/_4$ милл. человек, оставалось еще почти 12 миллионов населения! Как они дробились в классовом отношении? Львиную долю их составляли, конечно, крестьяне и за ними—армия торговой и промышленной буржуазии. А всю власть в стране все еще крепко сохраняло за собой феодальное дворянство, выдвинувшее из своей среды такого государственного гения, каким был Бисмарк. Вот, примерно, соотношение социальных сил в Пруссии, а соотношение это характерно и для всей Германии, ибо Пруссия и Саксония были уже в то время наиболее передовыми промышленными областями страны.

Выводы из всего этого анализа бросаются в глаза. Совершенно молодой, зеленый и ничтожный по численности класс фабричных рабочих утопает в массах разнообразных классовых группировок, в большинстве почти враждебно к нему настроенных. А над этой пестротой социальных сил, без труда используя разнообразные классовые противоречия своих противников, крепко стоит мощное феодально-юнкерское государство, возглавляемое одним из лучших государственных людей Европы.

Какую тактику станешь строить на этакой социальной почве? В какой форме станешь стремиться к полной победе „идеи рабочего сословия"? Так вот, вся эта социальная обстановка, преломившись в представлении Лассаля, приобретает совершенно иной вид. Стираются все классовые различия и выступает огромная, единая обездоленная масса. Лассаль приводит официальные цифры дохода прусского населения и восклицает:

„У $72^3/_4$ процентов населения доходов меньше 100 талеров! Стало быть, $72^3/_4$ процента населения находится в величайшей бедности! Еще у $16^3/_4$ проц. населения 100—200 талеров, следовательно, положение их немногим лучше и все еще крайне бедственно! Еще $7^1/_4$ проц. населения имеет лишь 200—400 талеров дохода, т.-е. тоже находятся в очень стесненных обстоятельствах, $3^1/_4$% населения имеют 400—1000 талеров дохода, следовательно, находятся частью в едва сносном положении, частью пользуются достатком (сам Лассаль после удачного конца процесса графини Гатцфельд получил ренту в 700 талеров ежегодного дохода. *А. Б.*). и затем остается $^1/_2$% населения, распределяющиеся по всевозможным степеням богатства. Два первые класса, находящиеся в самом бедственном положении, составляют вместе 89% населения, а если к ним причислить еще $7^1/_4$% третьего класса, все еще неимущего и стесненного, то окажется, что $96^1/_4$% населения обретается в стеснении, в нужде..." („Гласный ответ", Соч., т. II, стр. 79).

Итак, картина преобразилась. Лассаль стоит во главе $96^1/_4$% населения против ничтожной кучки богачей. И в почти лирическом порыве он заключает: „Стало быть, государство принадлежит вам, господа, нуждающимся классам, а не нам, высшим сословиям, потому что из вас оно и состоит! Что такое государство?—спросил я, и теперь вы видите из нескольких цифр яснее, чем из толстых томов, что государство—это вы, великая ассоциация беднейших классов!" (Ibid.).

II.

Основной тактический вывод: „великая ассоциация беднейших классов" (не классовое, а народное движение).

Великая ассоциация беднейших классов... В этой коротенькой формуле и содержится самый корень, самое ядро тактики Лассаля. Он слишком ясно понимал, насколько ничтожны силы одного фабричного пролетариата Германии, и вот основным его лозунгом становится это широкое объединение всех „бедных", великая ассоциация беднейших классов! И неудивительно, если слово „класс" в его речах чаще всего встречается во множественном числе. Немудрено, что Лассаль так любит повторять, что он—демократ. „Если вы не демократы,—восклицает он во Франкфурте под крики „браво",—то к чему мне толковать с вами?! Я не имею ни охоты, ни призвания говорить с кем бы то ни было, кроме демократов!" (Т. II, стр. 151).

А заканчивает ту же речь в высшей степени характерными словами:

„... я не опроверг еще недоразумения, будто я хочу вызвать особое движение с участием одного рабочего сословия; я никогда не думал этого. Поднятое мною знамя есть знамя демократии вообще. В буржуазии есть хорошие, здоровые элементы. Я сам и очень многие из нас принадлежим к буржуазии. Все они должны быть и будут с нами заодно.

„... я вызываю движение общее, демократическое, народное, а не классовое только; ни один истинный демократ не испугается мысли улучшить положение рабочего класса при помощи собрания, избранного всеобщею подачею голосов. (Мы видим, что даже всеобщее избирательное право—основной стратегический лозунг Лассаля тесно связан с его „демократической" тактикой. *А. Б.*). Ни одно истинно демократическое сердце не устрашится того, чтобы соединение всей интеллигенции общества помогло нуждающимся классам государственными мерами. В этом, напротив, заключается истинная выгода всех классов. Помогите же мне держать это знамя, и через год (с нами) окажется все, что имеет в себе хоть каплю демократической крови во всей Германии! (Рукоплескания)" (Соч., т. II, стр. 160).

В этом небольшом отрывке одной из самых горячих боевых речей Лассаля заключаются, мне кажется, все основы его тактики. И самая главная основа, основа всех основ,—это то, что он, Лассаль, вызывает не классовое, а общенародное движение, движение всех беднейших классов. Здесь уже намечено и отношение к буржуазии, и союз с интеллигенцией, одним словом, все основы тактики Лассаля, совершенно логически вытекающие из основной его мысли о союзе угнетенных классов и коренящиеся во всей социальной структуре Германии 1860-х годов.

Как „идея рабочего сословия" соответствует интересам всех слоев „беднейших классов".

Итак, общая тактическая позиция Лассаля нам ясна. Надо поднять разом все слои беднейшего населения, и фабричных рабочих, и ремесленников, и земледельческий пролетариат, даже мелких чиновников и мелкую буржуазию.

„Что же мне возразить на замечание, что ведь и сельские работники принадлежат к нуждающимся классам и не менее промыш-

ленных нуждаются в помощи?—говорит Лассаль в уже знакомой нам франкфуртской речи.—Что ответить, кроме того, что это возражение есть мое собственное убеждение, что оно вовсе не возражение! Кто же говорит вам, что нужно помогать только промышленным работникам? Не знаю кто, только не я! Напротив того, я говорил вам... что государство принадлежит 89—95% нуждающихся, включая сюда, разумеется, все классы, звания и ремесла рабочего сословия! (Вот до чего широко понимает иногда Лассаль термин „рабочее сословие". *А. Б.*) Этим я выразил довольно ясно для каждого, кто только способен понимать, что надо помочь всем неимущим классам, потому что интересы всех неимеющих капитала солидарны, что понятно всякому, мало-мальски смыслящему в экономическом деле" (Соч., т. II, стр. 144).

Все противоречия разных слоев того, что Лассаль объединяет здесь под термином „рабочее сословие", сглажены, затушеваны. Пред нами выступает единая масса „неимеющих капитала", и интересы ее солидарны, едины, тождественны. Множество подобных мест доказывает, что это не было со стороны Лассаля *только* тактическим приемом, а превращалось у него в искреннее убеждение. Да, вся масса неимущих солидарна в своих интересах,—так *должен* был говорить Лассаль в окружавших его условиях; но он так говорил—„от сердца", высказывая этим не то, что диктовалось лишь тактическими соображениями, а то, что ему и впрямь казалось совершенной азбукой „экономического дела". Тактика, вытекавшая просто из основ немецкой социальной обстановки, обобщалась в сознании Лассаля в общую норму, и это — лишь простое следствие его общеидеалистической закваски. Недаром говорил впоследствии Маркс что Лассаль „слишком поддался влиянию непосредственных условий времени", что „государство" превращалось у него в *прусское* государство" и т. д.

И вот, Лассаль тратит много усилий на то, чтобы доказать, что его производительные ассоциации со временем охватят и весь сельский пролетариат, что те же производительные ассоциации улучшат положение и ремесленников, и чиновников, и даже мелкой буржуазии. Как же так?—Да очень просто: с увеличением платы на простой физический труд обязательно вырастет и оплата сложного квалифицированного.

„Когда 16 апреля в Лейпциге после речи работникам я сходил с трибуны,—рассказывает Лассаль,—ко мне подошел благосклонный буржуа и сказал: я слушал вас очень внимательно, но вы не убедили меня.—Отчего?—спросил я.—По очень простой причине,—отвечал он:—ваше средство помогает не всем. Согласитесь, что мелкий чиновник, получающий 300 талеров жалованья, находится относительно в таком же плохом положении, как и наемный работник. Ведь не вздумаете же вы заводить ассоциации и между мелкими чиновниками? Это ведь несообразно!—И он посмотрел на меня благосклонно, но с лицом, сияющим от радости от своего остроумия. Я сказал ему: вы правы, мы, конечно, не можем устраивать ассоциаций между мелкими чиновниками. Но примите в соображение следующее: не удивительно, что государство находит чиновников за 200—300 талеров в нынешнем обществе, где плата за простой ручной труд составляет 100—120—150 талеров в год. Но предположим, что удалось бы поднять доход простого ручного работника, напр., до 600 талеров, неужели вы думаете, что государство найдет тогда мелких чиновников, которые согласятся за 200—300 талеров исполнять квалифицированный труд? Ну нет, они найдут гораздо выгоднее пойти в простые работники!" (Т. II, стр. 146—147).

Стало быть, вот как обстоит дело с основным лозунгом рабочего сословия: с производительными ассоциациями. В них заинтересованы вовсе не одни только фабричные рабочие, а и сельские, и вообще все, занимающиеся каким угодно квалифицированным трудом. Стратегический план, общие цели рабочего сословия оказываются знаменем всех „беднейших классов".

Но нельзя сделать все сразу.

„Если бы я потребовал, чтобы всем помогли *разом*, вдруг, поднялся бы крик: безумец! сумасшедший! утопист! Хочет спасти разом всех правительственными указами! И это было бы справедливо. Но я требую помощи постепенной, хотя предназначенной для всех...

„...армия, выступая в поход, поднимается не вся вдруг, а прежде всего выступает авангард; по тысяче же причин, объяснять которые я здесь не буду, *авангардом человечества* должны быть промышленные работники!" (Стр. 147—148).

Вот любопытнейшая тактическая позиция, порожденная условиями 60-х годов в Германии. Промышленные рабочие не могут действовать одни; они должны вокруг себя объединить массы „беднейших классов". Но авангардом человечества все же будут именно промышленные рабочие. Как много здесь сходства с основным лозунгам нашей пролетарской революции: „пролетариат—вооруженный авангард всех трудящихся" (слова Ленина). Здесь сказывается несомненное сходство нашей социальной обстановки с германской, современной Лассалю. А сходная социальная обстановка порождает сходные социальные лозунги.

Отношение к буржуазии.

Итак, промышленные рабочие, ремесленники, сельский пролетариат, даже мелкие чиновники и пр.,—все это одна братская семья. Ну, а буржуазия? Каково должно быть к ней отношение „рабочих классов"?

Лассаль вел страстную, напряженную борьбу с буржуазной партией прогрессистов; не было такого обвинения и упрека, какого бы он ни бросил этой партии. И, тем не менее, это вовсе не значило, что он вел последовательно-враждебную тактику по отношению к буржуазии. Еще в речи „Наука и работники" Лассаль с пафосом восклицает: „Мы, буржуазия и работники, мы все же члены *одного* народа и *вполне единодушны против своих угнетателей!*" (Соч., т. I, стр. 78). Правда, это было еще до разрыва с прогрессистами, но подобные фразы не раз и позже срывались с уст Лассаля. „В буржуазии есть хорошие, здоровые элементы,—говорит он в уже цитированном отрывке из франкфуртской речи, в разгар борьбы с прогрессистами. — Я сам и очень многие из нас принадлежим к буржуазии. Все они должны быть и будут с нами заодно". „Было бы величайшим фактом культуры,—говорит он в другом месте,—величайшим торжеством для германского имени, для германской нации, если бы в Германии *именно имущие взяли на себя инициативу в социальном вопросе*" (Т. II, стр. 148).

Что особенно характерно в этих цитатах? Не только то, что и буржуазия объявляется спутчиком „рабочих классов"; это, пожалуй, было и правильно, покуда у власти стояло феодально-юнкерское правительство. Характерно то, что Лассаль прямо верил в то, что „имущие" могут оказать прямую помощь рабочему сословию, что в буржуазии много есть элементов, которые могут решительно пойти с рабочим классом. И всего любопытнее в этом отношении § 2

Устава Общего Германского Рабочего Союза, который говорит: „Правление в праве принимать в члены и не работников, желающих вступить в Союз и согласных с принципами и целями его". Этим широко открывалась дорога в Рабочий Союз для всех слоев либеральной буржуазии.

Роль интеллигенции.

Наконец, еще один слой: интеллигенция Какова ее роль, ее значение в общем движении рабочих классов? Известны патетические, полные чувств слова Лассаля в его речи, носящей заглавие „Наука и работники":

„Среди всеобщего упадка, охватившего—на взгляд всякого более глубокого знатока истории—все стороны европейской жизни, среди губительной язвы своекорыстия, проникшей во все поры европейского общества, только два элемента оставались великими, свежими и способными к развитию. Эти два элемента—наука и народ, наука и работники.

„Только сочетание их может оплодотворить новой жизнью недра европейского общества.

„Союз науки и работников,—этих двух крайних полюсов общества, которые, слившись воедино, раздавят в своих железных объятиях все препятствия, стоящие на пути к культуре,—вот цель, которой я решил посвятить свою жизнь до последнего вздоха!" (Соч., т. I, стр. 56).

Не приходится даже развивать эту мысль Лассаля, ставшую особенно популярной: мысль о том, что лишь в союзе с наукой, с ее достижениями, а следовательно, в союзе с интеллигенцией, достигнет торжества рабочее сословие. Но мне кажется особенно важным подчеркнуть ту сторону, которую обычно не замечают, перефразируя его формулировки. Так, в речи на суде по обвинению в государственной измене Лассаль так объясняет силу своей агитации:

„...Оттого так сильно мое влияние, что слово мое действует неотразимо, с одной стороны, на массу народа, с другой, быть может, еще сильнее на меньшинство образованных, именно, на небольшое число самых образованнейших и самых умнейших (подчеркнуто Лассалем! *А. Б.*) представителей нации. Слияние этих двух крайних умственных слоев, непосредственного народного чувства с влиянием лучших, просвещеннейших людей нации, производит умственное давление, которому трудно противиться" (Соч., т. II, стр. 327.

Мы видим, что слова о слиянии „науки и работников" не были у Лассаля только фразой. Но он нигде не говорит о том, что работники, овладев наукой, завладеют всем миром. Это обычно та формулировка, в которой неверно перефразируют мысль Лассаля. В его же устах она звучит совершенно иначе. Не об овладении наукой со стороны рабочего класса говорит Лассаль, а о „слиянии двух слоев", о союзе интеллигенции—представительницы науки,—с рабочим классом—представителем „непосредственного народного чувства". Слияние мыслится им не внутреннее, не диалектическое, а чисто-внешнее, эклектическое. Не о том говорит Лассаль, что рабочий класс в себя впитает достижения науки, а интеллигенция проникнется живым „народным" чувством, разделит материальные интересы рабочих. Нет, он говорит только о простом внешнем союзе, о совместном действии необразованных рабочих масс и ученой интеллигенции, указующей общие пути. Не рабочие овладевают наукой, а скорее, наоборот, наука, в лице ее интеллектуальных представителей, овладевает рабочим движением, намечая его задачи и его пути. И Лассаль совершенно серьезно придавал небольшой кучке ученых интеллигентов такое же почти значение, как и движению рабочих масс. Это доказывают не только приведенные его слова, не только десятки других таких же мест в его произведениях, но и его практическая деятельность при организации Общего Германского Рабочего Союза. Большей частью безрезультатно тратил он бездну времени на идеологические споры с Родбертусом, Бухером и другими „видными" представителями интеллигенции, чтобы привлечь их к движению. И когда ему казалось, что он убедил кого-нибудь из них, он сообщал об этом в своих агитационных речах не с меньшим ликованием, чем о присоединении к союзу целого рабочего округа. Как ни странно это сказать, но и здесь в чисто тактических действиях Лассаля сказывается все та же наша старая знакомая—общеидеалистическая позиция великого агитатора. Как в попытках его „переубеждать" людей другого лагеря, так и во всем его стремлении заполучить для союза еще несколько интеллигентов-агитаторов сказывается знакомая нам вера Лассаля в силу слова, истины, в силу чисто-идеологического давления, вера, столь свойственная идеалисту, для которого весь исторический процесс представляется лишь сменой могущественных „принципов", лишь развитием некоей абсолютной идеи.

К чему же сводится вся рассмотренная нами тактика Лассаля по отношению к различным общественным группам?—Да все к одному очень простому, но и очень сложному стремлению: создать движение, которое захватило бы огромную массу населения, в котором можно было бы заинтересовать не только все тот же слой „рабочего сословия", но и чиновничество, и мелкую буржуазию, к которому можно было бы привлечь часть крупной буржуазии и интеллигенцию, так, чтобы против движения оказалась лишь небольшая кучка реакционных землевладельцев и крупнейших промышленников. Мы видели, как естественно вытекала такая тактика из социальной структуры Германии 60-х годов XIX ст., но вместе с тем,—как мало действительной почвы могла иметь под собой эта попытка создать „великую ассоциацию беднейших классов". И действительность, как и следовало ожидать, откинула в сторону эти широкие пожелания, но вышелушила из них их здоровое ядро: организовала всего один немногочисленный класс, но зато тот самый, который должен был служить „авангардом человечества". Создался первый крепкий Германский Рабочий Союз,—зародыш будущей соц.-демокр. рабочей партии.

Формы борьбы. Мирная революция.

Итак, установлена позиция рабочего класса по отношению к разным общественным группам. Как мы видели, позиция очень мирная. Какова же должна быть тактика самой борьбы? Какую форму должна принять эта борьба—форму вооруженного восстания народных масс или же мирную форму „законного" давления?

В своей речи „Косвенные налоги и положение рабочих классов" Лассаль так объясняет значение революции:

„Я (уже) объяснил то научное значение слова революция, в каком я его всегда разумею. Значение это состоит в том, что на место существующего порядка вещей ставится новый принцип (это нам уже давно знакомо. *А. Б.*), безразлично, делается ли это путем насилия, или без него.

„В этом смысле, говорю прямо, я убежден, что революция должна, во всяком случае, совершиться в будущем!

„Она совершится или вполне законным путем, среди всех благодеяний мира, если благоразумно решатся во-время произвести ее сверху или же она, сопровождаемая насильственными потрясениями, ворвется с дико развевающимися волосами, с железными сандалиями на ногах!

„Так или иначе, но она придет, и когда вдали от уличного шума, я углубляюсь в историю, я слышу ее приближающиеся шаги" (Соч., т. I, стр. 284—285).

Итак, революция придет, новый принцип будет установлен. Но формы ее могут быть различны: не только „насильственные потрясения", но и „законная" революция сверху. Какую же предпочитает сам Лассаль?—Он революционер, да, и нисколько не скрывает этого. Но его искреннейшее желание—не допускать насилия, „заранее цивилизовать, гуманизировать" революцию.

„Социальное движение, поднявшееся в дни насилия (почти толстовские ноты! *А. Б.*), было бы только способно внушить имущим классам ненависть и страх... Поэтому ...я говорил вашим лейпцигским братьям, что не должно ненавидеть имущих, ни буржуазию вообще, ни предпринимателей и мастеров в частности. Современный порядок создан не буржуазией: она—не творец его, а непроизвольный продукт. Имущие классы должны, наоборот, добровольно посвящать свой ум и развитие на то, чтобы снять кандалы с ваших ног" (Т. II, стр. 149).

И когда Шульце упрекал Лассаля „в возбуждении раздора" между имущими и рабочими классами, Лассаль восклицал с жаром: „Это величайшая несправедливость!" (Стр. 148). Наоборот, „если бы удалось задушить эти (т.-е. лассалевские, мирные. *А. Б.*) стремления,—...тогда, конечно, нам предстояло бы очутиться через несколько десятков лет в разгаре пролетарской революции и самим пережить ужасы июньских дней! Но мы не допустим этого; этому не бывать! Потому и нужно во-время открыть клапан, чтобы предупредить взрыв!" (ibid.).

Трудно сказать, чего тут больше: искреннего „толстовства" или хитрой дипломатии. Но, как бы то ни было, все, что говорил Лассаль, согласно свидетельствует о том, что он действительно верил в возможность мирной революции в силу одного только „умственного давления". И особенно интересен в этом отношении § 1 устава Общ. Герм. Раб. Союза:

„Под именем „Общего Германского Рабочего Союза" нижеподписавшиеся учреждают в государствах Германского Союза Союз, который, исходя из убеждения, что только всеобщее, равное и прямое избирательное право может дать удовлетворительное представительство социальным интересам германского рабочего сословия и действительно уничтожить все существующие в обществе классовые противоречия, ставит себе целью действовать мирным законным путем, преимущественно же склонением общественного мнения в пользу восстановления всеобщего, равного и прямого избират. права" (Т. II, стр. 341; подчеркнуто мною. *А. Б.*).

Можно бы думать, конечно, что подчеркивание мирного характера движения объясняется здесь необходимостью избежать полицейского вмешательства. Но, во-первых, чем бы это ни объяснялось, но факт таков, что Лассаль вводит рабочее движение в русло мирной, „законной" борьбы, а, во-вторых, все это подчеркивание слишком сильно звучит и слишком много подтверждений находит в разных местах произведений Лассаля. Здесь, как и во всей его тактике, сказывается одна и та же черта: тактические приемы, вызванные условиями места

инстинктивно обобщаются им, тесно переплетаются со всеми основами его социальных взглядов, так что и сам он уже не мог бы отделить временного маневра—от общего тактического принципа.

В судебной речи „Наука и работники" Лассаль говорит:

„...прокурор приписывает мне нечто чудовищное, будто бы я возбуждал рабочие классы (характерно это множественное число! (*А. Б.*) стремиться к классовому господству над прочими классами общества! При всем различии наших языков... неужели возможно было такое или подобное этому недоразумение?" (Т. I, стр. 76).

Итак, „чудовищная" мысль о классовом господстве пролетариата даже в голову не приходит Лассалю. Его цель—примирение и слияние классов в раю всеобщего и прямого избират. права. Он старается не выдвигать на первый план даже и простой классовой борьбы в условиях господства старого буржуазного „принципа". Его лозунг—единение классов, его клич—„клич любви" (см. „Прогр. раб.", т. I, стр. 25). И не только в смысле конечных целей рабочего движения, но и в тактике сегодняшнего дня.

Чрезвычайно любопытно, как особенности социальной обстановки вырабатывают такие примиренческие лозунги в устах такого революционного борца, каким, несомненно, был Фердинанд Лассаль. Но чрезвычайно важно также учесть значение таких унаследованных лозунгов, привившихся на сырой почве возникающего движения, для всей дальнейшей печальной истории оппортунистического перерождения германской социал-демократии.

Роль личности в движении масс.

Говоря о тактике Лассаля, невозможно обойти молчанием и то, как он оценивал роль личности в движении масс. Его общий идеализм и тут сыграл решающую роль. Ему не чужды взгляды Маркса на подготовление революции, когда он говорит в одном месте, что „усилия трибуна так же бессильны произвести революцию, как дыханье бессильно вызвать бурю на море" (Соч., т. I, стр. 285). Но именно это место стоит в стороне от основных его взглядов, как случайный и чуждый гость. Насколько ближе к общей позиции Лассаля его восклицание в „смотровой" речи:

„Если бы даже я остался один со своим протестом (против тактики прогрессистов в палате. *А. Б.*), я все же вправил бы на него с чувством гордости и удовлетворения. Но я не остался один! Снова обнаружилось, что, раз только кто имеет мужество воззвать к принципам, в ответ ему раздается тысячекратное эхо из груди народа" (Т. II, стр. 186).

В самом деле, если исторический прогресс есть борьба принципов, идей, то какое огромное значение приобретает даже один человек, если только он провозглашает новый революционный принцип! И вот интересно, как оценивает сам Лассаль свою роль в организованном им движении.

„Итак, вы видите здесь замечательное зрелище: перед вами агитация, охватившая массы, целая нация увлечена ею за или против, и все события, бросающие людей на улицу, а исключительно совесть одного человека породила эту агитацию..." (Т. II, стр. 248).

И это не случайный отрывок. В другом месте он говорит о том, что только „рыцарский пафос" побудил его начать борьбу, „вызвавший в летописях этой провинции всеобщее удивление". В „Агита-

ции Общ. Герм. Раб. Союза". Лассаль пишет: „Один человек поднял это знамя против всех!" (Т. II, стр. 344). А в речи на суде по обвинению в государственной измене он говорит:

„Когда я восстал, в марте прошлого года, я был один. Откуда же взялась у одинокого человека такая сила, чтобы принудить все партии и само правительство говорить в его смысле?" и т. д.

Одним словом, все движение по Лассалю возникло с того марта 1863 года, когда он выступил со своим „Гласным ответом", и именно величайшая убедительность высказанных им принципов вызвала все возглавляемое им движение. Что это, как не естественная в устах Лассаля идеализации роли личности? Мы знаем, что дело было немножко не так; что стихийное движение в рабочих массах происходило задолго до агитации Лассаля; что недаром даже партия прогрессистов почувствовала необходимость взяться за организацию рабочих „ферейнов", стремясь забрать в свои руки рабочее движение; что в тот момент, когда Лассаль выступил с „Гласным ответом", рабочее движение Германии доросло уже до первой попытки созвать общегерманский съезд. Но важны не опровержения. Важно то, как сам Лассаль определял роль личности. Его идеалистический подход здесь совершенно несомненен.

И именно отсюда вытекает для Лассаля необходимость строгой централизации его Союза. Известно, какие широкие полномочия дает устав Общ. Г. Раб. Союза своему президенту и какие трения вызвал этот вопрос после смерти Лассаля. Была ли в ту пору необходимость в такой организации? Трудно сказать; скорее всего, нет. Но очень характерно для Лассаля, что он придал организации такой централизованный характер с чрезвычайно широкими правами о д н о й л и ч н о с т и президента.

Партия и класс.

Что еще любопытного во взглядах Лассаля на организационный вопрос?—Очень интересна формулировка, в какой он говорит о партии рабочего класса. Нигде не найдешь у него такой фразы, что рабочее сословие должно о р г а н и з о в а т ь свою рабочую партию; Лассаль говорит иначе: рабочее сословие должно о р г а н и з о в а т ь с я в самостоятельную партию (см., напр., Соч., т. II, стр. 60). Лассалю была совершенно чужда мысль о партии, как боевой организации избранных: партию он представлял, как массовое объединение всего рабочего класса (да и элементов других классов) с общей политической платформой.

„Нужно, чтобы непринадлежность к нашему союзу считалась своего рода позором,—говорит он в речи „Празднества, пресса и Франкфуртский съезд депутатов",—чтобы всякий работник, не принадлежащий к нам, считался не настоящим, не полным работником" (Соч., т. II, стр. 215).

Итак, партия—это весь класс, поставивший себе определенные политические задачи. Но еще характернее для Лассаля его стремление втянуть в свои ряды и всех посторонних, и чуждых движению, и недавних врагов движения.

„В политической борьбе,—говорит он в той же речи,—прежде всего важно привлечь на свою сторону и н д и ф ф е р е н т н ы х, вызвать в них злобу, в о в л е ч ь в к р у г с т р а с т е й н а и в о з м о ж н о б о л ь ш е м а с с ы,—таков единственный естественный путь для каждого, кто хочет победить" (Т. II, стр. 190).

Как все это тесно связано со всей тактической позицией Лассаля и с социальной обстановкой, в которой ему приходилось действовать!

„Тактический поворот" и ставка на Бисмарка.

Нам осталось коснуться последнего и очень большого вопроса—вопроса о т. н. „тактическом повороте" Лассаля.

Для всякого, кто внимательно перечитает произведения и речи Лассаля, станет совершенно ясно, насколько мало вяжется этот новый поворот тактики Лассаля с его общими взглядами. В самый разгар своей борьбы с прогрессистами Лассаль не уставал повторять:

„Разве я заявлял, что следует поддержать правительство против партии прогрессистов? Напротив, я говорю, что следует поддерживать прогрессистов против правительства.." („К берлинским работникам", Соч., т. II, стр. 263).

Или в другом месте:

„Я убедился, что, если мы будем оставаться позади партии прогрессистов, нас неизбежно постигнет застой. Что же я сделал? В каком смысле обратился я против партии прогрессистов? Конечно, не в том, чтобы советовать вам итти заодно с реакцией. Нет, мы будем поддерживать партию прогрессистов, насколько она враждебна реакции, но будем в то же время подталкивать ее вперед" („К рабоч. вопросу", т. II, стр. 102).

Таких цитат бесконечное множество. Наконец, весь лассалевский анализ общественных групп и тактики по отношению к ним показывает, что со в с е м и из этих групп Лассаль считал возможным соглашение, но за исключением одной группы—феодальных помещиков и их реакционного правительства. Чем же можно объяснить его последнюю ставку на Бисмарка, его попытку из рук самого реакционного правительства вырвать всеобщее избирательное право? С точки зрения его собственных общих взглядов,—нет ни объяснения, ни оправдания.

Как сложилась обстановка к осени 1863 года? Партия прогрессистов показала полное политическое бессилие; о переходе к ней власти не могло быть ни речи. Лассалевский Союз, несмотря на героические его усилия, не мог разом охватить несуществующие миллионы и развивался хотя верно, но медленно. В нем далеко не было еще и провозглашенной Лассалем цифры в 10 тысяч членов. А над политической жизнью Германии все более властно высилась железная фигура железного канцлера, поднимавшего в этот момент „национальный вопрос" и дипломатически становившегося на демократическую точку зрения.

Перспективы все более выяснялись для Лассаля и все более приводили его минутами в отчаяние. „Без высшего могущества,—писал он в одном письме,—ничего нельзя сделать; для детской же игры я слишком стар и слишком большой человек... Боюсь, что события будут медленно, медленно развиваться, а для моей пламенной души эти детские болезни и хронические процессы—не шутка" (Мерингъ, т. III, стр. 103).

И вот Лассаль делает новый бросок, ставит последнюю решительную ставку. Все силы своего красноречия, все свои дипломатические способности, все запасы своей уже истощенной нервной энергии он бросает на новый фронт—на попытку склонить Бисмарка. Что это такое? Последняя авантюра мятущегося большого темперамента, стремящегося перешагнуть десятилетия. Известны жалкие ре-

зультаты этих героических усилий: Бисмарк был заинтересован, он говорил, что Лассаль — прекрасный собеседник, он выражал впоследствии пожелание, чтобы в его имении рядом имелся бы этакий приятный, живой сосед, с которым незаметно проходило бы время... Великий практик пошел даже дальше: после приема королем депутации ткачей и выходки фабриканта Рейхенгейма, уволившего за это всех депутатов, Бисмарк уговорил Вильгельма I выдать этим пострадавшим рабочим из своих частных средств сумму в 6—7 тысяч талеров для пробного устройства промышленной ассоциации [1]). Все это в крайне выгодном свете освещает, конечно, не Лассаля, а... Бисмарка, великого практика, без всяких предрассудков готового испробовать всякое практическое средство, разумеется, если оно поведет к его целям. Трудно согласиться в этом вопросе с авторитетным мнением Меринга, считавшего, что можно возражать „не против тактического поворота Лассаля и не против духа, в котором он совершил его, а лишь против его личной способности к применению этой тактики" („История германской социал-демократии", т. III, стр. 103). Трудно согласиться. И вся эта заключительная страница короткой политической борьбы Лассаля кажется нам скорее именно авантюрой, последним козырем, которой должен был быть бит, последним броском, уже очертя голову, в пропасть азартных экспериментов. Прямая линия классовой борьбы не привела к ожидаемому эффекту, и вот нетерпеливый, пылкий борец решается на азартную игру политической авантюры. Всеобщее избирательное право из средства для дальнейшего переустройства общества превращается в главную цель. Все равно, как, от кого, на каких условиях, но лишь бы добиться провозглашения всеобщего избират. права. Во всей этой лебединой песне лассалевой борьбы сказывается глубокое противоречие, лежавшее в основе его агитации. Как-то в одном письме к Марксу еще в 1849 году (24 окт.) Лассаль писал:

„...я извлек (из опыта германской и венгерской революций. *А. Б.*) тот непоколебимый урок, что никакая борьба в Европе не может быть успешна, если только с самого начала она не будет провозглашена чисто-социалистической; что не может больше удаться никакая борьба, в которой социальные вопросы входят лишь как туманный элемент и стоят на заднем плане, и которая с внешней стороны ведется под знаменем национального возрождения или буржуазного республиканизма... Но, с другой стороны, напрашивается вопрос, будет ли Германия обладать в скором времени такой силой, чтобы победоносно поднять чисто-красное знамя? Достаточной ли силой уже обладает социализм в Германии, чтобы быть в состоянии для себя самого и не драпируясь в чисто-республиканский энтузиазм, сорвать со стены меч? Если иметь в виду одну лишь Германию, то пришлось бы на этот вопрос ответить печально и отрицательно".

Вот в этом трагическом противоречии и бился Лассаль впоследствии, выступив со своей пламенной агитацией. Сознавая всю незрелость социальной структуры Германии, он решился обесцветить свое красное знамя для того, чтобы добиться хоть чего-нибудь немедленно. И, ничего не добившись, он погиб, запятнав свои знамена печальной памяти „тактическим поворотом". Но в то же время его революционная страстность, его боевой темперамент сделали свое великое дело пробудив немецкий пролетариат от пятнадцатилетней спячки и заложив первый камень в организацию будущей рабочей партии.

[1]) Г. Онкен, Лассаль как полит. деятель, стр. 283.

VII. Итоги.

Положительная часть работы закончена. Мы рассмотрели всю систему взглядов Лассаля, начиная с философских и кончая—тактическими. Хочется в заключение подвести некоторые итоги, разобрать, что же исторически ценного в этой, несомненно, оригинальной фигуре, стоящей на заре немецкого рабочего движения.

Общий идеализм.

Лассаль был идеалистом. Наследие Гегеля тяготело над его философско-историческими взглядами и просочилось ядовитой струйкой решительно во все поры его социальных воззрений. Это—чрезвычайно важная черта, без которой нельзя понять Лассаля, и которую до сих пор недостаточно оценили его исследователи.

Но умственное давление Маркса успело наложить глубокую печать на живой, восприимчивый ум великого агитатора, и вот почти на каждом участке его взглядов мы можем проследить эту чрезвычайно интересную борьбу двух идеологических миров, двух противоположностей, которые всегда носил в себе Лассаль. История—развитие принципов, но эти принципы связаны с классовой борьбой. В политической экономии Лассаль следует за Марксом, но пропитывает всякую экономическую проблему чисто-идеалистическим подходом. Государство—вечная категория с вечными задачами, но и его развитие связано с „принципом" революционного класса. Социализм придет как следствие классового напора пролетариата, но это перерождение общества есть не что иное, как торжество новой исторической „идеи", принесенной рабочим сословием. И даже в тактике Лассаля, тесно связанной со всей современной ему обстановкой, то тут, то там просачивается та же ядовитая идеалистическая струйка. Гегель—и Маркс, Маркс—и Гегель,—вот противоречие, в котором бьется, и которое нигде не может загладить острая мысль Лассаля.

Лассаль—чисто-национальная фигура.

Был ли Лассаль интернациональной фигурой?—Ни в малейшей степени. Вся его деятельность была заполнена чисто-национальной борьбой, все его произведения говорят только о немецкой революции, о немецком рабочем „сословии", о немецком „народном духе". Вся его стратегия и вся тактика навеяны чисто-национальными немецкими условиями и только в связи с ними имеют смысл и оправдание. Он не умел и не хотел возвыситься до интернациональных задач международного пролетариата, но зато сумел в два года дотла сгореть на службе германскому рабочему классу.

Тактические лозунги.

Правильны ли были тактические лозунги, которые он выкинул в окружавшей его национальной обстановке? Во многих частностях—нет, но в основном, без сомнения, верны. И лучшее этому доказательство то, как логически вытекают они из соотношения классовых сил. Промышленные рабочие—авангард беднейших классов; необходима крепкая политическая организация масс; необходимо „толкать вперед"

буржуазную прогрессистскую партию, но вести и самостоятельную политику; надо привлечь на свою сторону сельских рабочих, ремесленников, мелкую буржузию; наконец, в первую голову, на первый план выдвинуть политическую борьбу... Разве все это—не лучшие боевые лозунги только нарождающегося молодого рабочего класса?

Оппортунизм.

Но в то же время живой, стремительный ум Лассаля, обобщающий временные тактические лозунги отсталой социальной структуры, делает тем самым роковую ошибку, надолго заражая немецкое рабочее движение идеей сотрудничества классов и „мирной" революции, кладя — увы! — первый камень в здание будущего германского оппортунизма...

Проповедь политической борьбы.

Но в чем истинная заслуга Лассаля,—так это в том, с какой решительностью выставил он на первый план политическую борьбу рабочего класса. Можно и здесь спорить о том, прав ли был Лассаль, требуя всеобщего избират. права в тот момент, когда сельские рабочие еще не были приобщены к движению и когда, по выражению Энгельса, всеобщ. избир. право могло оказаться для пролетариата не оружием, а западней (см. Меринг, т. III, стр. 209). Но самым выдвиганием вперед политической борьбы Лассаль решительно уничтожил жалкие, но устойчивые предрассудки международного „экономизма" и сразу поднял германский рабочий класс на целую голову выше.

Наконец, что бы ни говорить об отдельных погрешностях, ошибках, промахах Лассаля, одна заслуга останется за ним бесспорно и навсегда. „После пятнадцатилетнего сна Лассаль снова разбудил рабочее движение в Германии,—и в этом его бессмертная заслуга",—писал Маркс в письме к Швейцеру [1]). И этого великого дела Лассаля не забыл немецкий пролетариат: недаром портрет Лассаля висит рядомс портретами Маркса и Энгельса в жилищах немецких рабочих [2]). Великий своим энтузиазмом, своей революционной верой, своим огненным темпераментом, Лассаль войдет в историю рабочего движения, как один из талантливейших трибунов и лучших борцов за освобождение рабочего класса.

1) См. „Письма Лассаля", примеч. Меринга, стр. 363.
2) См., напр., Лилли Браун, Роман моей жизни, т. II, стр. 29.

М. Н. Покровский—историк России.

Н. Рубинштейн.

Сейчас трудно найти человека, который, интересуясь историей России, не читал бы работ М. Н. Покровского. Мало кто заглядывает в Ключевского, а учащиеся—одни забыли, другие—и вовсе не знают о недоброй памяти учебнике Платонова. Сегодняшний студент, рабфаковец, курсант совпартшколы, проработавший, если не все 4 тома „Русской истории с древнейших времен", то, по крайней мере, „Сжатый очерк", твердо знает изменения хлебных цен и не занят больше перечислением потомства князя Всеволода Большое Гнездо.

Но, если работы М. Н. Покровского мы знаем, то с самим автором знакомы плохо. Русская историография, за исключением одной попытки, о которой речь будет итти ниже, не дала до сих пор анализа сочинений Покровского.

Настоящая статья не претендует на сколько-нибудь исчерпывающую разработку этой темы. Ее задача—наметить основные контуры исторической характеристики М. Н. Покровского, проследить эволюцию его взглядов и определить значение работ М. Н. Покровского в исторической литературе.

Необходимо заранее оговориться по поводу содержания статьи. Ввиду отсутствия каких бы то ни было биографических данных, пришлось обойти молчанием в высшей степени интересный вопрос о том, каким образом Покровский сделался марксистом, как общественная жизнь влияла на историка. Далее, можно было лишь вскользь коснуться генезиса взглядов историка, так как подробный сравнительный разбор трудов Покровского и его предшественников завел бы меня слишком далеко. И, наконец, я вовсе не затрогиваю философской и социологической концепции М. Н. Покровского—иначе это значило бы разбирать общеизвестные марксистские положения.

I.

М. Н. Покровский вошел в ряды представителей русской исторической науки в начале XX века. Его первые печатные работы Местное самоуправление в древней Руси и „Земский собор и парламент" вышли в свет в 1903—1905 г.г. Тот факт, что появление работ, авторы которых подходили к изучению русской истории с марксистской точки зрения, относится к несколько более раннему времени, именно—к концу 90-х гг., может навести на мысль, не заимствовали ли взгляды М. Н. Покровского на русский исторический процесс в той или иной их части у этих историков. Собственно говоря, уже одного сопоставления некоторых дат будет достаточно для того, чтобы отрицательно ответить на этот вопрос.

Марксистские работы по русской истории, о которых идет речь—„Русская фабрика" Туган-Барановского, „Сельское хозяйство Московской Руси XVI века" Рожкова и „Развитие капитализма в России" Ленина вышли: первая—в 1898, вторая и третья—в 1899 году [1]). К этому времени концепция М. Н. Покровского была уже определенно марксистской. В 1897—1898 гг. он читал лекции по русской истории, которые легли в основу его позднейших статей в „Истории России XIX века" изд. бр. Гранат. Если вспомнить, вдобавок, что перечисленные работы (из них ортодоксальным являлось лишь сочинение Ленина) касались почти исключительно экономической стороны русского исторического процесса, и, кроме того—их хронологические рамки были большею частью очень невелики, для нас станет вполне ясным, что попытка установить преемственную связь М. Н. Покровского с указанными историками лишена всяких оснований, тем более что схема русской истории Покровского резко противоположна схеме, напр., Рожкова. Но, быть может, такую связь можно усмотреть, сравнивая Покровского с историками из господствовавшей в то время школы Ключевского [2]). Здесь нам придется обратиться к изложению схемы русской истории, как она дана М. Н. Покровским в его главной работе—„Русская история с древнейших времен".

„Основной клеточкой хозяйственной и, вообще, социальной организации" славян был, по мысли историка, кровородственный (иногда договорный) союз—„большая семья" („дворище", „печище")—земледельческая производственно-потребительская коммуна. Патриархальная семья путем естественного роста развивается в племя. Славянские племена в IX—X веках завоевываются норманнскими дружинами. С течением времени из „печищ" выделяются индивидуальные хозяйства. Путем покупки, насильственной экспроприации мелких собственников или закабаления должников богатые семьи сосредоточивали в своих руках большое количество земли.

Так возникла крупная феодальная собственность. На-ряду с господством натурального хозяйства в феодальный Руси развивается „разбойничья торговля"—„первая стадия обмена", и растут ее центры—города.

В этих городах историк видит уже классовую борьбу: вражда „лучших людей" с „меньшими", демократические революции заполняют собой историю русских городов в X—XI веков. Упадок городов в XII веке объясняется их хищнической политикой, опустошавшей окрестные земли, перемещением центров мировой торговли и нападением более культурного народа—татар. Уцелел только Новгород, имевший в своем распоряжении „обширную колониальную область"—большое поле для разбойничьей торговли. В XV веке феодалы объединяются вокруг московского князя, хозяина экономического центра северо-восточной Руси. Этому объединению способствуют—церковь—

[1]) „Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России"—работа Струве, вышедшая в 1894 г. и посвященная гл. обр. эпохе реформы 1861 г. и пореформенной экономике, не могла оставить каких-либо следов в работах Покровского, во-1-х, вследствие ряда немарксистских положений, выдвигавшихся автором, и, во-2-х, благодаря узости затронутой им темы.

[2]) В последнее время М. В. Нечкина, автор книги „Русская история в освещении экономического материализма", пытается увлечь в материалистическое лоно самого Ключевского. В результате целого ряда рискованных экспериментов на страницах „Красной Нови" ей посчастливилось „под тонкой сетью идеалистических формулировок" историка найти „живое сердце материалистического подхода к истории" („Кр. Новь". 1923 г., № 5). Нам кажется, что причина этого покушения кроется в недостаточном понимании теории исторического материализма. Иначе Нечкина не сочла бы необходимым понапрасну тревожить тень автора „Курса" и насильно заставлять покойника „сменить вехи".

„крупнейшая из феодальных организаций"—и татары, поддерживавшие московского князя, как самого богатого феодала.

Феодальная вотчина в XVI веке теряет свою экономическую независимость и связывается с рынком. Развивается товарное хозяйство: начинают появляться признаки денежного. Выделяется буржуазия. Монастыри становятся большими торговыми центрами. Рост хлебных цен влечет за собой интенсификацию сельского хозяйства, выразившуюся в появлении барщины и в закрепощении крестьян. Экономическая невыгодность ведения сельского хозяйства в крупных вотчинах (большие расходы феодала, невозможность личного руководства хозяйством и т. п.) обусловили победу среднего землевладения над крупным. Политически этот процесс отразился в опричнине и реформах Грозного. Хищническое хозяйствование помещиков, неудачная внешняя политика и татарские набеги затормозили рост денежного хозяйства.

Естественным „результатом экономической реакции" было „возрождение политического феодализма", развертывающаяся в начале XVII века на почве этого возрождения борьба буржуазии, помещиков и бояр (Смутное время), заканчивается победой помещиков и торгового капитала, обезземелением и закрепощением крестьян.

Интересы торгового капитала, развивавшегося, главным образом, на поле внешней торговли, обусловили завоевательную и меркантилистическую политику Петра I. „Но политическая оболочка дворянского государства помешала... капитализму развиться" [1]). После смерти Петра буржуазия отодвигается на второй план. „Социальной группой, пожавшей плоды „преобразования", была новая феодальная знать". Интенсивный рост денежного хозяйства возобновляется во второй половине XVIII века. Производство на рынок (внешний и внутренний) повлекло за собой: в сельском хозяйстве—усиление барщины и оброка; в промышленности — рост крепостной фабрики и кустарной избы. Крестьянство и крепостные рабочие выражают свой протест против крепостного права стихийным Пугачевским бунтом. Ответом на этот бунт была централизация полицейского государства.

Быстрый рост промышленности, применявшей в значительной степени вольнонаемный труд, обусловил в начале XIX века формирование буржуазии в класс. Этот процесс отразился в политической жизни страны (проект Сперанского, выступление декабристов — представителей экономически прогрессивного землевладения и буржуазии).

Аграрный кризис 30—40-х г.г. задерживает развитие капитализма в сельском хозяйстве до начала 60-х г.г., когда повышение хлебных цен делает выгодным для большинства помещиков переход к хозяйству, основанному на вольнонаемном труде. Промышленникам еще в большей степени невыгоден малопроизводительный труд крепостного. Эти основные причины обусловливают реформу 19 февраля 1861 г. Даже в неполном виде (ликвидация крепостного права была компромиссом торгового и промышленного капитала) „освобождение" крестьян быстро толкает вперед экономику России. Центральным фактором политической жизни страны является народническая революция—движение учащейся молодежи,—которая ликвидируется политической реакцией и частичным возвратом крепостных отношений—результат кризиса хлебных цен в 80-х г.г. XIX века. С 90-х г.г. развитие капитализма идет полным ходом. На арену политической борьбы выдвигается рабочий класс. Рабочая и крестьянская революция 1905 года

[1]) Русская история с древн. времен. Изд. т-ва „Мир", том II, стр. 297.

была задавлена самодержавием, нашедшим поддержку в дворянстве и буржуазии, оппозиционность которых испарилась с нарастанием движения.

На этом останавливается историк в своей работе. Сравним изложенную схему с взглядами на русскую историю, напр., Милюкова. Если для М. Н. Покровского стержнем русского исторического процесса является развитие производительных сил, т.-е. для исследуемой им эпохи — рост торгового и, впоследствии, промышленного капитализма, то для Милюкова весь ход русской истории определяется естественным ростом населения и военно-финансовыми потребностями государства, которому Милюков приписывает, между прочим, создание крупной капиталистической промышленности. В то время, как Покровский рассматривает историю России, как историю классовой борьбы, государственный же строй, как аппарат господствующего класса, Милюков считает, что классы русского общества были обязаны своим существованием государству. „Сильная государственная власть,—писал Милюков,—нужна была для военной обороны страны, и военные потребности надолго остались первенствующими потребностями государства. Для их удовлетворения государство должно было... скрепить общественные связи... По мере увеличения государственных нужд связь эта становилась все более и более принудительной и привела, наконец, в XVII веке ко всеобщему закрепощению сословий... С XVIII столетия начинается обратное движение к раскрепощению...“ [1]. М. Н. Покровский ищет основу идеологических течений в классовой психике и, наконец, в экономике. Милюков, восставая против такого „упрощенства“, отказывается „выводить“ „духовное“ из „материального“ [2]).

Итак, даже беглое сравнение социологических конценций Покровского и Милюкова показывает нам, что авторы их стоят на разных полюсах современного научного мировоззрения. С эклектизмом Милюкова и Ключевского М. Н. Покровский не имеет ничего общего.

II

В продолжение более, чем 20-летней научной деятельности М. Н. Покровский не изменял в основном своей схемы русской истории. Но его взгляд на отдельные эпохи, события и детали событий непрерывно эволюционирует. Мысль историка заостряется все больше и больше; идет шлифовка и уточнение положений, углубляется исторический анализ, формулировки становятся ясней и отчетливее. Проследить эту эволюцию—значит выявить развитие историка, показать, каким путем марксизм завоевывал русскую историческую науку. Статьи в „Истории России XIX века“, изд. Гранат [3]), 3 и 4 томы „Русской истории с древнейших времен“ и работы последних лет—этапы на этом пути [4]).

В статье „Россия в конце XVIII века“ (Гранат) М. Н. Покровский считает, что меновое хозяйство рассматриваемого периода было распространено весьма слабо. „Россия 1500 г.,—говорит он,—знала постоянную и правильную торговлю лишь предметами роскоши... Масса

[1]) П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. 1, СПБ 1896, стр. 214, 215.

[2]) Там же, ч. II, стр. 4.

[3]) „История России XIX в.“, изд. Гранат. вышла в 1907—1908 г.г.

[4]) Нам придется коснуться только XVIII и XIX веков, так как взгляд М. Н. Покровского на русскую историю до XVIII века почти не изменился с тех пор, как он был в основных чертах сформулирован в работах 1903—1905 г.г.

старалась обходиться вовсе без обмена, довольствуясь рессурсами „натурального“ хозяйства [1]). Обратимся к „Русской Истории с древн. времен“. В III томе Покровский решительно отбрасывает „обычное мнение“ о слабом развитии товарного хозяйства в России конца XVIII века. Привлекая данные, почерпнутые, главным образом, из Трудов Вольно-Экономического Общества, он устанавливает наличие внешней и внутренней торговли не только и не столько предметами роскоши, сколько пенькой, льняными тканями, вином, железом и, особенно, хлебом [2]). Широко были развиты промыслы, из которых возникали мануфактуры. Таким образом стержень схемы М. Н. Покровского—развитие торгового капитала — отодвигается назад, вглубь русской истории. Эта передвижка дает возможность объяснить важнейшие события конца XVIII века. Турецкие войны Екатерины II, пугачевщина, централизация крепостного режима не были бы нам понятны без анализа хлебных цен и торговли железом в 1770—1800 г.г.

В исторической литературе не раз ставился вопрос о том, почему в конце XVIII века политические стремления дворян резко изменились. Почему феодальный „монаршизм“ заглох до начала XIX столетия, и централизованная монархия Екатерины II (после пугачевского бунта), Павла и Александра I заменила собой дворянскую власть „в центре и на местах“. В „Истории“ Граната Покровский объясняет усиление личной власти царя тем, что, „не отделяя помещика от государя в самом себе, дворянин Екатерининской, и даже Александровской эпох не умел произвести такого разделения и в своем государе“ [3]). „Сдержки (помещичьей и государственной власти. *Н. Р.*) уступают место ничем не стесняемому личному усмотрению“ [4]). Итак, сравнение помещика с государем заменяет собой объяснение централизации крепостного режима; вместо исторической мотивировки мы имеем психологическую гипотезу. „Сравнение—не доказательство“, говорит французская пословица. Это Покровский учел в 3 томе „Русской Истории“, где он замечает: „полторы тысячи повешенных (Пугачевым. *Н. Р.*) помещиков заставили их уцелевших собратьев позабыть всякие мечтания о „властях средних“ [5]). Значит, помещик 1780—1800 г.г. не просто переносил свои отношения с крепостными на отношения государя и дворян. Он забросил Монтескье, и забросил надолго, потому что перед ним стоял грозный призрак пугачевщины. Централизованная монархия мешала этому призраку вновь стать действительностью—Таким образом историко-материалистический анализ у Покровского заменил прежнее увлечение субъективной психологией.

Такую же эволюцию мы найдем в характеристиках Павла и Александра I, как они даны в „Истории“ Граната и в III томе „Русской Истории“. В статье „Павел I“ (Гранат) указывается на „патологический характер системы Павла. „Внезапные смены настроений, которые отражались в этой системе,—говорит Покровский,—современный психиатр не задумался отнести под рубрику истерии. Павел (к

[1]) „История России“, изд. Гранат. вып. 1, стр. 2.

[2]) Кстати сказать, трудно объяснить, почему Покровский, указывая в цитированной статье на то, что в первой половине XIX века „разница в ценах на хлеб для различных частей России“ доходила до 1000%, в 3 томе замечает: „цены на хлеб, за исключением столиц и окраин, отличаются поразительной ровностью“, при чем эта ровность является для Покровского косвенным доказательством существования внутреннего хлебного рынка. См. „Рус. ист. с древн. времени“ изд. т-ва „Мир“, том III, стр.

[3]) Ст. „Россия в конце XVIII века“, вып. I, стр. 15.

[4]) Там же.

[5]) „Русская История“, том III, изд. т-ва „Мир“, стр. 202.

объяснению его характера привлекаются и доводы от наследственности), „к нечно, ни на минуту не дум ал о классовых противоречиях, когда издавал свои указы. Он руководился исключительно капризом или отвращением к стеснению личной воли". Указ о 3-дневной барщине трактуется Покровским, как первый шаг к освобождению крестьян.— „Вероятно, так и было в намерениях Павла",—добавляет историк. Следуя взгляду, издавна установившемуся в русской истории, Покровский считает, что характер Александра I был определен воспитанием, данным Лагарпом, с одной стороны, и влиянием французской революции—с другой. „Освобождение крестьян отвечало, повидимому, желаниям Александра I" [1]). Разбирая вопрос о падении Сперанского, Покровский думает, что „к ключ к катастрофе приходится искать в личных отношениях Александра и его секретаря" [2]).

В III томе „Русской истории" Покровский ведет основную линию анализа со времени Екатерины II. Централизация крепостного режима отвечала интересам дворянства, испуганного пугачевским бунтом. Павел I — только звено в цепи его предшественников — Потемкина, Зубова—и продолжателей—Аракчеева и Николая I [3]). „Крестьянская политика Павла,—говорит Покровский,— вдохновлялась полицейскими соображениями" [4]). „Интересы дворянства, насколько он их понимал, Павел старался соблюдать не хуже своих предшественников" [5]), хотя в его политике и была доля „сознательной демагогии на почве классового антагонизма верхов и низов феодального общества" [6]).

Указ о 3-дневной барщине диктовался желанием „устранить... причину крестьянских волнений...—отягощение крестьян работой" [7]). Даже мелкие мероприятия и увлечения Павла, и те Покровский объясняет общим характером режима: „желтый ящик,—говорит он,—был лишь более организованной формой зубовских leviers que foi; мундиромания Павла находит себе антецедент в мундироманни Потемкина" [8]). „Павел был не столько уродом в семье, сколько крайностью" [9]). Личная психика Павла была ненормальна, но на политику эта ненормальность почти не влияла.

Портрет Александра I, как его рисует Покровский в 3 томе „Русской истории" и в других современных статьях, резкоотличается от уже приведенной характеристики в „Гранате". „Недоучившийся ученик, отчасти Лагарпа, отчасти своего отца" [10]) (как мы видим, влияние французской революции на Александра I заменяется влиянием Павла) не был „ни шиллеровским юношей, ни Макиавелли на престоле" [11]). „Это был типичный русский барин французского воспитания" [12]). Попытки Александра освободить крестьян объясняются той же боязнью новой пугачевщины, что была и у Павла, с одной стороны, и интересами крупной знати, которой нужен был оброчный мужик,—с другой. „Выводить эпизод (ссылки Сперанского. *Н. Р.*)

1) „История", Гранат, ст. „Александр" I.
2) Там же.
3) Интересно, что в III томе, в противоположность „Истории" Граната, отсутствует глава „Павел I", и события 1796—1801 г.г. излагаются в главе „Централизация крепостного режима". Как будто историк даже этим штрихом хотел подчеркнуть, как мало значения придает он личности Павла.
4) Том III „Р. И.", стр. 208.
5) Там же, стр. 211.
6) Там же.
7) Там же, стр. 210.
8) Там же, стр. 214.
9) Там же, стр. 215.
10) Там же, стр. 283.
11) и 12) Рецензия на ст. Корнилова „О значении эпохи Отечественной войны" („Голос минувшего", 1913, кн. I).

из личных отношений императора и его секретаря... не исторично. Напротив, характерна дуэль „аристократического монаршизма" и начал буржуазной конституции, представителем которой явился русский тайный советник из семинаристов [1]). Таким образом изменил Покровский характеристику Павла и Александра. Он смыл с их лиц грим, наложенный историками-идеалистами, и эти герои исследований Шильдера и Кизеветтера выступают на сцену истории в настоящем виде людей своего времени.

До сих пор, рассматривая развитие мысли историка, мы касались освещения им эпох, сравнительно мирных—обратимся теперь к трактовке Покровским революционных движений XIX века—декабристов и народников.

В статье „Декабристы" („История", изд. Гранат), написанной в сотрудничестве с К. Левиным, история восстания декабристов рисуется следующим образом. Армия после войны 1812 г. вернулась в Россию, проникнутая свободолюбивыми настроениями. Столкновение офицерства с реакционной политикой Александра I повлекло за собой образование тайных офицерских обществ—Союза Спасения и, впоследствии,—Союза Благоденствия. После распадения этих Союзов „факт основания Южного общества,—говорит Покровский,—возымел воздействие на бывших членов Союза Благоденствия, проживавших в Петербурге и не проявлявших никакой активности" [2]), и они основали Северное общество. „В планах восстания обоих обществ чувствуется полная растерянность и неуверенность" [3]). В своих проектах организации государственной власти декабристы—члены Северного общества, отражавшие феодальные устремления дворянства, „оставляли неприкосновенным аристократический строй" [4]). Южане были более революционны. Положения „Русской Правды" Пестеля, в случае победы декабристов, имели бы актуальный характер. Неудача восстания объясняется тем, что декабристы, будучи дворянами, не могли призвать к действию широкие народные массы.

В 3 томе „Русской истории" подчеркивается противоречивость экономической сущности русского помещика—„европейского буржуа", с одной стороны, „азиатского феодала"—с другой, и тесная связь декабристов с торгово-промышленной буржуазией. Конституции декабристов Покровский относит к буржуазным. „Какая же тут аристократия,—говорит он, анализируя проект Никиты Муравьева,—это программа среднего землевладения" [5]). „Русская Правда" Пестеля—чисто литературное произведение. Если бы декабристы победили, Пестель „вероятно имел бы удовольствие видеть свою работу в печати" [6]), но не более. Различие между Северным и Южным обществами было лишь организационное, хотя помещичий оттенок в планах северян гораздо заметнее. Буржуазия, развитию которой покровительствовало самодержавие, „была еще очень далека от тех притязаний, которые формулировали за нее ее литературные глашатаи" [7]). Дворянство держалось за барщинное хозяйство, единственно возможное при начинавшемся аграрном кризисе. Самодержавие помогло дворянству пережить период падения хлебных цен. К народу же декабристы боя-

1) „Р. И.", том III, изд. Т-ва „Мир", стр. 315.
2) Гранат, вып. I, стр. 79.
3) Там же.
4) Там же.
5) „Р. И.", том III, стр. 341.
6) Там же, стр. 334.
7) Там же, стр. 353.

лись обратиться. Таковы причины неудачи восстания 14 декабря 1825 года.

Разрабатывая главу о декабристах в III томе, Покровский, повидимому, не пользовался какими-либо новыми источниками по сравнению со статьей в „Истории" Граната. „Государственные архивы,—писал он в этой статье,—едва ли скрывают теперь хотя одну крупную тайну, касающуюся процесса декабристов"[1]). Это предположение оказалось неверным. Революция 1917 года дала возможность ознакомиться с подлинником „Дела" декабристов. Правда, особенно „крупных тайн" для Покровского там не оказалось, но все же новый источник заставил его изменить свои прежние взгляды на некоторые детали движения. В статье, написанной в 1922 году, Покровский проводит резкую грань между тайными союзами офицерской молодежи 1817—1821 г.г. и обществом декабристов.—„Смешивать Союз Благоденствия с заговором декабристов,—говорит он,—такая же и, даже, худшая—ошибка, как смешивать кружок Чайковского с Исполнительным Комитетом Народной Воли, хотя, в конечном счете, одно развилось из другого"[2]). Далее, Покровский доказывает, что заговор декабристов был заговором серьезным: существовала конспиративная техника. Техника самого восстания, о которой „принято очень дурно думать", стояла сравнительно высоко. Роль кн. Трубецкого, который „вошел в историю (также и в „Русскую историю" Покровского. *Н. Р.*) каким-то случайным человеком 14 декабря", освещена совершенно иначе. Трубецкой „был фактическим председателем Северного Общества... он держал в своих руках все связи с Южным Обществом"[3]). „У него был военный план"; изменил же Трубецкой по чисто военным соображениям. Разница между Северным и Южным обществами не в их организации или в решительности участников. „Было два заговора, ревниво следивших друг за другом"[4])... „два крыла—одно хвостистское, другое—революционное"[5]). Отношение декабристов к выступлению народных масс вовсе не было отрицательным. „Даже северные заговорщики отнюдь не чурались народа,—говорит Покровский, наоборот, выступление „народа" в лице простых солдат было непременным условием их собственного действия"[6]). Интересно освещение причин откровенного поведения декабристов на следствии. В „Истории" Граната Покровский видит в этом отсутствие „самой простой человечности и порядочности"; в „Русской истории в самом сжатом очерке" честь признания декабристов приписывается следовательским способностям Николая I—объяснения психологические. В цитированной статье 1922 г. дана историческая мотивировка: „выдавали декабристы из-за желания провалить Южное общество"—боялись революции.

Сравнивая разобранные главы о декабристах в „Истории" Граната и в III томе „Русской истории с древн. времен", мы видим, как неуклонно прокладывает дорогу мысль Покровского об определяющем влиянии торгового капитала на историю России. Влияние войны 1812—1815 г.г. на декабристов, о котором так много говорили буржуазные историки, сводится к описанию субъективных переживаний участников Северного и Южного обществ. Объективно—возможности

[1]) Гранат, вып. I, стр. 100.
[2]) Ст. Декабристы—Легенда и действительность. Записки Коммунистического Университета им. Свердлова. М. 1922, № 1, стр. 8.
[3]) Там же, стр. 13.
[4]) Там же, стр. 18.
[5]) Там же, стр. 17.
Там же, стр. 18.

экономического прогресса делали передового помещика буржуазным и толкали его против самодержавия.

В анализе народничества (теоретически Покровский придает этому анализу очень небольшое значение) историк идет дедуктивным путем (кстати сказать, это, кажется, единственный случай применения дедукции в его работах. Обычный метод Покровского—абстрактное отвлечение). Он доказывает, что класс или общественная группа, которая могла воспринять народнические теории, должна была характеризоваться „слабым развитием чувства собственности рядом с полным отсутствием какой бы то ни было производительной организации". Последовательно отбрасывая пролетариат и крестьянство, Покровский приходит к тому выводу, что этой группой было студенчество. „Русский социализм 70-х гг.,—говорит он,—являлся отражением интересов и миросозерцания очень небольшой и экономически невлиятельной группы. Этим объясняется относительная степень прочности „революции" и „реакции"[1]).

Думается, что Покровский уже в то время, когда он писал IV-том „Русской истории", сам сознавал шаткость своих положений. Иначе не пришлось бы ему, несмотря на отсутствие теоретического интереса к изучению народничества, отвести анализу „исторических эфемерид" (так называет Покровский революционные организации 70-х г.г.) больше места, чем, например, восстанию декабристов; не пришлось бы использовать для своих выводов всю „роскошь аргументов"—от социальной психологии до отвода некоторых источников—и указывать заранее на то, что „подбор цитат может показаться односторонним". Без сомнения, народнические идеи легче всего могли найти доступ именно в студенческую среду, социально-психологические особенности которой так мастерски оттенил Покровский. Но деятельность этой небольшой группы, самой по себе, без связи с основными пластами русского общества, не смогла бы до такой степени „потрясти все основы" русской государственности, чтобы вызвать на несколько лет, по возмущенному выражению современника, „совершенное отсутствие правительствующего правительства"[2]). База народнической революции оказывается слишком узкой. В анализ Покровского необходимо внести существенные поправки. Во-первых—в идеях народнических кружков отразилась незавершенность реформы 1861 г., сказавшаяся на крестьянском хозяйстве; во-вторых, нарастанию народнического движения способствовало оппозиционное настроение буржуазии. Покровский не написал новой, после IV тома, истории 70-х г.г. Но по некоторым его статьям, а также по последним лекциям[3]) можно судить о наметившейся перемене его взглядов в указанном смысле.

В статье „Константинополь", написанной в 1916 г., т.-е. через 3 года после выхода в свет IV тома „Русской истории", мы читаем: „Развитие капитализма (в 70-х г.г. *Н. Р.*) наталкивалось на устаревшие социальные перегородки. Противоречие экономическое не многими сознавалось, но это не мешало всем его чувствовать. Отсюда—чувство недомогания в буржуазных кругах. Революционное движение, поскольку оно было местным, а не интернациональным фактором, отражало собой именно это буржуазное недомогание (курсив мой. *Н. Р.*); только благодаря ему движение в этом периоде представляло собой какую-нибудь

[1]) „Р. И.", т. VI, стр. 171.
[2]) Гр. Валуев,—Дневник, изд. „Былое". Запись 11 апреля 1878 г.
[3]) Курсы, прочитанные в Ком. Университете им. Свердлова в 1922—1923 г.г.

угрозу для правительства... сочувствие буржуазного общества было на стороне революционеров" [1]).

В своих лекциях 1922—1923 г.г. Покровский, признавая неверным прежнее объяснение народничества не производственными, а бытовыми условиями, указывал на тот факт, что интеллигенция 70-х г.г. совпадала с мелкой буржуазией—сельским духовенством, мелким чиновничеством, разоряющимися по ещиками.

Специальная критика освещения Покровским народничества не входит в задачу настоящей статьи. Методологически интересно отметить отношение Покровского к источникам по истории народничества. Обычно очень осторожный в использовании мемуаров (об этом мы будем говорить ниже), Покровский, строя анализ народнического движения почти исключительно на данных мемуарного характера, принимает их без всякой критики. В то же время он считает, что доказательства от защитительных речей народников—„прием, который сам по себе нельзя сказать, чтобы не возбуждал никаких возражений с точки зрения исторической критики. Ведь, если можно характеризовать политические движения по защитительным речам,—продолжает Покровский,—то, логически рассуждая, нельзя запретить противной стороне характеризовать их по обвинительным актам" [2]). С этим утверждением Покровского нельзя согласиться. Вообще, конечно, „нельзя запретить",—в данном случае—можно. Обвинительные акты и речи намеренно, в политических целях, извращали действительность (чтобы устращать благонамеренного, но с „оппозицией", обывателя, надо было представить революционера 70-х г.г. в виде пугала и кровавого чудовища). В интересах же народников—было изложить на суде свое кредо возможно более правдиво и откровенно.

Смысл эволюции взглядов историка—от цитированных статей в „Истории" Граната до „Русской истории с древн. времен"—ясен.

На фронте идеологии историку-материалисту необходимо было поставить личность на должное место, т.-е. сбить идеалистическую историографию с ее главных позиций. Если в „Истории" Граната Покровский не всегда возражал против положений, выдвигавшихся историками-немарксистами, то в „Русской истории" он доказал, что политика государственной власти в России постоянно определялась социально-экономическими условиями, а не индивидуальными качествами того или иного лица, объяснив самые эти качества, в большей их части, как общие бытовые явления эпохи [3]).

Мысль Покровского не только шлифуется и уточняется, но, находясь в непрерывном „становлении", все более и более проникается историческим материализмом. Покровский 1911—1920 г.г. в несравненной степени больший материалист-диалектик, нежели Покровский—автор статей в „Истории" Граната.

III.

М. Н. Покровский—единственный историк, специально разработавший внешнюю политику России XIX века. Почему именно эта область истории привлекла его внимание,—нетрудно догадаться. Марксист, разбивший предрассудок о самобытности русской истории,

[1]) Сборник статей „Внешняя политика", изд. „Деница", 1918 г., стр. 24.
[2]) „Р. И.", том IV стр. 185, 186.
[3]) См., напр., О терроре Грозного, о быте Петровского двора (т. III, стр. 340; т. II, стр. 347 „Р. И.").

должен был, в первую очередь, проанализировать историю „смычки" русского народного хозяйства с западно-европейским. Орудием этой „смычки" и была внешняя политика. С другой стороны—подведение экономического фундамента под историю международных отношений лучше всего опровергало взгляд на политику как на самодовлеющую функцию внеклассового государства.

Осью, вокруг которой вращалась внешняя политика России с конца XVIII века, вплоть до 1914 года, М. Н. Покровский считает борьбу за Константинополь в интересах торгового, а впоследствии и промышленного, капитала. Еще в 60-х г.г. XVIII века интересы помещичьего хозяйства продиктовали захват проливов. В результате первой и второй турецких войн русский хлеб нашел доступ в Англию и положил начало англо-русскому союзу. Отказ Англии в предоставлении России субсидий на продолжение войны с Наполеоном в 1805 г. был причиной Тильзитского мира. Прекращение вывоза хлеба и железа в Англию ударило по карману русского помещика. С другой стороны, Наполеон отказал Александру I в Константинополе. Таким образом возникла война 1812 г. Стремлением на восток—рынок сбыта продуктов русской промышленности—объясняются персидская (1826—1828) и турецкая (1828—1829) войны. Желание Англии сохранить за собой господство над проливами и, следовательно, над дорогой в Индию повлекло охлаждение между Англией и Россией. Конкуренция русских промышленников в Персии довела это охлаждение до разрыва. Франция, перевозившая на своих судах английские товары, сблизилась с Англией и явилась ее союзницей в Крымской войне. Интересно отметить, что на экономическую основу войны 1854—1856 г.г. Покровский указал только в позднейшее время (в IV томе „Русской истории"). В статье 1907—1908 г.г. („История", изд. Гранат) он объяснял возникновение войны тем лишь обстоятельством, что „буржуазное общество (Франции. *И. Р.*) не могло терпеть занесенного над ним кулака феодальной России" [1]). Неудачная для России борьба за Константинополь, возобновившаяся в 1877 г., не разрешила „восточного вопроса". Вывоз хлеба в Пруссию и ввоз оттуда фабрикатов положил основу русско-германскому союзу, который для России означал дружественный нейтралитет Германии в возможной войне за Константинополь. Выступление Америки на международном хлебном рынке в 70-х г.г. понизило хлебные цены. Прусский помещик постарался спастись от разорения ввозными пошлинами, которые затронули его русского собрата. Экономический конфликт Германии с Россией толкнул последнюю на путь сближения с Францией (кредитором России), а затем и с Англией. На этом заканчивается разбор внешней политики XIX века.

В позднейшей популярной статье [2]) историк устанавливает два фактора войны 1904—1905 г.г.—стремление русской торгово-промышленной буржуазии при содействии французского капитала найти внешний рынок сбыта за слабостью внутреннего и желание Николая II воспользоваться корейскими богатствами для пополнения династического кошелька. Такой анализ предпосылок войны кладет конец ее прежнему объяснению, как авантюры кучки капиталистов на Ялу [3]). На лекциях 1921—1922 г.г. [4]) М. Н. Покровский наметил

[1]) Покровский, Дипломатия и войны царской России в XIX столетии изд. „Кр. Новь". 1924, стр. 120; кроме того, см. послесловие, стр. 390.
[2]) Русско-японская война",—„Молодая Гвардия", 1922, июнь, № 3.
[3]) Так, между прочим, трактовали войну и некоторые марксисты, напр., Навлович.
[4]) Курс „Внешняя политика", прочитанный в семинарии Истории России I лекторской группы Коммунистического Университета им. Свердлова в 1921—1922 г.г.; лекции 1922—1923 г.г. (есть стенограмма последних).

контуры анализа войны 1914—1917 г.г.—Англия, обеспечив Индию от России союзом с Японией, могла не бояться ни русской армии, ни, тем более, русского флота (погибшего в войне 1904—1905 годов). Таким образом препятствий для англо-русского союза не существовало. Россия в результате войны рассчитывала получить Константинополь. Свеклосахарные заводчики Волыни и Западного края были заинтересованы в устранении своего конкурента—венгерской промышленности.

Интересно, что в результате изучения русской внешней политики XIX века Покровский пришел к выводу о гибельности для царской России агрессивных выступлений на международной арене. „История дала новое предостережение,—писал он о войне 1904—1905 г.г. третье по счету [1]). Третье предостережение обыкновенно бывает последним" [2]). Марксистский анализ и историческое чутье позволили Покровскому сделать верный прогноз исхода войны 1914 года за 6 лет до ее начала.

IV.

В настоящее время Покровский известен, главным образом, как историк. О Покровском-историографе почти не говорят. А между тем ценные историографические замечания мы встречаем еще в ранних работах историка [3]). Собственно историографическими работами являются лекции, читанные в Коммунистическом университете им. Зиновьева [4]), и статьи в Вестнике Соц. Академии за 1923 г. Происхождение последних относится к полемике с Л. Троцким, которую уместнее всего будет изложить именно в этой связи. После выхода книги Троцкого „1905" Покровский возразил против трактовки Л. Троцким вопроса о взаимоотношении русского самодержавия, буржуазии и помещиков. Л. Троцкий утверждал, что „не равновесие экономически господствующих классов, как на Западе, а их социальная слабость и политическое ничтожество создали из бюрократического самодержавия самодовлеющую организацию" [5]). Покровский начал полемику с указания на важность вопроса о взаимоотношениях государственной власти и общественных классов в России. „Не так важно доказать,—писал он,—что Иисус Христос исторически не существовал, как то, что в России никогда не существовало внеклассовое государство" [6]). Нетрудно понять, почему правильное решение этого вопроса имеет для Покровского столь существенное значение—связь самодержавия с буржуазией обосновывает лозунг, формулированный им же в 1906 г.,—„палить в городового, значит пытаться стереть с лица земли буржуазию" [7]). Возражая Троцкому, Покровский доказывал, что торговый капитал в России XVI века был широко развит. „Кто бы мог подумать, что Дмитров и Вязьма могли быть центрами международного обмена" [8]). „Россия XVI века,—писал Покровский,—была новая страна, захваченная развитием торгового капитализма... ей пришлось отбивать себе место на сбыльшке у более старых... конкурентов. Для этого русскому торговому капиталу пришлось сковать страну железной дисциплиной и выработать железную диктатуру. Воплощением этой диктатуры и было московское самодержавие" [9]).

[1]) Первое—Крымская война; второе—Русско-турецкая 1877 г.
[2]) „История" Гранат, вып. IV, ст. Восточный вопрос, стр. 68.
[3]) Статьи 1902—1903 гг.
[4]) „Борьба классов и русская историческая литература", изд. Прибой, Птгр. 1923 г.
[5]) Троцкий, „1905" стр. 21, изд. 2.
[6]) „Красная Новь", 1922 г., № 3.
[7]) Сборник „Текущий момент", ст. Идеализм и мещанство. М. 1906.
[8]) „Красная Новь", 1922, № 3, стр. 149.

Л. Троцкий в своем ответе подчеркивает запоздалость и протекающее отсюда своеобразие русского исторического процесса, обвиняя М. Н. Покровского в перенесении современных экономических категорий (торговый капитализм) в докапиталистическую эпоху и в загипнотизированности сравнительно широким развитием торгового капитала в России XVI века [1]). „В последующую эпоху,—писал Троцкий,—самодержавие не только было органом имущих классов России, но и организацией европейской биржи для эксплоатации России". Эта двойная роль придавала ему очень значительную самостоятельность [2]).

М. Н. Покровский разбил первое обвинение ссылкой на Маркса, который считал ростовщический и купеческий капитал средневековой формой капитала вообще. М. Н. Покровский не отрицал, что „развитие России по типу—есть развитие колониальных стран", но указывал на то, что именно туземное накопление обусловило тот факт, что „форменной колонией Россия все-таки не была". Темп русского исторического процесса—отнюдь не медленный. „Сосуществование примитивов и „последних слов" науки и техники—одна из признаков катастрофически быстрого развития капиталистической России [3]). Собственно этой статьей полемика и закончилась,—в последней статье („Кончаю" 13/VII) М. Н. Покровский обещал объяснить, „как возникла та внеклассовая схема, которая сыграла роль в исторических экскурсах тов. Троцкого". Это обещание он выполнил в 1922—1923 годах на страницах „Вестника Социалистической Академии.

Основоположником внеклассовой теории русского государства М. Н. Покровский считает Карамзина, идеология которого рухнула вместе с крепостническим барщинным хозяйством. Схему закрепощения и раскрепощения государством всех классов дал Чичерин. Небольшое историческое отступление позволит нам проследить эволюцию историографических взглядов М. Н. Покровского. В 1903 году, анализируя происхождение теории Чичерина, Покровский устанавливал две линии: первая—западничество и вторая—прогрессивность Чичерина. „Ничем нельзя было лучше доказать, что... мы в силах уже примкнуть к общеевропейскому потоку политического развития,—писал М. Н. Покровский,—как именно преобладанием „государственного начала" в нашем политическом росте за последние столетия" [4]).

С другой стороны—„перед 1861 годом быть прогрессистом—значило быть гувернементалистом" [5]), так как только государство могло дать отпор реакционным помещикам и провести реформу, несмотря на их противодействие.

Статья в „Вестнике Социалистической Академии" дает разбираемому вопросу совершенно иное толкование. Используя переписку

[1]) Статьи в „Правде" 1 и 2 июня 1922 г.
[2]) Там же.
[3]) Правда, 5 июля.
[4]) Ст. в „Кр. Нови", 1922, № 3. Правда ли, что в России абсолютизм существовал наперекор общественному развитию, стр. 151.
[5]) Интересно отметить, что сам Покровский не миновал теории внеклассового происхождения русского самодержавия. „Власть,—писал он в 1905 г. о России XVII. века,—в силу внешних политических условий организовалась раньше общества. Внутренней необходимости здесь не было. Если бы борьба с Польшей и Швецией в XVII веке не выдвинула на первый план военно-финансовой задачи и потребности в сильной центральной власти, может быть, власть и общество организовались бы постепенно, рядом, не обгоняя друг друга—и ход нашего политического развития был бы иной" (Сборник „Конституционное государство", 1905, Спб., изд. Гессена и Каминки. Ст. „Земский собор и парламент").
[6]) Сборник „Мелкая земская единица", Спб. 1903, ч. 2, ст. „Местное самоуправление в древней Руси", стр. 226.
[7]) Там же, стр. 227.

Чичерина с Герценом, Покровский показывает, как Чичерин во время реформы боялся „потрясения основ" снизу, как желал он твердой руки государства, предупреждающего какое бы то ни было осложнение со стороны „освобождаемых". „Человек—в данную минуту все строивший на силе правительственной власти...—пишет Покровский,—став историком, должен был для успокоения себя и своего класса искать доказательств этой силы и слабости „сословий", особенно—крестьянства" [1]). Покровский 1923 г. думает, что государство для Чичерина-прогрессиста было спасителем от реакционных стремлений помещиков. Покровский 1903 года считает, что для Чичерина-помещика государство являлось спасителем от крестьянской революции. И для исторической науки, и для историка не прошли даром 20 лет и две революции, разделяющие цитированные статьи.

После Чичерина „внеклассовая теория держалась потому, что железная рука была необходима, пока буржуазия не почувствовала, что она может стоять на собственных ногах, т.-е. до начала XX столетия". Войны с турками во второй половине XIX века дали повод к возникновению теории борьбы со стенью, сформулированной Соловьевым [2]). Ключевский скомбинировал обе теории: для борьбы со стенью государство закрепостило классы; когда же борьба закончилась, государство их раскрепостило. Кадетские историки проводили внеклассовую теорию потому, что „внеклассовая верхушка русского государства предполагала и возможна сть внеклассовой перестройки этой верхушки. Самодержавие должно было быть заменено конституционной монархией, но при чем тут... пролетариат и крестьянство: от них можно отделаться уступками в социальной области... а политическая власть должна остаться внеклассовой, т.-е. буржуазной" [3]).

Плеханов, по мнению Покровского, искал в русской истории обоснования меньшевизма. Ему надо было показать, что в формально-политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, „вся суть дела", что „открытая борьба классов не характерна для русской истории" [4]). Оборончество Плеханова отражало интересы технической интеллигенции.

Идеалистическая историография, разбирая работы того или иного историка, устанавливала лишь формальную связь его взглядов с предшествовавшими или современными теориями. Развитие исторической мысли, таким образом, соприкасалось с социологическими и философскими учениями, но отрывалось от действительной жизни. М. Н. Покровский стал рассматривать историка, как представителя класса, как человека, испытывающего на себе влияние определенной социально-политической обстановки. Он показал, как общественные симпатии историка отражаются в его научных работах и, таким образом, положил начало марксистской историографии.

V.

Изучая работы М. Н. Покровского, нельзя пройти мимо его рецензий и публицистических статей. М. Н. Покровский остается историком и в публицистике. Достаточно напомнить его статьи о внешней политике, написанные во время последней войны с целью разоблачить русских империалистов, в которых дан анализ русской внешней политики в конце XVIII и в XIX веке. Просматриваешь ли полемику М. Н. Покровского с кадетами в 1906—1908 г.г., или читаешь его рецензии в журналах—на каждой странице попадаются меткие исторические характеристики, образные аналогии и формулировки.

Необходимо, хотя бы бегло, коснуться еще двух работ М. Н. Покровского—„Очерков по истории русской культуры" и „Русской истории в самом сжатом очерке", в которых Покровский проявил себя, как исключительно талантливый популяризатор. Распространяться о значении их не приходится. Достаточно сказать, что это—первые и, пока что, единственные популярные марксистские изложения русской истории. В „Очерках" новыми, по сравнению с „Русской историей", являются главы об эволюции религиозных представлений и политических идеологий.

Некоторые положения, выдвигаемые М. Н. Покровским в указанных работах, нуждаются в поправках. Так, например, в „Русской истории в самом сжатом очерке" интеллигенция трактуется, как „промежуточный класс между предпринимателями и мелкой буржуазией", который „живет на прибавочный продукт" [1]). Во-первых—теория исторического материализма квалифицирует интеллигенцию не как класс, а как междуклассовую прослойку; во-вторых—вопрос об источнике средств существования интеллигенции решается, по нашему мнению, иначе, чем утверждает Покровский. Интеллигенция не представляет собой единой группы, и если часть ее действительно живет на прибавочную стоимость капиталистов (например, адвокаты, имеющие собственные конторы, актер, не работающий по найму у капиталистов и т. п.), то другая часть (большая, особенно в передовых капиталистических странах) сама создает прибавочную стоимость. Так, например, „учителя,—говорит—Маркс, могут быть в учебных заведениях простыми наемными рабочими для предпринимателя заведения... Он обменивает свой капитал на их рабочую силу и обогащается путем этого процесса" [2]). О технической интеллигенции Маркс говорит: „...эти лица (надсмотрщики, инженеры на фабриках. *Н. Р.*)... непосредственно воспроизводят для капиталистов не только свою заработную плату, но и прибавочную ценность" [3]). Далее. В „Очерках по истории русской культуры" Покровский выводит происхождение политических идеологий из религии. „Древнейшие политические идеи,—пишет он,—суть не что иное, как приложение религиозных понятий и представлений к отношениям власти и подвластности" [4]). Возражать против этого утверждения не приходится. Но Покровский, правильно осветив процесс образования политических идеологий, недостаточно подчеркнул и даже затушевал их экономическую основу. Так, например, он находит, что экономическое превосходство отдельных людей не могло обусловить появления личной власти, так как „в первобытном обществе люди слишком похожи друг на друга" [5]). Конечно, М. Н. Покровский считает политическую идеологию надстройкой над экономикой—иначе он не был бы марксистом. Но из изложения цитированной главы этого не видно, и трактовка происхождения политической идеологии может ввести в заблуждение.

---

[1]) „Вестник Соц. Академии" 1923 г., № 1, стр. 53.
[2]) „Вестник Соц. Академии", 1923 г., № 2, стр. 4—5, 12.
[3]) „Кр. Новь", № 3, 1922 г., стр. 146.
[4]) „Под Знаменем Марксизма" 1923, № 6—7, ст. „Плеханов как историк", стр. 16, 17.

[1]) Русская история в самом сжатом очерке, ч. II, стр. 159, изд. 2, Гиз.
[2]) Маркс, Теории прибавочной ценности, вып. 1, изд Ком. У-та им. Зиновьева, Петроград 1922, стр 77.
[3]) Там же, стр. 78. Подробнее о классовой сущности интеллигенции см. Горев: ст. „Интеллигенция, как экономическая категория" в журнале „Пролетарское студенчество", 1922 г., Москва, №№ 1 и 2.
[4]) Очерки по истории русской культуры, изд. 2, ч. 2, стр. 100.
[5]) Там же.

VI.

Метод Покровского — это метод ортодоксального исторического материализма. Покровский—диалектик. Нет ни одного явления в русской истории, которое бы он рассматривал в застывшем состоянии. Отсюда—логичность и непрерывность русского исторического процесса в трактовке Покровского. Мысль историка не допускает провалов. Для него не только социальные явления вырастают из сложившихся экономических отношений; идеи, возникающие у отдельных лиц — типичны для данного времени. Так, например, говоря о самозванстве Пугачева, Покровский замечает, что „... как раз в этом пункте Пугачев был наименее оригинален“ [1])—в то время было много людей, прикрывавшихся именем Петра III. Указывая на новую психологию декабристов, историк прибавляет, что она „дает себя чувствовать уже около 1801 года“ [2]). В работах Покровского, вместе с тем нельзя найти априорных, искусственных положений. Он искусно комбинирует факты, используя одни, отбрасывая другие, улавливая связь их редким чутьем „правильной исторической перспективы“ (справедливо отмеченным Нечкиной).

Это сказывается в расположении событий и лиц. Историк бросает яркий свет на те из них, которые до сих пор оставлялись в тени историками идеалистами. Так, например, в „Русской истории“ он отводит военным событиям 1812 года всего 2—3 страницы, но за то подробно останавливается на влиянии континентальной блокады и на настроении русского общества во время войны. Лица, которых мы привыкли видеть на авансцене истории, отходят назад, и из-за кулис выдвигаются не столь известные, но фактически—главные персонажи. Так, место Александра I занимают „молодые друзья“, место Александра II—деятели губернских комитетов и редакционных комиссий и т. д. В своих работах Покровский пользуется сравнительно-историческим методом, посредством которого он разбивает предрассудок об абсолютном своеобразии русской истории.

Метод Покровского определил подбор источников и подход к ним. Он широко использовал мемуары, дипломатическую переписку и записки иностранцев. Последние Покровский характеризует, как „источник особенно ценный, ибо как раз иностранцы подходили к русским с экономического конца, которого туземцы не замечали, как человек не замечает воздуха, которым дышит“ [3]). Новейший историограф Покровского отмечает „очень скептическое отношение“ [4]) „ко всем источникам, непосредственно касающимся всех активных проявлений деятельности государства—к... государственным актам, приказам, договорам“ [4]).

Очевидно, такой скептицизм объясняется тем, что в документах, исходивших непосредственно от государственных организаций, намеренно затушевывалась их классовая сущность.

Для нас важен не только выбор источников Покровским, но и та историко-материалистическая критика их, которую дает Покровский в различных своих работах. Так, например, строя историю восстания декабристов, главным образом, на их мемуарах, он указывает на то, что декабристы большей частью писали свои воспоминания

[1]) „Р. И.“, том III, стр. 175.
[2]) Там же, стр. 266.
[3]) „Кр. Новь“, 1922 г., № 3 (7). Рецензия на кн. Виппера.
[4]) Нечкина, Русская история в освещении экономического материализма, 1922, Казань, Гиз, стр. 103.

под впечатлением надвигавшейся крестьянской реформы... Естественно, что (им) на склоне лет реализация хотя части их планов казалась уже весьма важным успехом и... в воспоминаниях декабристов освобождение крестьян начинает играть далеко не ту скромную роль, которую оно исполняло в планах тайных обществ“ [1]).

VII.

Интересно остановиться на внешней стороне работ М. Н. Покровского. Его „редкое литературное дарование“ было отмечено еще В. П. Семевским и другими критиками. „Манера изложения у Покровского,—пишет Нечкина,—пленяет своим изяществом и живостью; иногда удивляет яркостью своих описаний“ [2]). Особенность стиля Покровского—это его образность и парадоксальность. Возьмем наудачу несколько примеров. О быте Петровского двора Покровский говорит: „Нельзя было разобрать, где кончалась улица и начинался царский дворец. Ибо и там, и тут было одинаково бесчинно, шумно и пьяно, и там, и тут была одинаково пестрая и бесцеремонная толпа, где царского министра в золоченом кафтане и андреевской ленте толкал голландский матрос, явившийся прямо с корабля, и немецкий лавочник, пришедший прямо из-за прилавка“ [3]). Парадоксы—диалектика слова—особенно часто встречаются у Покровского. О дворянском фритредерстве он пишет: „...свобода торговли была нужна русскому помещику затем, чтобы сбывать... продукты крепостного хозяйства“ [4]). О декабристах: „заговор, недостаточно аристократический для дворцового переворота, и слишком дворянский для народной революции“ [5]), „переворотная революция“ [6]). Покровский скуп на слова. Результаты своего анализа он концентрирует в четкие, резкие, почти алгебраические формулировки. Так, например, связь аграрной революции с прекращением войны 1914 года он выражает в насыщенной мыслью фразе: „дать старику-крестьянину землю, держа на фронте его работников-сыновей, было так же невозможно, как не дать земли этим работникам, когда они вернутся с фронта [7]).

Для Покровского характерно ироническое отношение к историческим персонажам. Если Ключевский—„историк, который смеется“ (по выражению Айхенвальда), иронизирует добродушно, то ирония Покровского довольно злая. Он разоблачает, развенчивает героев идеалистической историографии. Немудрено, что по пути попадает и „героям“, и историкам-идеалистам.

Стиль Покровского далек от „каллиграфии“ (которая была свойственна Ключевскому). Его отличительная черта—это простота. Он рассказывает, и рассказывает так непосредственно, как если бы он был современником далеких событий. Он смотрит в прошлое не в микроскоп, а в бинокль. Не увеличивает, но приближает. Отсюда—уменье придавать всем историческим событиям будничный характер (что правильно отметила Нечкина).

Эволюция формы работ Покровского послушно следует за развитием диалектики в содержании. Сравните слог его ранних статей 1903—1905 г.г. в „Истории“ Граната) с „Русской историей с древней-

[1]) „Гранат“, вып. I, стр. 99.
[2]) Нечкина, стр. 103.
[3]) „Р. И.“, том III. стр. 345.
[4]) Там же, стр. 332.
[5]) Там же, стр. 368.
[6]) Записки Ком. Университета им. Свердлова, 1922 г., № 1, ст. Декабристы.
[7]) Сборн. „Интеллиг. и революция“, М. 1922 г., ст. „Противоречия Милюкова“.

ших времен". Он своеобразен повсюду, но какая разница. До „Истории" Граната включительно—длинные периоды, закругленные фразы. В „Русской истории"—вопросительные и восклицательные знаки, парадоксы, словом, разговорный стиль, ускоряющий темп изложения. Все это, как нельзя лучше, выражает противоречивость русского исторического процесса, которая особенно четко проводится в „Русской истории с древнейших времен". Такое соответствие формы и содержания станет понятным, если мы уясним себе связь искусства слова с диалектикой. Вот, что говорит по этому поводу современный философ-марксист: „В корне уничтожая абсолютные контрасты, рассматривая каждый предмет не изолированно, а в ряду единого целого, диалектическое мировоззрение открывает необъятный простор для проявления во всей силе тонкости и глубины восприятий, меткости наблюдений и искусства воссоздать наблюденное и воспринятое [1]). Это утверждение может быть отнесено не только к современнику наблюдаемых событий, но и к историку, воспроизводящему прошлое по документам и другим историческим памятникам.

Итак, художественностью отображения исторического процесса М. Н. Покровский обязан диалектическому его пониманию.

VIII.

Можно сказать вполне определенно, что русская историческая литература почти единодушно игнорировала Покровского. Перепевая на разные лады Ключевского, буржуазные профессора пытались с высоты своих кафедр отмолчаться от попытки марксистского истолкования русской истории. До последнего времени мы имели лишь несколько рецензий, в большей своей части не столько научного, сколько ругательного свойства.

Правда, статья Покровского о Земском соборе, написанная в 1903 году, была встречена критикой, „как крупное в научном отношении произведение, отличающееся широкой постановкой вопроса и самостоятельностью исторических взглядов" [2]). Но скоро кадетские историки поняли с кем они имеют дело. Уже статьи в „Истории" Граната, главным образом, касавшиеся декабристов, вызвали ожесточенные нападки. Кизеветтер, возмущаясь „поношением памяти" „пионеров русского освободительного движения", писал: „пусть какой-нибудь декабрист-заговорщик никогда не отрешался от своих классовых предрасположений, все же это не дает основания отождествлять (разрядка моя. *Н. Р.*)... Каховского с Гоголевской Коробочкой, сосредоточивавшей все свои помыслы на том: как бы повыгоднее сбыть птичьи перья, масло и яйца" [3]). Семевский, признавая М. Н. Покровского талантливым историком, также упрекал его за классовую характеристику декабристов и замечал, что „мысль автора написать почти одному всю русскую историю с древнейших времен не может не показаться несколько смелою" [4]).

---

[1]) Аксельрод (Ортодокс), Сборник статей о Толстом, Гиз, стр. 13.

[2]) Сборник „Мелкая земская единица", вып. 2, Спб. 1923, ст. Ипполитова „Вопрос о мелкой земской единице в литературе".

[3]) „Русская Мысль", 1908, кн. 1, Кизеветтер. Царствование Александра в новом освещении.—Что за инте претация? Где узрел Кизеветтер отождествление *идеолога* класса с *рядовым* его представителем.

[4]) „Голос Минувшего", 1903, кн. 7. Рецензия Семевского на „Русск. ист. с древн. времен".

Из сочувственных отзывов, принадлежащих перу марксистов, можно указать на рецензию Ольминского („Совр. Мир" 1908, кн. 1).

Лишь недавно появилась работа, трактующая Покровского, не как автора той или иной статьи, а как историка вообще. Мы говорим о книге М. В. Нечкиной—„Русская история в освещении экономического материализма" [1]). Главное достоинство этой книги состоит, к сожалению, только в том, что она представляет собой единственное историографическое исследование о М. Н. Покровском. Именно поэтому придется уделить ей больше внимания, нежели она заслуживает. Я не буду останавливаться на том, что автор книги не дооценил в экономическом материализме одного из главнейших его положений—теории классовой борьбы и определяет принадлежность какой-либо исторической работы к экономическому материализму наличием только одного признака—экономического монизма. Не буду задерживать внимания читателя и на том факте, что глава, трактующая основные положения и эволюцию теории экономического материализма, является ничем иным, как окрошкой из цитат ортодоксов и ревизионистов, с явным сочувствием автора на стороне последних. Перейду к анализу Нечкиной работ Покровского.

Излагая схему Покровского по пятитомной „Русской истории с древн. времен", Нечкина старательно опускает сущность исторического процесса, выдвигая на первый план его форму. Так, например, говоря о „печище", она характеризует его, как форму коллективного землевладения [2]). Нетрудно заметить, что эта фраза Покровского вырвана из контекста. Основным признаком „печища" Покровский считает не землевладение—момент производный, а коллективное земледелие и коллективное же потребление производимых продуктов. В изложении феодализма опущен процесс образования крупной собственности. Далее, Нечкина приводит цитату Покровского о том, что „первым признаком... выветривания феодализма надо признать желание землевладельцев получать доход с земли в денежной форме" [3]) и этим ограничивается. Суть дела не в этом. Покровский говорит, что само это желание объяснялось развитием рынка. Нечкина считает, что „Русская история с древн. времен" есть „во-первых, эскиз, а, во-вторых, популярный эскиз". Разберемся в этих утверждениях. Первое Нечкина поясняет следующим образом: „Если,—говорит она,—мы встречаем в плане (оглавлении. *Н. Р.*) указание на факт первостепенной важности, предполагающий детальное исследование, мы часто рискуем горько разочароваться, обратившись к тексту... Указанный вопрос трактуется в тексте на протяжении двух строк, или приводится упоминание одного частного случая, или вопрос только повторяется" [4]). Нечкина забывает, что „первостепенная важность" того или иного факта (кстати, каким образом Нечкина усматривает важность или неважность фактов из оглавления) не есть абсолют, одинаково обязательный для всех историков. Мы уже приводили пример того, как распространенно изъяснялись историки-идеалисты о военных событиях 1812 года и как мало внимания уделил им Покровский, именно потому, что он не придавал описанию военных событий „первостепенной важности". Действительно, „Русская история с древн. времен" не является строго законченной работой в отдельных ее частях—ее автору по собственному призна-

---

[1]) Казань, Гиз, 1921.

[2]) Нечкина, стр. 98.

[3]) Там же, стр. 99.

[4]) Там же, стр. 105, 106.

нию приходилось быть одновременно исследователем и автором общего курса [1]). Если заглянуть на вопрос с этой стороны, то и тогда упрек в эскизности можно принять лишь с большими оговорками.

Что же касается популярности, то „Русская история" популярна не более каждого общего курса, и, пожалуй, даже, еще менее,—так как для ее понимания требуется предварительное знакомство с фактами русской истории. Покровский, как популяризатор, выступает только в „Очерках по истории русской культуры" и в „Русской истории в самом сжатом очерке". О популярности „Русской истории с древн. времен" можно говорить только в том смысле, что автор отказался от запутанного языка ученой касты.

Нечкина с особенным удовольствием цитирует неверное, очевидно случайное, замечание Покровского о том, что „в истории... медленные молекулярные процессы дают более крупные, и, главное, более прочные результаты, чем отдельные катастрофы" [2]). Именно это случайное замечание как нельзя меньше характерно для историка. Покровский постоянно указывал на исключительно быстрый, „катастрофический" ход развития русской истории. Доказательству этого посвящена, между прочим, специальная его статья „Корни большевизма в русской почве" [3]), и, в сущности говоря, все работы. Попытка Нечкиной представить Покровского мирным эволюционистом может быть объяснена только желанием исказить революционную тенденцию его работ. В связи с этим характерно отметить, что Нечкина осуждает Покровского за „тон злободневного публициста, режущий слух в научной работе своими насмешками" [4]). Может быть, - „беспартийному" и наибеспристрастнейшему критику тон Покровского действительно „режет слух". (Не потому ли Нечкина „прослушала" сущность схемы Покровского?)

Мы, конечно, не можем присоединиться к этому утверждению. Для нас важен разоблачающий, революционизирующий характер „Русской истории с древн. времен", который не расходится с объективностью исторического анализа. Слишком большое значение придает Нечкина новой периодизации истории Покровским. Это ведет к тому, что она не находит „факта совпадения" периодизации „Русской истории с древн. времен" и „Очерков по истории русской культуры", в то время, как одинаковость схем исторического процесса в России, как он изложен в обеих работах, совершенно ясна. Разница лишь в том (к этой мысли подходит и сама Нечкина), что в „Очерках" дана периодизация „исключительно хозяйственного развития России". Никакого противоречия с теорией экономического материализма здесь нет.

Итак, первая работа о Покровском страдает не только изобилием ошибок, но и непониманием того главного, что дал историк. Работы Покровского еще ждут своего историографа.

IX.

Заканчивая статью, я хотел бы подчеркнуть ее основные мысли и выводы.

1. У М. Н. Покровского нет предшественников в русской историографии. Достижения последней он использовал лишь в качестве материала для своих построений. Работы Покровского — результат приложения теории исторического материализма к анализу исторического процесса в России. „Коммунистический Манифест" и „Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта" более близкие родственники „Русской истории с древнейших времен", нежели труды Ключевского и даже Рожкова.

2. М. Н. Покровский свел русскую историю к проявлениям классовой борьбы и диалектики исторического процесса; окончательно разбил предрассудок об абсолютном своеобразии истории России, включив ее в цепь общемировой истории—словом, первый дал ей анализ с точки зрения революционного марксизма.

3. Разработал историю внешней политики России XVIII—XIX в.в. и положил начало марксистской историографии и применению социальной психологии в исторической науке.

4. Дал блестящую популяризацию истории классовой борьбы в России.

5. В лице Покровского русская историческая наука едва ли не впервые стала устанавливать тенденцию исторического процесса. Первые шаги к прогнозу будущих событий исключают самую возможность постановки вопроса о „научности" исторической науки.

6. Мысль Покровского, сохраняя в начале остатки идеализма, в дальнейшем своем развитии все более и более проникается диалектикой и, наконец, приходит к подлинному историческому материализму Маркса-Энгельса.

7. Если история народного хозяйства России сравнительно полно освещена историком, то в области марксистского анализа идеологий для Покровского и его последователей осталось еще большое поле для работы.

---

[1]) „Р. И.", предисловие.
[2]) Нечкина, стр. 104.
[3]) „Правда", 1923 г., № 56, 14 марта.
[4]) Нечкина, стр. 106.

По поводу статьи тов. Рубинштейна.

М. Покровский.

Свое развитие, как историка, я делю на три периода. Первый, до 1905 года, можно охарактеризовать, как период демократических иллюзий и экономического материализма. В центре стояло: обосновать экономическую интерпретацию исторического процесса. Задача, главным образом, академическая—русскую историю нужно было понять, иначе не дашь ее понять другим, попросту не изложишь ее, а я как раз начинал выработку своих курсов. Как типичный „академик", политически я (да и не один я, а, думаю, мы—тогдашние историки-материалисты) был настолько мало чуток, что отлично уживался с буржуазными демократами: тошнить нас начинало только от буржуазного либерала. Классовой борьбы не было около нас—а с массами мы, академики, соприкасались мало. Притом же классовая борьба принимала в те дни иной раз очень уродливые формы (зубатовщина): уложить их в нашу демократическую программу было очень трудно. Классовая борьба оставалась теорией и, как чистая теория, мало отражалась в исторических построениях: ибо конкретные формы исторической интерпретации всякий историк берет из окружающей практики, сознает он это или нет (см. „Классовая борьба и русская историческая литература").

К этому периоду относятся мои ранние курсы, статьи 1903—1904 г.г., цитируемые тов. Рубинштейном и, как заключение, статьи в гранатовской „Истории России в XIX в.".

Частью, однако, эти статьи принадлежат уже второму периоду (1905—1917). Классовая борьба, благодаря 1905 г., из теории стала жизненным фактом—без нее уже нельзя понять исторического процесса. В то же время экономическая интерпретация истории стала вне спора (см. введение к I части „Очерка истории русской культуры"). Но, что гораздо важнее, под влиянием отчасти того же 1905 года, отчасти пребывания, благодаря эмиграции, в „первой демократии Европы", которую был досуг рассмотреть в ее домашнем быту—рушатся окончательно демократические иллюзии. Явная, опять-таки не только теоретически по-

нятая, а почувствованная, кургузость политических идеалов мещанства приводит даже к анти-демократической реакции. В параллель модному среди широких кругов партийной интеллигенции лозунгу: „буржуазная революция кончена!" вырастает лозунг: „буржуазная революция невозможна! Мир вышел из периода буржуазных революций—грядущая революция может быть только социалистической". Выкидышная русская демократия 1917 года и разгон нами учредилки как будто показали, что я не был совсем неправ.

Тов. Рубинштейн правильно заметил, что этот период дал себя почувствовать даже в стиле моих писаний—главным образом „Русской истории с древнейших времен". Пережитая, а не в книжке вычитанная диалектика отразилась даже в манере изложения. Пронизывая весь исторический процесс, эта диалектика стала видна в любом будничном событии, в тривиальном канцелярском документе (см. спор сената, воплощавшего дворянскую реакцию, с верховным тайным советом, воплощавшим последнюю вспышку торгово-капиталистической революции XVII—XVIII в.в., при Екатерине I), тем более в споре крестьянина-бедняка с кулаком—тем более в столкновении целой деревни с помещиком. Вот в какой связи появилась у меня смутившая тов. Рубинштейна фраза о „молекулярных процессах". Достаточно взять эту фразу в контексте, чтобы было ясно, что тут речь идет вовсе не о „мирной" эволюции в буржуазном духе, а о той классовой борьбе, которая наполняла экономические будни русской деревни XVI—XVII в.в. Это вовсе не „случайное" замечание, могу уверить тов. Рубинштейна, и отнюдь не „неверное": иначе не прав был бы и тов. Ленин, придававший такое огромное значение столь „будничной" и „прозаической" вещи, как кооперация. Классовую борьбу можно вести не только из-за баррикады, но и из-за прилавка.

Третий период моего развития я считаю с революции 1917 г. Она доделала то, что было уже заложено во втором периоде—почему между вторым и третьим периодами нет того прорыва, который чувствуется между первым и вторым—но доделала так радикально, что здание получило совершенно новый вид, неожиданный отчасти для самого архитектора в пору закладки фундамента. Тут моя личная история ничем не отличается от судьбы всех живых историков, которые все переменили вехи в том или другом направлении (примеры: Виппер в одном направлении, Пресняков, Тарле в другом, и кто угодно еще). На прежних позициях после 1917 года остались только безнадежные академические засушины. Красный потоп размыл и обнажил такие геологические глубины, которые не снились даже и марксистам: одни испугались этих глубин и полезли на старый берег, от которого, казалось, они отчалили давным-давно, другие увидали перед собою материк такой глубины и твердости, что самые „смелые" их обобщения вчерашнего дня показались им детским лепетом.

К этому периоду относится окончательная концепция русского

исторического процесса, изложенная мною в месте, мало, конечно, подходящем для оригинальных концепций—в учебнике („Сжатый очерк"). По изложению, это, вероятно, одна из самых плохих моих книжек—она даже, ведь, не вся и написана, на добрую долю это кое-как исправленная стенограмма. Вообще в этот период заниматься стилем мне было совершенно уже некогда. Этим объясняются многочисленные внешние lapsus'ы, один из которых правильно отметил тов. Рубинштейн: интеллигенция названа классом. В утешение себе могу только сказать, что этого не заметил и Владимир Ильич, читавший книжку... В то же время, впервые вставши передо мною во всей своей грандиозности действительно материалистическая картина русского исторического процесса открыла передо мною ряд прорех в моих старых изложениях русской истории—но чинить их, как следует, было опять-таки некогда. И меня, конечно, можно „убить" целой тучей мелких противоречий, которые имеются между тем, что написано, хотя бы, в „Русской истории с древнейших времен", и тем, что я говорю и пишу теперь. Если бы я был только профессором—костюм, от которого я долго отбивался, пока Октябрьская революция не надела его на меня насильно—это, может быть, было бы и действительно для меня убийственно. Но я на своем, хотя и очень скромном, месте тоже участник революции: а она разве не переполнена мелкими противоречиями? Она соткана из них—но только педант может к ним придираться. Историки следующего поколения, располагая большим досугом, и еще более изощренные в диалектическом понимании процесса, чем мы, сумеют, вероятно, понять и объяснить историческую неизбежность этих противоречий. Они, конечно, не станут клясться нашими словами—плохие они тогда были бы марксисты,—они признают, что уж кому-кому, а нам, работавшим в сверхдьявольской обстановке, нельзя ставить всякое лыко в строку, но признают также, надеюсь я, что, благодаря нам, им есть с чего начать...

ТРИБУНА.

Ревизор.

С. Гоникман.

Наша статья „Учение Гегеля о действительности" [1]) вызвала горячую критику т. Карева [2]).

Мы прекрасно знаем, что нашу статью, в которой сделана попытка поставить несколько новых вопросов, ждет суровая и серьезная критика; мы бы ее горячо приветствовали. Но не в критике интерес статьи тов. Карева. Если бы интересоваться только спором по существу выставленных в нашей статье вопросов, то нам нечего было бы делать с каревской критикой. Не потому, конечно, что мы преисполнены априорного пренебрежения к знаниям и талантам тов. Карева. Наоборот, мы бы с гораздо большей охотой взялись за перо, если бы тов. Карев дал критику нашей статьи по существу, нежели делаем это сейчас.

Интерес каревской статьи лежит в другом. Она сигнализирует новую опасность в нашей общественной литературной жизни.

Основной руководящей нитью каревской статьи является не просто вскрытие тех или иных ошибок, а борьба с ревизионизмом. В высоких идеологических сферах завязывается борьба, которая отражает возрождение буржуазной стихии в нашей экономической действительности. „На почве всех этих движений растут, с одной стороны, враждебные нам воззрения, с другой—уродливые извращения в нашей собственной марксистской среде. Опаснее всего они бывают, когда выставляются под флагом „развития", „углубления" и т. д. марксистского мировоззрения. Марксизм по самой своей природе не есть что-то мертвое и навсегда застывшее. Он по самому существу своему есть орудие критики. Но надо уметь различать ревизионистское, делающее „эпоху" „углубление" марксизма, от ортодоксальной марксистской критики отживающих общественных форм".

Далее идет пояснение, как следует понимать ортодоксальное развитие марксизма: „Ортодоксальная марксистская критика никогда не провозглашала даже свое несогласие в том или другом пункте со старой теорией указанием на какую-либо новую эпоху в ее развитии. Она всегда считала себя призванной не нарушать завет, а исполнить его. Развивать марксизм—это значит проверить его положения на современной нам действительности и современном нам знании, осознать их с его точки зрения" [3]).

Установив эти опорные пункты, тов. Карев предается обличению нас в ревионизме и защите марксизма.

---

[1]) Журнал „Под Знаменем Марксизма", №№ 1 и 3 за 1924 год.
[2]) Карев—О действительном и недействительном изучении Гегеля,—„П. З. М.", № 4—5.
[3]) Статья тов. Карева, стр. 241.

Что ж,—скажет читатель,—и хорошо делает! Если он даже впадает в те или иные ошибки,—„пусть не хватает сил, само намерение похвально". В том-то и дело, что центр интереса в каревской статье заключается вовсе не в намерении бороться с ревизионизмом и не в тех или иных ее ошибках, а в самом ее характере.

Разбор любой страницы этой статьи был бы достаточен для характеристики всей статьи, но, чтобы быть в максимальной степени добросовестным, мы разберем четыре основных обличения тов. Карева, которые бесповоротно доказывают наш ревизионизм:

1. „Новая эра".
2. Субстанция.
3. Материя.
4. Теория факторов.

1. „Новая эра".

В нашей статье в № 1 „П. З. М." мы пишем: „Только безнадежно-слепой человек не видит, что молекулярная работа, происходящая в наших вузах, кружках и школах, готовит новую эру в марксизме. Мы говорим: новую эру, потому что дело не только в том, что у нас будут десятки и сотни тысяч грамотных марксистов,—изучение и обобщение огромного опыта нашей революции, разработка марксизма и его источников в стране победившего пролетариата обозначают и новое продвижение марксизма. Речь идет, конечно, не о ревизии. Мы показали на практике, что мы являемся единственными ортодоксальными последовательными марксистами. Речь идет об углублении марксизма и об овладении им всей совокупностью современного знания".

Что обозначает наша „новая эра"?

1. Мы твердо стоим на почве ортодоксального марксизма.

2. Мы продвигаемся вперед на основе обобщения опыта нашей революции.

3. Мы продвигаемся вперед в разработке марксизма и его источников в новых условиях (диктатура пролетариата).

4. В условиях диктатуры пролетариата марксизм идет к овладению всей совокупностью современного знания.

Есть ли тут какие-либо элементы, которые позволили бы растолковать наше выражение „новая эра" в ревизионистском духе? Посмотрим, как это проделывается в каревской статье.

Первым делом, для этой цели выражение „новая эра" употребляется без определенного значения, словно в нашей статье нет никакого объяснения тому, какой смысл мы в него вкладываем. Ленинизм, по мнению тов. Карева, в одном определенном отношении означает новую эпоху в марксизме.

Как же так? Четырьмя строками выше тов. Карев категорически отрицает всякое применение выражения „новая эпоха" к развитию марксизма,—теперь он сам к нему прибегает.

Дальше идут общеизвестные истины: ленинизм—марксизм на практике пролетарской революции и т. д.; заключает тов. Карев свое рассуждение: „Больше всего Ленин был бы удивлен, если бы ему сказали, что он открывает новую эру (?!) в марксизме. Но одно дело Ленин, другое—тов. Гоникман" [1]).

[1]) Это не мешает тов. Кареву через 6 стр. заявить: „Маркс был великим знатоком Гегеля, и смешно думать здесь о каком-то перевороте в марксизме в результате усвоения

1. Почему слово „эпоха" употребляется без особых знаков отличия, а слово „эра" удостоивается и вопросительного и восклицательного знака?

2. Чем „новая эпоха в марксизме в очень определенном значении этого слова" (у тов. Карева) отличается от „новой эры", употребленной нами тоже в очень определенном значении?

На эти вопросы тов. Карев не отвечает, да и трудно было бы ответить, не теряя обличительный пафос.

Одного вопросительного и одного восклицательного знака тов. Кареву достаточно, чтоб, разразившись целым вулканом красноречия о вреде фразы (этот бедняга совершенно не чуток к фальшивым нотам, которые у него звучат, когда он забирает очень высокие тона), разъяснить мою „новую эру" уже при помощи одного вопросительного и двух восклицательных знаков, как радикальное изменение, переворот в марксизме.

Теперь тов. Карев уж может спокойным и благородным, хотя и несколько язвительным, тоном, процитировав нашу фразу: „Речь, конечно, идет не о ревизии", сказать: „Да, конечно. И мы так думаем, хотя разве когда-либо ревизионисты говорили, что они хотят ревизии—они всегда тоже хотели лишь „углубить", „продвинуть" и создать „новую эру". Тут благородство переливается через край, и тов. Карев добродушно хлопает нас по плечу: „для ревизии условия еще не созрели, но они зреют, и тов. Гоникману нужно во-время спохватиться, чтобы не оказаться в дурной кампании".

Каково?

Как не помянуть добрым словом чеховского цирульника Михайлу („В бане").

2. Субстанция.

Вопрос о субстанции разбирается в § 12 нашей статьи. Но уже в § 5, посвященном гегелевской критике Спинозы, мы говорим: „Критика Гегеля убеждает нас в том, что спинозовское понимание субстанции является не только диалектическим, но и материалистическим, и оно вполне приемлемо для марксизма. Нужно только дать себе труд отделить шелуху от ядра". Всякий, смыслящий что-либо в философии, марксист согласится с тем, что в этом утверждении с формальной стороны нет больше „спинозизма", нежели в соответствующих утверждениях Фейербаха и Плеханова. А чтобы проверить,

и нашим поколением богатств „Науки логики". Но теории диалектики, абрис которой собирался, но не успел дать Маркс, мы до сих пор не имеем (Подчеркнуто нами). Надо разрабатывать ее. Надо искать".

Что же случилось с тов. Каревым, утверждавшим на стр. 241, что развитие марксизма заключается в проверке его положений на современной нам действительности и т. д., а на стр. 247 вдруг открывшим, что у нас не только теории диалектики, но даже абриса ее нет?

То-то обрадуются все враги диалектического материализма. Они до сих пор думали, что им приходится бороться с могущественной теорией, закаленной и проверенной в бесчисленных теоретических и практических боях. А тут они узнали из уст одного из редакторов серьезнейшего марксистского журнала, что даже абриса этой теории не существует, а только... тень, что ли. Это последнее скромное открытие тов. Карева является, конечно уж, не ревизионизмом: это попросту недомыслие. Маркс и Энгельс дали теорию диалектики и непревзойденные образцы ее применения. Это не означает, конечно, что они дали законченную, абсолютную теорию диалектики. Сущность диалектики такова, что она никогда и никем не была и не будет абсолютно закончена.

Теория диалектики будет развиваться до тех пор, пока будет развиваться общество. Это с достаточной ясностью сказано Энгельсом, Плехановым и Лениным.

какое содержание вкладывается нами в отделения „шелухи от ядра", надо проанализировать наше понятие субстанции.

В § 12 у нас сказано: „Конечное не противостоит субстанции, но является ее моментом. Материя эта не есть голый субстрат, отвлеченный от качественного многообразия. Гегель разоблачает легенду о луковице: „субстанция, как это тождество видимости, есть полнота целого, обнимает собой акцидентальность (единичные явления), и эта акцидентальность есть вся субстанция сама" (цитата из Гегеля).

„Субстанция деятельна, деятельность есть ее абсолютная форма. Эта абсолютная форма проявляется в каждой единичности в определенном содержании. Каждый предмет есть деятельная материя в определенный момент этой деятельности. Поэтому единичное, акциденция, представляет собой постоянно возникающее и разрешающееся противоречие... Единичное всегда выступает в той или иной качественной определенности. Безкачественной материи не существует, но так как нет неподвижной и неизменной материи, так как она всегда и везде находится в процессе непрерывного движения, изменения, то одна качественная определенность сменяется другой. Вот почему единичность не может быть вечной, абсолютной. Абсолютна лишь деятельность, осуществляющаяся, однако, всегда в единичных вещах.

„Таким образом, субстанция представляет собой не просто абсолютную деятельность, но деятельную материю: „это движение акцидентальности есть деятельность субстанции, как спокойного выступления себя самой" (из Гегеля).

Дальше идет критика Фишера и Розенкранца за их попытки механического противопоставления субстанции и акциденции.

К чему сводится наше понимание субстанции?

1. Спинозовское понимание субстанции приемлемо для диалектического материализма, если отделить шелуху от ядра.

2. Субстанция—материя.

3. Субстанция абсолютно деятельна, т.-е. всегда находится в процессе изменения.

4. Субстанция проявляется в единичных вещах.

5. Непрерывный поток единичного и есть субстанция: никакого особого от единичного, существования субстанция не имеет.

Критика здесь может идти по двум направлениям:

1. Можно доказывать, что наше понимание субстанции неправильно.

2. Можно с нами согласиться, но доказать, что мы неправильно понимаем Спинозу.

Совсем не так разворачивается действие в каревской статье. Раскритиковав наше понимание Спинозы, тов. Карев, не сморгнув глазом, заявляет: „И после этого тов. Гоникман объявляет, что спинозовское понимание субстанции вполне приемлемо для марксиста. Он не понимает, что материя для марксиста—непостигаемая интуитивным путем сущность, не черная бездна, в которой бесследно исчезают акциденции и от которой нет к ним перехода, а сами эти акциденции в их бесконечном взаимодействии и движении" [1]).

Если бы эти упреки относились к спинозовской субстанции, можно было бы спорить по существу: тов. Карев доказал бы нашу ошибку в понимании Спинозы, мы могли бы с этим согласиться или защищать свою точку зрения. Но нет, они относятся тов. Каревым и к „нашей" субстанции. Где же это у нас сказано, что субстанция познается интуитивно, что она бездна, в которой исчезают акциденции и т. п. страшные вещи? Или в нашей статье помимо замечания о субстанции в § 5, где, кстати, упомянуто о необходимости отделить шелуху спинозовского учения от ядра, нет специального § 12 о субстанции? Или, может, тов. Карев дальше § 5 не читал нашей статьи?

[1]) Стр. 251.

Нет, дело обстоит проще. Куда как удобнее раскритиковать субстанцию Спинозы, свое понимание субстанции у Спинозы выдать за мое изложение понятия субстанции, а затем—торжествующая добродетель обличает злостного ревизиониста. Без больших хлопот и эффектно.

Если для разоблачения ревизионистского характера „новой эры" достаточно было вопросительных и восклицательных знаков, то для подобной же операции над субстанцией потребовалась передержка. Богатство каревской техники приведет нас в еще большее восхищение в дальнейшем.

3. Материя.

Этот вопрос рассматривается в § 6 нашей статьи. До сих пор в определении материи обыкновенно исходили только из гносеологической точки зрения. И Плеханов и Ленин определяли материю в противоположность духу, и только. Мы делаем в своей статье попытку дать более полное определение материи. Для этого мы в определении материи, целиком сохраняя гносеологические моменты, вводим самые общие законы материи.

„Материя—это, переведенная на материалистический язык, гегелевская абсолютная идея (только незаконченная, неокостеневшая), все,—а моменты, ее определяющие:

„1. Causa sui (мышление не есть causa sui, оно возникает в материи на определенной ступени развития; исследование этого вопроса, это—область естествознания).

„2. Категории изменения: качество, количество, мера.

„3. Категории отношения: бесконечная деятельность, осуществляющаяся в конечном; причинность, взаимодействие.

„4. Бесконечное чувственное многообразие".

Обычные гносеологические моменты определения сохранены целиком. В п. 1 говорится, что материя есть causa sui: в переводе с латинского языка это обозначает, что она объективна, т.-е. существует независимо от чего-либо другого, и что она первична; далее говорится о том, что дух, мышление вторично, т.-е. является свойством материи, возникающим на определенной ступени развития.

В п. 4 говорится о том, что материя является чувственным многообразием, т.-е., что мы познаем ее через наши органы чувства. В этих двух пунктах содержится все, что входит в определения, которые давались Энгельсом, Плехановым и Лениным. В п. 2 и 3 содержатся общие законы материи. В примечании мы специально оговорились, что не считаем нашего определения полным. Но не потому, что в нем не хватает гносеологических моментов, а в силу нашей уверенности в том, что не все общие законы материи нами перечислены. Для нас было лишь важно предложить новый, диалектически, отменяющий старый, т.-е. сохраняющий его как один из моментов, способ определения материи.

А теперь поглядим, какие превращения происходят с нашим определением материи под чудодейственным пером тов. Карева. Понятие материи он разбирает вслед за понятием субстанции: „И по-

нятно, что, раз споткнувшись на Спинозе, тов. Гоникман спотыкается на определении материи. Мы уже видели, что его не удовлетворяет Плеханов, а вместе с ним, значит, и все марксисты, определявшие материю до сих пор. Он хочет обязательно дать свое (какой ужас! *С. Г.*). И дает: материя, переведенная на материалистический язык, гегелевская абсолютная идея, только незаконченная, неокостеневшая (что сие значит?),—всё...“ [1]).

Мы с удовольствием поясним нашему критику слово „окостеневшая“. У Гегеля абсолютный дух в современной ему (Гегелю) Пруссии достиг наивысшей ступени своего развития, дальше он уж развиваться не мог, остановился, окостенел. А наше материалистическое всё, т.-е. природа и общество, развивается бесконечно.

Далее он излагает наше определение материи и начинает его пушить. Как? „Но разве это не смехотворное определение? Не результат не в меру усердного изучения Гегеля?“ и т. д.

Он не понимает, почему приведены законы п. 2 и 3. „Если определение материи должно противопоставить ее мышлению, идеализму—материализму, то зачем их приволить в определение материи. К чему каша из категорий логики, causa sui и чувственного многообразия“...

Тов. Карев так будто тоже согласен с тем, что в диалектическом материализме гносеология потеряла самостоятельное значение и входит, как один из моментов в диалектику; он даже поучает в своей статье нас по этому поводу. Почему ж нецелесообразно дать такое определение материи, в которое гносеологические моменты вводили бы как часть?

Это, конечно, вопрос спорный, как всякий новый вопрос. Но тов. Карев его даже не ставит так: он просто обличает и изрекает.

Самое интересное превращение происходит, однако, с „моей“ материей далее.

Декретировав по поводу моего определения: каша, он продолжает: „И, наконец, как это ни странно, в определении нет ничего специфического как раз для материи, поскольку в голом виде за causa sui может признать и идеалист свою субстанцию, и махист свой социальный опыт, чувственное же многообразие дается вне зависимости от объективной реальности, вызывающей его в органах наших чувств. Махисты могут принять определение тов. Гоникмана, те самые махисты, против которых, по словам тов. Гоникмана, направлялись определения Плеханова и Ленина“.

Ловкость рук необычайная и требует нашего пристального внимания.

Наш критик выставляет следующие обвинения:

1. В определении материи нет ничего специфического для материи.

2. В голом виде за causa sui может признать и идеалист свою субстанцию, и махист свой социальный опыт.

3. Чувственное многообразие дается вне зависимости от объективной реальности, вызывающей его в органах наших чувств.

4. Махисты могут принять наше определение.

Разберемся.

П. 1. Ну, а то, что материя есть causa sui, т.-е. объективна и первична в противоположность духу, который не есть causa sui, т.-е. является свойством материи. Ну, а то, что она является чувственным многообразием, т.-е. такой объективностью, которая познается через чувство: Или наш критик имеет в виду еще какие-либо специфические

[1]) Стр. 251.

ские особенности материи в отличие от духа, которые должны участвовать в определении? Почему же он молчит о них? Это было бы большим открытием, ибо ни Маркс и Энгельс, ни Плеханов и Ленин их не открыли.

П. 2. Что значит словечко „в голом виде“ нашего критика? Causa sui в „голом виде“ вообще не выражает ничего, кроме независимости от чего-либо другого. Разве спор между идеализмом и материализмом идет по вопросу о том, признать ли субстанцию за causa sui в „голом“ или каком-нибудь другом виде? Эта каревская фраза представляет собой вообще бессмыслицу „в голом виде“.—Спор идет о том, какую субстанцию признать за causa sui: материю или дух. Нам приходится напомнить нашему „ревизору“ рассуждения Энгельса, с которым марксисты знакомятся до того, как начинают писать статьи: „Философы разделились на два большие лагеря“... и т. д. Не знал этого тов. Карев? Знал, конечно. Но есть люди, у которых фраза руководит мыслью. Они часто бывают жертвой фразы. Правда, они любят поговорить и о вреде фразы; но и здесь они отдают дань лишь ей одной.

П. 3. Если иметь в виду только 4-ый пункт нашего определения материи, это еще можно было бы сказать. Но как же можно нам приписать чувственное многообразие вне зависимости от объективности материи, если в п. 1 нашего определения говорится, что материя объективна и первична? Или, может, наш „ревизор“, читая п. 4, забыл уже п. 1-ый. Так, ведь, он сам выписал все 4 пункта нашего определения на той же странице, где он предается воодушевленному обличению.

П. 4. Если махисты могут, по компетентному мнению тов. Карева, принять наше определение, их можно только поздравить: они тем самым перестают быть махистами и делаются материалистами. Да и не просто материалистами, а диалектическими, если они примут также п. 2 и 3.

Свое обличение наш критик заключает: «Метод» определения тов. Гоникмана показывает только, что он совершенно не понял Ленинского различия философского определения материи в противовес идеализму, и современного понятия материи, даваемого всей совокупностью положительных наук“ [1]). А еще через две страницы он снова грозит зачислить нас за „материю“ по махистскому ведомству.

Итак, по важнейшему философскому вопросу мы обличены тов. Каревым в злейшем ревизионизме. Помилуйте. Выдумал такую материю, которая годится для идеалистов, махистов и т. д. Конечно, она не годится для материалистов.

Но различных знаков препинания и передержек оказалось недостаточно для торжества добродетели: потребовалась безграмотная путаница и авторская фантазия.

К двум уже разобранным приемам полемической техники прибавился еще один: фантазирование с неомраченным челом за счет критикуемого.

4. Теория факторов.

В § 14 нашей статьи, мы, разобрав метафизическое применение понятия причинности и следствия, излагаем наше понимание взаимодействия в процессе общественной жизни. Указав на то, что аб-

[1]) Наше понимание Ленина по этому вопросу, изложено нами в статье „Ленин как философ“, напечатанной в № 27 „Коммуниста“, появившемся задолго до 4—5 номера „П.З.М.“. Очень жалко, что тов. Карев не показал, в чем мы извращаем Ленина и чем наше понимание отличается от Деборинского, на которого он ссылается в примечании.

страктно применяемая категория взаимодействия может на практике повести к плюрализму, мы говорим, что все взаимодействующие стороны общественной жизни должны быть объяснены монистически, из одного основания.

„Взаимодействие показывает, что ни одна из сторон общественной жизни не является пассивным субстратом, страдательно воспринимающим воздействия какой-либо другой субстанциональной закономерности. Все стороны общественной жизни являются субстанциями, однако роль их не одинакова... В обществе действуют многочисленные силы: право, государство, религия и т. д. Все эти силы имеют собственные закономерности и взаимодействуют с экономикой; но в то же время их собственные закономерности и граница их действий определяются в последнем счете экономической структурой общества (подчеркнуто теперь). Экономическая структура общества, выражаясь языком Гегеля, является тем основным понятием (основной, решающей силой), которое лежит в основе всех взаимодействующих сил. Таким образом категория взаимодействия не ведет необходимо к плюрализму, но, разрушая метафизическое понимание причинности, является неотъемлемым элементом диалектико-материалистического монизма".

Далее следуют выписки из писем Энгельса к Блоху и Шмидту, находящиеся в полном согласии с тем, что мы говорили.

Вот что пишет по этому поводу тов. Карев: „Совершенно неудачно заявление о том, что „все стороны общественной жизни являются субстанциями", роль которых, однако, не одинакова. Это представляет очень неудачное возвращение к старой теории „факторов". Понятие субстанции предполагает такую степень самостоятельности, которую невозможно приписать ни одной надстройке"[1]).

Итак, выхвачена одна фраза, вычеркнуто все остальное, написанное по этому вопросу, и мы снова по основному вопросу исторического материализма ввергнуты в бездну ревизионизма.

5. Вопросы стиля.

Тов. Карев почтил нас в своей статье целой лекцией по поводу нашего стиля. Так как мы и сами думаем, что наш стиль обладает большими недостатками: азиатское злоупотребление тяжеловесной философской терминологией и многими другими, то мы в благодарность посвятим несколько строк стилю тов. Карева. Без этого картина была бы не полная.

Раскритиковав нашу постановку гносеологического вопроса, он пишет: „...А вместе с тем понять, что тут никакого особенного шага по сравнению с Плехановым и особенно Лениным нет"[2]).

Ну, а неособенный есть? Какая разница между особенным и неособенным шагом вперед? Об этом разве спор?

По поводу нашего изложения причинности: „Если быть придирчивым, то определение тов. Гоникмана... можно (подчеркнуто нами) признать в свою очередь также недостаточным"[3]).

Так что ж, можно или „не можно"? Или это зависит только от

[1]) Стр. 255.
[2]) Стр. 243—24.
[3]) Стр. 255.

особенностей характера: придирчивости или благодушия. А ведь причинность—кардинальный вопрос диалектики.

Непримиримая принципиальность по видимости, и полная беспринципность по существу.

* * *

Мы остановились только на тех вопросах каревской статьи, где он яснее всего может вскрыть наш ревизионизм и где его анализ и аргументация всего сильнее. Теперь, мы полагаем, ясно, почему мы избрали наш способ критики. Полемика по существу остальных вопросов была бы так же бесплодна, как и по разобранным: повсюду, за редкими исключениями, та же развязная и беспринципная болтовня. И первое чувство, которое рождается после прочтения этой статьи, это чувство тревоги: хлестаковщина проникает в наши журналы. Нам уже неоднократно приходилось писать о неблагополучии на философском участке идеологического фронта. Сначала попытки теоретического похода на философию марксизма, попытки теоретически дезавуировать ее; затем практическое изгнание ее из комвузов; теперь хлестаковщина.

Важно, конечно, не то, что тов. Карев вдохновился на подобную статью. При всяком общественном строе всегда были, есть и будут Хлестаковы: поставленные на свое место, они достаточно безобидны. Но когда они начинают разыгрывать „ревизора" и когда кое-кем они начинают приниматься всерьез,—это делается опасным. Мы прекрасно знаем, что нужен большой авторитет подлинного ревизора, который разоблачил бы „ревизора" самозванного. Но того, кто внимательно следил за философским участком фронта, и чьего одного слова было бы достаточно для мобилизации на него лучших сил,—Ленина, с нами больше нет. Поэтому, опираясь на очевидность фактов, мы еще раз бьем тревогу: на фронте философии неблагополучно.

О „новой эре“ в философской критике.

Ник. Карев.

Так как нет ничего более скучного, как возвращаться к вчерашнему дню лишь ради защиты общеизвестных истин,—то мы охотно не отвечали бы вовсе на статью т. Гоникмана. Тем более, что и по форме и по содержанию она сама себе подписывает в достаточной степени суровый приговор. Однако, как и в отношении прошлой работы т. Гоникмана, и в данном случае наше внимание привлекает то, **как** она написана. В этом отношении новое выступление тов. Гоникмана есть тоже своего рода симптом.

Что марксисты всегда были очень „свирепы“ в своей полемике—это общеизвестно и совсем не плохо. Эта свирепость была всегда свидетельством глубокого понимания того, что под прикрытием самых отвлеченных философских споров скрываются очень часто различные подходы к основным вопросам пролетарской политики, в которых меньше всего может быть места для слюнтяйского сентиментальничанья.

Но одно дело „свирепость“ полемики, другое—ее принципиальная высота. Глубоко-принципиальная, хотя и жесткая полемика—полемика марксизма. Полемика же с употреблением крикливых слов на базе теоретического неведения и искажаемых цитат—это полемика, типичная для литературного мещанства.

У нас, к сожалению, последнее время начинает воскресать этот тип полемики—мелочный, крохоборческий, с пустяковыми личными выпадами, лицемерный, подменяющий выяснение принципиальных вопросов трусливой игрой словами и цитатами.

Теоретическую честность, необходимую предпосылку всякого действительно-научного исследования, готовность точно отграничить то, за что действительно человек собирается бороться и что на самом деле хочет внести нового, от того, в чем он признает отсутствие расхождений или свою ошибку, заменяет громкая фраза, всегда готовая замести следы своей точки зрения неверными ссылками или наспех нескладно сколоченными разъяснениями. Выдвигается новый тип—теоретически бесформенный, незнающий что сказать, или скрывающий до поры до времени то, что хочет сказать, но вместе с тем силящийся сказать что-либо необыкновенное. Этот тип—неслучайный гость нашей литературы. В том, что он вымучивает из себя—отражаются в муках борющиеся за свое существование силы, которым тесно под твердой крышкой диктатуры марксизма в советской стране. Присмотреться к этому типу, учесть его появление и неуклонно разоблачать его—неотложная задача марксистской критики.

Ответ т. Гоникмана—одно из очередных явлений этого дуа времени.

Разобрать по **существу** этот ответ—значит дать возможность читателю тем легче оценить его исключительные достоинства по форме. Вместе с тем это значит указать на новую опасность принижения и опошления теоретических дискуссий, вести борьбу против чего и составляет одну из важнейших постоянных задач революционной марксистской критики.

1. О добросовестности критики.

Желая быть „в максимальной степени добросовестным“, т. Гоникман собирается возражать нам по четырем, якобы основным вопросам нашей критики—по вопросам: „новой эры“, субстанции, материи и теории факторов.

Однако уже одно это есть прямая противоположность не только максимальной, но и самой простой степени добросовестности.

В самом деле. Во всякой мало мальски добросовестно ведущейся научной дискуссии предполагается, что оппоненту либо отвечают на все пункты его возражений по существу, либо оговаривают те из них, с которыми соглашаются. Обязанность антикритики по **каждому** вопросу дать все, что есть сказать по существу и не отделываться декламациями о том, что там-то противник слабее, там-то сильнее и т. д. На слово все равно никто не поверит.

В статье, посвященной работе т. Гоникмана, мы разобрали **все**, в чем видели фальшь с точки зрения диалектического материализма, оговорив правильные положения, хотя бы и взятые т. Гоникманом из чужих рук [1]). Но что до этого т. Гоникману? Он готов открыть не только „новую эру“ в марксизме, но и „новую эру“ в приемах научной критики.

По скольким пунктам, кроме тех четырех, которые совершенно произвольно вырывает из нашей критики т. Гоникман, возражали мы ему? По крайней мере—по пяти.

Какие это пункты? Их не трудно напомнить читателю:

1) О **роли гносеологии в системе марксизма.**

Тов. Гоникман утверждал, что „**несмотря** (курсив везде наш. *Н. К.*). на некоторые замечания **Плеханова** и **Ленина**, включающие гносеологическую проблему в систему марксизма, **разоблачение** ее является шагом вперед в области марксистской философии“ [2]).

В другом месте т. Гоникман высказывался против „подсовывания“ гносеологии на место философии [3]). Мы указали тогда, что и Плеханов, и, особенно, Ленин рассматривали гносеологию, как момент общей методологии знания, и что в данном случае т. Гоникман никакого особенного шага вперед по сравнению с ними не делает [4]), но что вместе с тем нельзя говорить о „разоблачении“ гносеологии, „подсовывании“ ее (какая точность формулировок!) и т. д., так как то или иное решение гносеологической проблемы определяет собой **основное** различие между материализмом и идеализмом в философии.

---

[1]) „Под знаменем марксизма“, 1924 г., № 4—5, стр. 243 (примечание). В дальнейших ссылках мы будем указывать только номер журнала и страницу.

[2]) № 1, стр. 82.

[3]) № 3, стр. 36.

[4]) Тов. Гоникман пробует подсмеяться над выражением „никакого **особенного** шага вперед нет“, задавая язвительнейший вопрос—какая разница между шагами вперед особенными и неособенными. Какая скука расшифровывать иронию!—Та же, что между обыкновенным русским языком и выспренним слогом т. Гоникмана.

Что по существу по этому поводу говорит теперь т. Гоникман?—Ровно ничего.

2) О разделении т. Гоникманом категорий диалектики на категории изменения и отношения [1]).

Мы указали, что так делить категории нельзя, так как все категории диалектики есть категории изменения, движения, становления. Что отличительная черта категорий I части „Науки логики" Гегеля—другая, а именно, что они категории перехода одного в другое,—качества в количество и обратно.

Что по этому поводу возражает нам т. Гоникман?—Ровно ничего.

3) О значении категорий рефлексии и явления.

Тов. Гоникман утверждал, чо они не имеют объективного существования, что они—фикции [2]). Мы указывали, что это совершенно неверно с точки зрения диалектического материализма, так как в число этих категорий входят такие категории (противоположности, противоречия, основания, условия, формы, содержания, вещи и ее свойств, закона, целого и частей, силы и ее обнаружения, внутреннего и внешнего), без которых нет марксизма и никакого научного исследования.

Что по сему поводу сказал нам теперь тов. Гоникман?—Ничегошеньки, словно важнейшие проблемы марксизма для него и не существуют, ничегошеньки, потому что сказать нечего.

При этом для того, чтобы подкрепить свою точку зрения на значение категорий гегелевской логики, т. Гоникман в ссылке на Энгельса неверно его процитировал [3]). Мы указали ему на недопустимость такого приема. Что возразил т. Гоникман на это?—Ничего, ровно ничего.

4) О категории случайности. Мы доказывали, что трактовка ее у т. Гоникмана неверна, при чем изложение общих взглядов на этот предмет („учебников марксизма" и Гегеля) у него местами хотя и высокомерно, но ложно.

На сей предмет также ни одного слова в ответ, хотя в первой работе свою трактовку понятия случайного т. Гоникман возвел в „исходный пункт для понимания исторической ошибки и роли личности в истории [4]).

5) О категории причинности Мы писали, что, критикуя недостаточное определение причинности т. Бухарина, т. Гоникман прав. Но его собственное определение можно также признать недостаточным—и показали, почему именно. В ответ на это т. Гоникман нашел возможным лишь уцепиться за употребленное нами слово „можно", чтобы победоносно сделать вывод отсюда о нашей беспринципности и т. д. Как же беден арсенал аргументов, когда приходится защищаться таким оружием! Конечно, „можно", так как и даваемое нами объяснение категории причинности мы не считаем исчерпывающим. Что определение т. Гоникмана есть „чисто-формальное определение, недостаточное для действительного исследования причинных связей явлений"—это указано совершенно точно. Что касается придирчивости или добродушия, то мы употребили слово придирчивость именно потому, как известно и т. Гоникману, что, критикуя бухаринское определение, он по своему обычаю, неверно его изложил. В употребленном нами слове т. Гоникман должен был почувствовать недопустимость такого способа критики. Но разве наша вина, что он все видит как бы в кривом зеркале?

1) № 1, стр. 85.
2) № 1, стр. 85—86.
3) № 3, стр. 35.
4) № 3, стр. 26.

Что же по существу т. Гоникман имеет возразить против нашего указания на недостаточность его определения,—мы до сих пор не знаем. А в этом принципиальном споре—вся суть дела, и можно ли ее замазать филологическими упражнениями?

Итак, по пяти кардинальным вопросам марксистской философии т. Гоникман нем, как рыба. Это—подписанное самому себе свидетельство о бедности в вопросах маркистской теории, после которого с полным основанием мы могли бы пожелать т. Гоникману побольше скромности.

Посмотрим, однако, чего стоят его возражения в тех вопросах, по которым он как будто всерьез собирается защищать свою точку зрения.

2. О „новой эре" в марксизме.

В этой главе своего ответа тов. Гоникман пробует доказать, что никакого намека на ревизионизм в пророчестве его о „новой эре" нет, пытаясь даже перейти в наступление, по известному методу:

Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.

Однако все это настолько шито белыми нитками, что весьма легко обнаруживается. Стоит только, отвлекшись от разглагольствований т. Гоникмана об его ортодоксальности, вспомнить, по каким поводам мы извлекли на свет божий столь торжественную фразу т. Гоникмана о „новой эре".

Во-первых, в начале статьи, в главе, посвященной общественному значению стиля, как иллюстрацию к тому, до чего может довести любовь к фразе, Тов. Гоникман пробует ссылаться на то, что мы в характеристике ленинизма прибегаем к слову „новая эпоха" в истории марксизма. Да, новая эпоха. Но, ведь, от исторической эпохи до „новой эры" расстояние „немножко колоссальное". А фразерство как раз, между прочим, заключается и в том, что обозначают вещи несоответствующими и напыщенными именами.

Во-вторых, „новая эра" т. Гоникмана нас заинтересовала, как это легко видеть из заключительной главы нашей статьи, потому, что открытие ее т. Гоникман соединяет с изучением Гегеля,—тенденция, вполне совпадающая с сложившейся в Западной Европе школой Лукача и др., ставящей себе задачей ревизовать марксистскую философию исходя из Гегеля. Этот совершенно неоспоримый факт и заставил нас так резко выступить против работы т. Гоникмана и против заполоняющей ее фразы.

Т. Гоникман пытается найти противоречие между нашей критикой его и нашими утверждениями о необходимости изучать Гегеля для построения „абриса" диалектической логики.

К своему несчастью, и здесь он хочет быть марксистом не изучив Маркса. О какой-то вымученной т. Гоникманом абсолютной теории диалектики действительно нелепо говорить. Но считать, по тов. Гоникману, недомыслием утверждение, что Маркс не успел дать абрис теории диалектики и нам предстоит ее разрабатывать—это поистине геркулесовы столбы неведения. Этого типа недомыслием страдал никто иной, как сам же Маркс, когда он писал Энгельсу, что „если придет снова время для подобных работ, мне очень хотелось бы в объеме 2—3 печатных листов сделать доступным общему человеческому рассудку то разумное в методе, что Гегель открыл и вместе с

тем затемнил" [1]). Пришло для Маркса время для написания этой работы? Где она? Не смешал ли т. Гоникман применение метода с разработкой самой диалектикой логики? И мог ли Маркс в 2—3 печатных листах дать что-либо иное, нежели абрис метода, т.-е. общие его основы? Осталась ли эта задача для последующих поколений марксистов и выполнена ли она? Не ее ли мы разрешаем, когда вместе с тов. Гоникманом разбираем то разумное, что есть в гегелевском учении о действительности? И не похож ли тов. Гоникман на того мольеровского мещанина, который не знал, что говорит прозой?

И после этого слова, слова... о могущественнейшей теории, закаленной и проверенной в бесчисленных теоретических и практических боях, о серьезнейшем марксистском журнале, тени (откуда сие?), непревзойденных образцах применения диалектики Марксом и Энгельсом и т. д.,—как будто в этом спор!

И в заключение:

„Теория диалектики будет развиваться до тех пор, пока будет развиваться общество".

В чем действительно необычайное искусство тов. Гоникмана—так это в умении изрекать банальности с величественнейшим видом.

Итак, мы считали необходимым так резко выступить против „новой эры" в марксизме, открываемой тов. Гоникманом, потому, что его стремление „углубить" марксизм на основе изучения Гегеля вполне совпадает с уже определенно выявившейся ревизионистской школой в современной нам зап.-европейской философии. Предупредить в самом начале ее развитие у нас и было нашей задачей. Что действительно подход тов. Гоникмана к Гегелю не ведет к добру, должна была иллюстрировать вся наша работа.

Ну, а почему самое понятие „новой эры" сопроводили мы столькими вопросительными и восклицательными знаками? Не пересолили ли мы здесь, отмечая в нем ревизионистский душок?

Тов. Гоникман изо всех сил стремится доказать, что в его понимании „новой эры" не было никакого для этого повода. „Мы твердо стоим на почве ортодоксального марксизма" и т. д. и т. п. Однако и здесь, чтобы защитить себя, ему приходится прибегнуть к излюбленному средству—неверно самого себя процитировать. В первой цитате т. Гоникмана (в прошлой работе) речь шла об „углублении" марксизма, что мы и осмеяли, как фразу, прикрывавшую в свое время ревионизм. В нынешнем толковании цитаты у тов. Гоникмана остается лишь вторая часть цитаты о задаче овладения марксизмом всей совокупностью современного знания, о продвижении марксизма, разработке его и т. п. хороших и бесспорных вещах. Разве так защищают свою точку зрения? Разве это не жонглерство словами?

И разве не очевидно, что и в вопросе о „новой эре", пытаясь причесать себя под ортодокса и наговорив новых несуразностей, тов. Гоникман вновь и вновь лишь затуманивает основной вопрос о том, какое значение может иметь изучение Гегеля для марксизма в наше время.

3. О субстанции.

Попытка тов. Гоникмана реабилитировать свои злоключения с понятием субстанции заслуживает быть особо отмеченной, как образец того, каким образом можно самые ясные вещи затуманить водопадом слов.

[1]) К. Маркс и Фр. Энгельс, Письма, изд. Адоратского, М. 1922, стр. 70.

Неправильно указывает на центр спора уже самое обозначение вопроса. Речь шла в нашей критике не о субстанции вообще, а о понимании тов. Гоникманом субстанции Спинозы. Проверить это легко, прочитав хоть сколько-нибудь внимательно главу IV нашей статьи.

Что доказывает теперь тов. Гоникман? Что в § 12 он дает верное, по Гегелю пониманиие субстанции. Где мы это оспаривали?

И что оспаривали мы?

Тов. Гоникман утверждал, что „вся система Спинозы носит ярко-эмпирический (курсив всюду наш. *Н. Л.*) характер"—это мы оспаривали. Тов. Гоникман утверждал, что гегелевская критика неподвижности спинозовской субстанции не верна—это мы оспаривали. Тов. Гоникман утверждал, что спинозовское понимание субстанции „вполне приемлемо для марксизма", „вполне"—это мы оспаривали. И так как тов. Гоникман в здравом уме и твердой памяти упрямо утверждал это „вполне", то совершенно независимо от того, что он написал в § 12 (есть такие люди, которые не связывают то, что пишут в разных параграфах), он не понимал, что значит материя для марксиста.

Сказал ли хоть слово тов. Гоникман в своем ответе по существу этих кардинальнейших возражений?—Ни слова. Он лишь попытался замазать действительный предмет спора. Ибо ведь только младенец может удовлетвориться ничего не значащими, чисто-словесными упражнениями о шелухе, ядре и т. д. в научном вопросе, рядом с категорическими заявлениями об ошибочности гегелевской критики Спинозы, об ярко-эмпирическом характере его субстанции и о ее вполне—приемлемости для марксизма.

Можно в антикритике защищаться как угодно резко, но в споре, имеющем целью выяснение вопроса, с ловкостью фокусника подменять один вопрос другим и тем надеяться сбить читателя и оппонента—это воистину „новая эра" в литературной технике.

4. Об определении материи.

С определением материи у тов. Гоникмана дело обстоит так же не кругло, как и по всем остальным пунктам.

В ответе он начинает с того, что провозглашает сохранение гносеологического момента в своем определении. В статье, которую мы критиковали, было сказано, что тов. Гоникман считает важным указать его метод определения в противоположность гносеологическому, к которому прибегали Плеханов и Ленин [1]).

Нельзя сказать, чтобы получающееся таким образом противоречие было диалектическим: т. Гоникман объявлял гносеологическое определение не моментом своего, а противопоставлял ему свое, как построенное по особому методу.

Разберем теперь по существу вопрос.

Входит ли на самом деле в определение тов. Гоникмана гносеологическое определение материи, как момент? Нет, не входит. Основное в гносеологическом определении — установление объективной реальности, действующей на наши органы чувств и вызывающей в нас ощущения. Есть оно в определении тов. Гоникмана?—Нет его. У тов. Гоникмана есть понятие „бесконечного чувственного многообразия". Но „бесконечное, чувственное многообразие" признают все;

[1]) № 1, стр. 89.

весь вопрос в том, чем оно вызывается. И махист признает, что есть бесконечное чувственное многообразие. Наше отличие от него в том и заключается, что мы на этом не останавливаемся, а указываем—чем и как это чувственное многообразие в нас вызывается,—материей через посредство наших органов чувств. Впрочем, и сам тов. Гоникман, разбирая пункт 3 (по его классификации) наших возражений, признает это. Спасение он видит в п. 1 своего определения материи, как causa sui.

Но здесь дело обстоит еще хуже. У Спинозы (а из него, как мы помним, исходит тов. Гоникман) causa sui—субстанция, обладающая атрибутами и мышления, и протяженности. Далее, по существу, независимо от Спинозы, что такое causa sui? Если сказать, что материя—causa sui, значит ли это сказать, что она „первична" по сравнению с мышлением? Ведь, материя, по определению тов. Гоникмана, есть „все". Разве это „все" не включает и мышление? Какое же, иначе, это „все"? И разве неверно, что, запутавшись в трех соснах, тов. Гоникман все свои доказательства строит лишь на подмене одних понятий другими, вместо их диалектического развития? И разве не очевидно что в его определении нет действительно ничего специфического для материи?

Скажем больше того. Тов. Гоникман сам не понимает, чего он хочет. Если тов. Гоникман хочет дать онтологическое определение материи (так хотя бы, как это делает тов. Деборин в своей книге „Ленин как мыслитель"), то независимо от того, целесообразно ли вводить такое определение или нет, тогда нужно определять материю не в противоположность духу а именно, как „все", как материю в широком смысле слова, охватывающую всю совокупность явлений [1]), как утверждение материалистического монизма. Но разве тов. Гоникман обязан додумывать до конца то, о чем собирается писать, коль задачи перед ним стоят, скажем мягко, не научные, а полемические.

Тов. Гоникман обижается, почему мы назвали его определение кашей из категорий логики, causa sui, чувственного многообразия и т. д. Совсем не так трудно понять почему. Потому, что его определение — не диалектическое, в котором один момент определения должен быть органически связан с другим, а набор случайно пришедших в голову категорий, увенчивающихся таким перлом, как то, что материя есть переведенная на материалистический язык (!) гегелевская абсолютная идея. Замечательная точность определения, годная разве, может быть, лишь для профессора, просидевшего брюки над историей философии, да и то ничему в ней не научившегося.

Наконец, последние два замечания.

Первое. Тов. Гоникман вопрошает, что значит словечко causa sui „в голом виде"? Очень просто—что в том контексте, который мы имеем у тов. Гоникмана, понятие causa sui само по себе ничего не дает для определения материи, как мы показали уже выше, т. к. сказать в определении после слов causa sui—в скобках („далее, что мышление не causa sui"), это просто осрамить себя, ибо это замечательное „далее" в скобках никак не вытекает из того, что стоит перед скобками.

Понятие causa sui может иметь методологическое значение для определения материи в противоположность мышлению как раз именно в том случае, если оно характеризует не „гегелевскую абсолютную идею, переведенную на материалистический язык", как у тов. Гоникмана, не „все", а материю, как объективную реальность, находящуюся вне нашего сознания и порождающую сознание на определенной степени своего развития. У Спинозы же, из которого исходит тов. Гоникман, понятие causa sui имело значение совсем в другом контексте, для обоснования его монизма, в противовес дуализму бога и природы, и в этом смысле могло бы быть использовано марксистами для онтологического, а не для гносеологического определения материи.

Второе. Напрасно ли зачислили мы тов. Гоникмана за определение материи „по махистскому ведомству"? Нет, не напрасно. Потому что действительно ничего специфического для материи в его определении нет. И всякий махист считает существующим качественное многообразие в виде наших ощущений—элементов мира. Наше отличие от него начинается там, где мы говорим, что материя—это то, что, действуя на наши органы чувств, производит ощущения. Тов. Гоникман не понимает, что значит повторяемая им в другом месте мысль об объективном существовании качества, и по сему поводу торопится определить материю так, что открывает этим дверь махистам.

[1]) А. Деборин, Ленин, как мыслитель, изд. „Красная Новь", стр. 35.

5. Теория факторов.

Восстановить смысл естественно-искаженного тов. Гоникманом нашего замечания о его возврате к теории факторов, можно в двух строчках. Мы утверждали, что неудачно заявление тов. Гоникмана о том, что все стороны общественной жизни являются субстанциями, так как это возврат к теории факторов. Тов. Гоникман в ответ приводит цитату, в которой сам себя побивает. Он доказывает, что роль различных сторон общественной жизни не одинакова. Верно. Но, ведь, субстанция есть то, что не зависит ни от чего другого, causa sui, согласно предыдущим рассуждениям тов. Гоникмана. Можно ли после этого назвать различные стороны общественной жизни субстанциями, удачно ли будет это название?

И после этого тов. Гоникман еще требует, чтобы мы сверяли то, что он пишет в одном параграфе, с тем, что он пишет в другом.

* * *

Если попытаться теперь восстановить все, что извлечено из своего полемического арсенала тов. Гоникманом,—уклонение от ответов по основным вопросам, подмену одних вопросов другими, самое бесцеремонное искажение цитат и чужих и своих собственных,—то остается только удивляться той необыкновенной легкости, с какой написана заключительная часть его антикритики.

Урок отсюда простой.

Надо повести решительную борьбу не только с фразой, не только с искаженным пониманием того, что представляет для марксизма Гегель, не только с отдельными ошибками отдельных товарищей, но, прежде всего, и с тем высокопарно-мелким тоном, который заменяет аргументы в споре развязностью, а теоретическую добросовестность—беззаботным жонглированием словами и цитатами.

И не в том беда, что у нас есть еще Хлестаковы и Репетиловы, хотя мы и не думаем, что они будут всегда—они умрут с порождающим их обществом, и не в том беда, что у них легкость в мыслях необыкновенная, а в том беда, что так много сил бесплодно приходится тратить на разъяснение общественных истин жонглерам и шпагоглотателям от философии.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Обзор книг по ленинизму.

Н. Ленин (В. Ульянов). Собрание сочинений. Т.т. I—XIX. Гиз. 1922— 924 г.г.

И. Сталин О Ленине и ленинизме. Гиз. 1924 г. Стр. 145.

Н. Бухарин. Ленин, как марксист. „Пролетарий". 1924. Стр. 52.

А. Деборин. Ленин, как мыслитель. „Красная Новь". Москва. 1924. Стр. 87.

Охватить всю выходящую теперь литературу о Ленине и ленинизме—свыше человеческих сил. Нашей задачей поэтому будет давать регулярно критическую оценку важнейшего и наиболее распространенного из этой литературы. Для первого обзора мы выбираем самое значительное в области теории из появившегося до сих пор.

* * *

Естественно, что основным источником для изучения ленинизма будут всегда сочинения самого Ленина. Первое издание напечатанных сочинений Ленина, предпринятое тов. Каменевым, является в этом отношении ничем не заменимым пособием. Только прочитав его, можно понять все величие ленинского гения, эпоху, переломленную сквозь призму этого гения. Это — незаменимый учебник, сочетающий глубину анализа и изумительную точность формулировок с единственной, может быть, в нашей литературе популярностью изложения. Ленин действительно писал всегда рассчитывая на миллионы. В прозрачной глубине его языка отражается несравненная ясность понимания проблем времени. Это чистейшей воды алмаз, тверже стали, такой внешне простой и прозрачный, но вместе с тем неповторимый в своей гениальной простоте, охватывающий суть вопроса, отливающийся всеми цветами гнева и презрения к отживающему миру и великой любовью к восходящему.

Первое собрание сочинений Ленина представляет собой, естественно, даже по отношению к той узкой задаче, которую оно себе поставило, неполный и несовершенный опыт. Уже указан в нем ряд промахов и пропусков. Но от этого оно не перестает быть делающим эпоху событием в истории марксистской мысли. Жаль лишь, что оно так безобразно внешне издано Госиздатом (ср. хотя бы с ленинградским собранием сочинений тов. Зиновьева).

Дать разбор собрания сочинений в краткой рецензии, конечно, невозможно. Оставляя за собой возможность вернуться к нему еще раз впоследствии, мы хотели бы отметить лишь, что к этому изданию совершенно необходимо присоединить не только дополнительные тома с не вошедшими в него и недавно найденными материалами, но и подробные предметные и именные указатели. Только получив их, читатель действительно сможет совершенно свободно пользоваться всем заключенным в собрании богатством.

Несомненно лучшей книгой об основах ленинизма, из всех до сих пор вышедших, является книга тов. Сталина. Задачу „изложить ленинизм" тов. Сталин понимает в том смысле, что „это значит изложить то основное и новое в трудах Ленина, что внес Ленин в общую сокровищницу марксизма и что непосредственно связано с его именем" (стр. 21). Мы не будем излагать содержания книги, отсылая к ней читателя, и отметим лишь трактовку в ней теории перманентной революции.

С точки зрения тов. Сталина, Ленин спорил с нашими „перманентниками" не из-за самой теории непрерывности революции,—он сам стоял за нее в том виде, в каком ее формулировал Маркс,—а из-за недооценки ими роли крестьянства, как величайшего резерва пролетариата (стр. 56). Это замечание тов. Сталина нам представляется одновременно и правильным, и недостаточным.

Правильно, что Ленин стоял за непрерывность революции в марксовском смысле. Задачей пролетариата является не остановиться на полдороге демократических требований, а стремиться к завоеванию государственной власти во всех господствующих странах мира и сосредоточению в своих руках „по крайней мере, решающих производительных сил" (Маркс). Это—задача целой исторической эпохи. Если взять обе русские революции и рассматривать их в связи с общей революционной ситуацией последних двух десятилетий, в связи с мировой войной и кризисом, переживаемым капитализмом, то несомненно, что весь этот период, со всеми привходящими к нему событиями, мы можем рассматривать, как непрерывную цепь нарастания и разворачивания революции. Но нельзя с этим смешивать ту специфическую задачу, которая стояла в определенный исторический период перед русским пролетариатом в 1905 г.

Реальной возможность перехода нашей революции в социалистическую в тогдашних условиях была лишь после завершения буржуазно-демократического переворота и при поддержке западно-европейского рабочего революционного движения. Ближайшей же задачей оставался все же демократический переворот. Этой смены задач, условий перехода от демократического к социалистическому перевороту и не понимали наши „перманентники". Верно, что ошибка их коренилась в недооценке роли крестьянства, но к этой основной ошибке у них присоединялась и производная—непонимание процесса развертывания революции, смены стоящих перед революционным классом задач. Они были неправы не только в оценке движущих сил революции, но и в оценке ее характера в условиях 1905 г., в оценке путей ее развития.

Книжка тов. Сталина должна безусловно стать общепринятым руководством по ленинизму в наших партшколах и ленинских кружках. Правда, написана она очень сжато, конспективно и поэтому может быть трудна для неподготовленного читателя, но затруднения ее усвоения вполне окупаются стройностью изложения и точностью формулировок. Нам особенно хотелось бы отметить места, посвященные роли революционной теории и критике догматики II Интернационала.

* * *

Задача брошюры тов. Бухарина, представляющей стенограмму доклада, сделанного им на заседании Коммунистической Академии (7 февраля 1924 г.),—показать Ленина во весь его гигантский рост не только как практика, но и как гениального теоретика рабочего коммунистического движения. Задача особенно важная в настоящий момент, когда мы пережили только что как бы некоторое поветрие проповеди пренебрежения к теории и увлечения вульгарным практицизмом.

Задачей тов. Бухарина являлось дать образ Ленина, как марксиста. Он рисует три периода в истории марксизма — революционный марксизм самого Маркса, выросший на опыте революции 1848 г., марксизм II Интерна-

ционала и революционный марксизм Ленина, обогащенный всем опытом предшествовавшей борьбы рабочего класса. Ленин не только глубоко усвоил метод Маркса, его подход к решению вопросов рабочего движения, но и обогатил марксизм рядом новых идей. То новое, что изучил Ленин в лупу марксистского анализа, представляет собой его учение об империализме, как новейшем этапе капитализма, о национальном и колониальном вопросах, о значении крестьянства, как союзника пролетариата в революции, о советской власти, как форме рабочей диктатуры. К этим вопросам т. Бухарин присоединяет также и те, которые только намечены были В. И. и которые нуждаются в детальной разработке,—о врастании в социализм после победоносной рабочей революции, о культурной проблеме в переходный период, о различных типах социализма, о теоретическом анализе двухклассового общества при рабочей диктатуре.

Ленинизм и марксизм—не разные учения, их ни в коем случае нельзя противопоставлять друг другу, одно есть логическое и историческое завершение и развитие другого. Ленинский марксизм, это синтез—троякого порядка: синтез марксизма Маркса с результатами анализа новейшей эпохи, синтез теории и практики борющегося и побеждающего рабочего класса, синтез разрушительной и созидательной работы.

Последнее особенно важно для понимания того, что нового внес Ленин в марксизм.

Брошюра т. Бухарина заполняет важнейший пробел в нашей литературе по ленинизму. Показать единство марксизма и ленинизма, как революционной теории рабочего движения, нарисовать фигуру Ленина, как величайшего теоретика этого движения, умевшего, однако, всякое теоретическое положение рассмотреть под углом зрения практических потребностей текущей борьбы,—такова поставленная ею задача. В этом отношении сама брошюра о Ленине, как марксистском теоретике, имеет большое практическое значение.

Нужно воспитать широкие слои партии и рабочих в убеждении, что марксизм и ленинизм даже не две стороны одной и той же медали, что они составляют совершенно необходимое дополнение и завершение друг друга. Надо внушить то же самое и в западных коммунистических партиях, где до сих пор очень часто их необходимая связь пренебрегается в ту или другую сторону. Но поэтому же мы хотели бы сделать одно замечание к построению брошюры т. Бухарина. Выяснив почти исчерпывающе значение Ленина теоретика-экономиста и стратега рабочей революции, т. Бухарин почти совсем обошел роль его, как борца за материалистическое мировоззрение, его роль, как философа марксизма. Между тем, и здесь Ленин перед нами—глубокий теоретик, умеющий видеть за пеленой абстрактнейших философских споров питающие их источники классовой борьбы. Ведь именно метод диалектического материализма был в руках Ленина тем орудием, при помощи которого он разрешал все труднейшие вопросы, которые ставила перед ним текущая борьба. В следующем издании было бы весьма важно в этом отношении соответственно расширить брошюру.

* * *

Роли Ленина, как мыслителя, как философа, посвящена книжка А. М. Деборина, составленная из его статей в „Под Знаменем Марксизма“ о Ленине—воинствующем материалисте. До сих пор мы не имели систематической сводки воззрений диалектических материалистов на все основные вопросы философии. Имевшиеся в обращении книги либо писались с полемической целью, либо ставили себе задачей исторически обосновать диалектический материализм („Введение“ тов. Деборина).

Новая книга тов. Деборина дает такую сводку. В ней шаг за шагом прослеживается, как отвечают Ленин и диалектический материализм на все

важнейшие проблемы философии. Уже поэтому новая книга тов. Деборина должна стать незаменимым пособием для всякого марксиста, всякого коммуниста в деле усвоения основ нашего мировоззрения. Книга написана сравнительно очень доступно и смело может быть рекомендована студентам наших комвузов. Книга впервые дает не только наиболее полное изложение основ нашего мировоззрения, но и наиболее верную и точную его трактовку. Мы хотели бы сделать только несколько замечаний к ней в тех частях, где нам казалось бы было желательно ее пополнить или развить.

Там, где тов. Деборин разбирает отношение у тов. Ленина между теорией и практикой, рисует его образ, как диалектического материалиста, очень уместно было бы развить набросанное В. И. в работе против Струве различие между материализмом и объективизмом. В то время как объективист остается пассивным созерцателем происходящего, материалист требует не только познания совершающегося, но и того, чтобы себя рассматривать как его деятельную неразрывную часть.

Далее, требует разъяснения замечание из Ленина на стр. 12 о том, что „конечно, не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления“. Верно, что критерий практики „неопределен“ настолько, чтобы не давать превратиться знаниям человека в „абсолют“ (стр. 13). Верно, что практика сегодняшнего дня не исчерпывает абсолютной истины. Верно, что всякому человеческому представлению соответствует нечто, вызывающее его в объективном мире. Но это не значит, конечно, что самый критерий практики не обладает достаточной определенностью по крайней мере для того, чтобы опровергать полностью человеческие иллюзии и химеры.

На стр. 35—36 и 38 тов. Деборин развивает в дополнение к гносеологическому определению материи, как того, что действует на наши чувства и отражается в них,—онтологическое определение материи, как „всей бесконечной совокупности“ „опосредствований“, т.-е. отношений и связей. Таким образом под категорию материи подводится все сущее, включая и сознание. Нам казалось бы, что следовало бы при этом выяснить, какой методологический смысл имеет такая трактовка понятия материи, наравне с обычной, и точно отграничить одну трактовку от другой.

Далее нам хотелось бы отметить блестяще развитое тов. Дебориным противопоставление историзма Маркса логизму и психологизму современных буржуазной и мелко-буржуазной философских школ, его критику с.-д. фатализма и его трактовку понятия нравственности у Ленина и в марксизме. Оно представляет как бы некоторый возврат к гегелевскому пониманию нравственности, как системы учреждений. Нравственность в этом понимании есть не всеобщий закон, данный на все времена для всех классов, а исторически развивающиеся правила поведения, определяемые данными общественными отношениями между людьми, прежде всего отношениями между классами, отношениями собственности. В этом смысле и коммунистическая нравственность есть не что иное, как то, что „служит разрушению старого эксплоататорского общества и объединяет всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов“ (Ленин). Это те правила поведения, которые вытекают из отношений, складывающихся между рабочими и трудящимися на почве их общей борьбы за коммунизм, служащие этой борьбе, организующие их в этой борьбе. Эта нравственность есть классовая нравственность, служащая тому, чтобы „человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплоатации труда“ (Ленин). И только эту нравственность признает марксизм, признает Ленин.

Еще раз горячо рекомендуем книгу тов. Деборина всем ленинцам, как лучшее изложение философских основ марксистского мировоззрения.

Мих. Карев.

История философии в марксистском освещении. Статьи и отрывки из произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, К. Каутского, Н. Ленина и др. Часть II (от Лессинга до наших дней). Составили Б. Столпнер и П. Юшкевич. Изд. т.-ва „Мир". Москва 1924. Стр. 436.

Вышла в свет вторая часть „Истории философии в марксистском освещении", составленной Б. Столпнером и П. Юшкевичем. Построена она по тому же плану, что и первая часть, заключавшая в себе материал от начала древне-греческой философии до философии французской эпохи просвещения включительно.

Относительно общего характера и значения второй части не приходится говорить чего-либо нового [1]): использованные статьи, главы из книг и фрагменты авторов-марксистов не являются составными звеньями какой-либо коллективной работы, поэтому книга не представляет собою единой работы по истории философии, в ней не хватает того, что может и должно быть в книге, написанной одним автором и по единому плану; излишне, разумеется, говорить, что составители вполне отдают себе в этом отчет.

Но книга составлена из работ авторов, стоящих на материалистической точке зрения (в области философии,—что и существенно для книги), и это обстоятельство довольно прочно объединяет все использованные статьи и фрагменты. В результате работы составителей получилось недурное собрание статей и извлечений из них авторов-марксистов. К книге надлежит подходить только с такой меркой. И то, что она может быть с пользой применена при изучении философии представителей различных направлений, по собственным их работам,—это несомненно.

Второй части в смысле полноты и выдержанности посчастливилось больше, чем первой. Это объясняется тем, что авторы, вошедшие во вторую часть в качестве объектов марксистского анализа и критики, стоят к нам ближе по времени. Одни из них, как, напр., представители классического немецкого идеализма и утопического социализма, были непосредственными предшественниками марксизма; в критическом преодолении их, собственно, и выковывался диалектический материализм; отсюда — достаточное количество марксистских работ о них. Другие, напр., агностики, эмпириокритики, неокантианцы привлекали внимание авторов-марксистов именно потому, что последним приходилось бороться с ними и в полемике закалять философию марксизма. Поэтому-то ни одна сколько-нибудь крупная фигура из философского мира XIX в. не осталась не отраженной в рецензируемом сборнике. В. Оствальд, Д. С. Милль—вот, пожалуй, „прочеты", объясняемые отсутствием соответствующего материала, и Е. Дюринг и естественно-научный материализм XIX в.—пробелы, отсутствием материала не объяснимые.

Однако с подбором материала случился и оригинальный парадокс. В „Истории философии в марксистском освещении" в качестве объектов исследования и анализа отсутствуют К. Маркс и Ф. Энгельс. Они фигурируют как авторы,—и это, конечно, вполне понятно,—затем, в своих фрагментах (о Гегеле, Фейербахе, Штирнере) они выявляют и в положительной форме принципы философии марксизма, но в истории философии они, по воле или капризу составителей, отсутствуют. От Лессинга до наших дней не было философов и мыслителей, Маркса и Энгельса, хотя и составились две части истории философии „в марксистском освещении"! Как объяснить это? Составители дали один отрывок „Диалектический метод Гегеля и Маркса"—1 страница и отрывок из Плеханова под названием „Диалектика и основные законы мышления"—9 стр., но первый слишком краток, чтобы отразить все принципы учения Маркса, а второй останавливается, главным

[1]) См. наш отзыв на I часть „Истории философии" в № 4—5 „Под Знаменем Марксизма" за 1924 г.

образом, на диалектике, не затрагивая других сторон учения марксизма. Отсутствием материала этот весьма досадный и парадоксальный промах объяснить никак нельзя, марксисты „не забывали" Маркса. Меринг, Плеханов, Деборин, Аксельрод, Лабриола с успехом помогли бы в этом отношении составителям. Правда, том разросся почти до предельных размеров, но ради Маркса можно было бы несколько стеснить Канта, расположившегося на 80 страницах.

Анализ и критика Канта, действительно, представлены очень полно извлечениями из работ Меринга, Энгельса, Плеханова, Аксельрод, Каутского и Кунова, так же как и весь немецкий классический идеализм. Гегель представлен на 60 страницах отрывками из работ Маркса, Энгельса, Плеханова, Кунова. Послемарксова идеалистическая и позитивистическая философия дана в критике Шопенгауэра (Каутский и Меринг), агностицизма (Лафарг, Лабриола, Плеханов), Гексли (Деборин), имманентов (Ленин), эмпириокритиков (Аксельрод), прагматизма (Деборин), Бергсона (Плеханов) и Риккерта (Плеханов). Ряд извлечений, напр., из Кунова, Каутского, Меринга, Роланд-Гольст даны на русском языке впервые.

Это собрание извлечений в историко-систематическом порядке делает книгу, несомненно, ценной в качестве пособия при изучении философии и в качестве удобного справочника по философской мысли марксизма.

Вторая часть завершается указателем имен и примечаниями (к I и II частям). Примечания носят несколько странный характер, и в них нет в полной мере того, что хотелось бы видеть. Примечания к I ч. обширны; они дают изложение тех статей авторов-марксистов, которые, хотя по теме и могли бы войти, но не вошли в первую часть книги. Нужно ли такое изложение? Как бы ни было оно добросовестно выполнено, оно не может, очевидно, заменить оригинала. Не проще ли было просто дать исчерпывающую марксистскую библиографию применительно к содержанию I части? В примечаниях ко второй части (полстраницы) составители пошли по этому пути, но до исчерпывающей полноты весьма далеко.

Составители книги правильно сделали, что на страницы „Истории философии в марксистском освещении" допустили марксистов первых трех поколений (считая первым самих Маркса и Энгельса). Все они, включая не использованных или не использованные работы их, должны были найти себе место еще раз в полной библиографии, составленной по плану самой книги. Кроме того, нам казалось бы правильным включение в библиографический указатель названий историко-философских работ, принадлежащих перу марксистов и четвертого поколения. Этим была бы достигнута полнота сборника и подытожена работа марксистской мысли в области истории философии. Такой библиографический указатель отсылал бы читателя к материалистическому анализу как тех философов, которые остались не отраженными в „Истории", так и тех частных сторон учения отдельных философов, на которых не останавливались марксисты первых трех поколений. Этот последний недостаток, конечно, легко устраним при повторном издании „Истории".

И. Луппол.

Людвиг Фейербах. Сочинения, т. III. Перев. А. П. с предисловием А. Деборина. Институт К. Маркса и Фр. Энгельса. Библиотека материализма под ред. А. Деборина и Д. Рязанова. Госиздат. Москва 1924 г.

Если в политическом отношении наше время представляет ту форму классовой борьбы, которая характеризуется разделением всего мира на два враждебных лагеря, между которыми невозможны никакие компромиссы и, следовательно, промежуточные политические образования, то то же явление

наблюдается и в сфере идеологии и одной из ее форм—философии. Борьба двух главных направлений философской мысли, двух философских систем—идеализма и материализма, которые всегда противостоят по отношению друг к другу, приняла в настоящее время особенно резкую форму. Пограничный столб, отделяющий СССР от дряхлеющего старого мира, разделяет также друг от друга два миросозерцания, два мирочувствования. Если буржуазия Запада с каждым днем все больше теряет путеводящую нить, лишается чувства реальности, впадает в панический мистицизм, то пролетариат СССР постепенно все крепче строит свой новый мир, все увереннее выковывает свое материалистическое мировоззрение. Если одна из задач философии старого мира заключалась в том, чтобы ввести двойственность в сознание людей, толкать их, с одной стороны, к техническому прогрессу, но запутывать, с другой стороны, их общее мировоззрение, то философия пролетариата отбрасывает эту двойственность, вскрывает ее и обнаруживает ложь буржуазии. Если буржуазия губила, обрекала на нищету, предавала забвению искренних и прямых мыслителей, не желавших мириться с требованиями господствующих классов и их ревностных защитников-богословов, то прямой задачей пролетариата является отдать справедливость этим героям-мыслителям, возвать из забвения их искренние и ценные мысли и познакомить с ними пролетарского читателя. Это тем справедливее, чем ближе к нам такой писатель и чем ценнее его идеи для выработки диалектического и материалистического миросозерцания. Поэтому нельзя без чувства удовлетворения видеть недавно изданный 3-й новый выпуск „Библиотеки материализма“, выходящей под редакцией А. Деборина и Д. Рязанова и содержащий 3-й том Собрания сочинений Людвига Фейербаха, именно его лекции о сущности религии.

Л. Фейербах имеет для нас особое значение, так как он оказал непосредственное влияние на Маркса и Энгельса в смысле выработки ими своих философских взглядов. Он—звено, соединяющее Гегеля с Марксом. Первый воспользовавшийся гегелевским диалектическим методом для построения материалистической философской системы, он не смог все же дать достаточно твердого и прочного основания для этой системы, вследствие чего она оказалась бы неустойчивой, если бы Маркс и Энгельс не довершили его дела до конца.

Во время Л. Фейербаха буржуазия начала понемногу пробуждаться и пробовать свои силы в борьбе с реакцией, наступившей в Германии после 1815 г. Эта борьба вначале носила исключительно идеологический характер и велась, главным образом, в областях религиозной и социальной философии. Поэтому свои новые идеи Фейербах высказал, преимущественно, в произведениях, посвященных вопросам религии. Эти его большие произведения, написанные несколько тяжеловатым, оставшимся в наследство от Гегеля, языком, содержат в себе все же много пламенного энтузиазма и в свое время оказали большое революционизирующее влияние на германскую передовую молодежь. Лекции о сущности религии вышли в свет в 1851 г., т.-е. уже после революции 1848 г., и представляют собою систематическое изложение религиозных воззрений Фейербаха. Прочитанные по просьбе студентов в Гейдельберге, они являются сводкой работ, написанных им по этому вопросу ранее. Фейербах читал эти лекции уже не молодым человеком, после того как он провел в добровольном изгнании двенадцать лет и, по собственному выражению, закончил счеты с религией. Поэтому в этой его работе мы имеем его вполне выработавшиеся законченные мнения по этому вопросу. Кроме того, так как эти лекции прочитаны в 1849 г., после издания „Коммунистического манифеста“ Маркса и Энгельса, оказавшего, как известно, на Фейербаха большое влияние, то возможно, что в этой работе уже имеются некоторые следы влияния Маркса на Фейербаха. Так, двенадцатая лекция, трактующая о сложности космологического доказательства бытия бога, звучит в некоторых местах почти по-марксистски.

Основные идеи этой работы сводятся к следующему. Фейербах исходит из человека, как чувственного существа. Первое и самое главное чувство человека, это—чувство зависимости. Подобно Декарту, Фейербах исходит из того, что человек не является абсолютно свободным существом и чувствует свою зависимость от другого существа. Но каково это другое существо? Богословы говорят—бог. Следовательно, задача заключается в том, чтобы вскрыть то содержание, которое скрывается за этим словом. Фейербах, во-первых, открывает, что бог—лишь общее понятие, выражающее отвлечение от ряда конкретных чувственных вещей. Философия имеет дело с такими отвлеченными понятиями, так как она вообще абстрактна, сущностью же религии является чувственность. Однако чувственность религии оказывается вовсе не чувственной, или скорее двойственной „плотью, которая как бы и не плоть“. Религия вследствие чувственного своего характера, вынуждена наделить абстрактного бога, отвлеченного от конкретных чувственных вещей, также чувственностью, хотя последняя по отношению к богу становится как-кой-то абстрактной чувственностью. Необходимо, однако, решить вопрос, каковы те чувственные предметы, путем отвлечения от которых мы получаем понятие бога. Фейербах отвечает на этот вопрос знаменитым своим афоризмом—теология есть антропология. Этой фразой он выражает ту идею, что в предмете религии боге—выявляется не что иное, как существо человека, или, что бог человека есть не что иное, как обожествленное существо человека. Различие богов, следовательно, различие религий, зависит от различия людей. В другом месте, как мы уже выше указали, Фейербах выводит различие религий даже от различия общественного строя. Здесь, однако, не дан еще ответ на поставленный вначале Фейербахом вопрос, от кого или от чего чувствует человек себя зависимым. „Я знаю столь же хорошо,—говорит Фейербах,—как мои хулители, что человеческое существо, мыслимое как существующее само по себе, ни от чего не зависимое и абсолютное, есть нелепость, идеалистическая химера. Но существо, которое человек считает себе предшествующим, и к которому он, по необходимости, имеет отношение, без которого ни его существование, ни его сущность не могут быть мыслимы, это существо, господа,—не что иное, как п р и р о д а, а не ваш бог“ (лекция 3). Доказательством этой основной идеи, что религия есть чувство зависимости от природы, занята большая часть книги. Следует, однако, указать, что Фейербах не ограничивается словом природа, которому придавались всевозможные значения, а пытается определить это понятие. „Под природой я разумею понятие, включающее в себе все чувственные силы, предметы и существа, которые человек отличает от себя, как нечеловеческие; или, беря слово природа с практической стороны, природа есть все то, что человеку—независимо от сверхъестественных нашептываний теистической веры—представляется непосредственно, чувственно, как основа и предмет его жизни“.

В этом определении природы Фейербах отбрасывает и тот незначительный религиозный элемент, который заключался в определении Спинозы. Глубокий философ и остроумный мыслитель, Фейербах в своих лекциях метко и глубоко критикует виды и способы доказательств бытия божия, анализирует сущность религии с психологической точки зрения, вскрывает некоторые патологические особенности религиозной веры, проводит замечательные параллели между религией и наукой, философией и др.

Недостатки этой книги—недостатки Фейербаха, как философа. Их метко охарактеризовал Маркс в 6—8 тезисах о Фейербахе. „Фейербах абстрагировался от хода исторического развития и предположил абстрактного, изолированного человека; он не видит, что религиозное чувство само есть общественный продукт и что абстрактный индивидуум, подвергаемый им

анализу, принадлежит к определенной общественной форме" (Архив Института К. Маркса и Фр. Энгельса, стр. 201). Можно еще указать на устарелость точки зрения Фейербаха на происхождение религии, сводящейся к чувству страха первобытных людей перед грозными явлениями природы,— теория, ныне совершенно оставленная.

Лекциям о сущности религии предпослано краткое предисловие А. М. Деборина, знакомящее читателя с историей этой работы и кратко характеризующее содержание.

Издана книга превосходно, с той тщательностью и научной добросовестностью, которая характерна для Института Маркса и Энгельса.

Г. Тымянский.

Ленинский сборник I под ред. Л. Б. Каменева. Институт Ленина при ЦК РКП (б). Изд. 2-е. Москва—Ленинград MCMXXIV. Стр. 252.

Великое литературное наследство Ленина не только еще не изучено, но многое и не опубликовано, и даже еще не разыскано, не собрано. „Собрание сочинений" в 19 томах, которое мы имеем, далеко не полное. Это есть, по справедливому замечанию т. Каменева, „только первая попытка собрать наследие Ильича". Это Собрание сочинений дало возможность партии ознакомиться с основными, наиболее существенными мыслями Ильича, с основами ленинизма, но оно, конечно, еще недостаточно для строго-научного изучения Ленина и его творчества. А, между тем, ленинизм есть именно новая наука, наука борьбы и победы пролетариата, наука строительства нового общества, новой культуры, нового знания. И борющемуся пролетариату, и его партии чрезвычайно важно, чтобы эта наука дана была в подлинно научном виде, чтобы были собраны и даны все ее кусочки, все кирпичики здания.

Глубоко прав тов. Каменев, когда он пишет: „Все важно, что касается Ленина" („Ленинский сборник" № 1, стр. 14),—важно для понимания науки ленинизма—вернейшего оружия большевизма в борьбе против всех его врагов явных и скрытых.

Собирание кирпичей этой науки, связывание, научная разработка их поручена партией Институту Ленина. На него партия возложила задачу дать ей ленинское учение, ленинские мысли в наиболее полном, научном виде. Выполняя эту задачу, Институт Ленина поставил себе на первый план порядка дня—дать по возможности скорее первое научно-подобранное, проверенное, разработанное „Полное собрание сочинений" Ленина, т.-е. „всего того, что было написано и сказано Ильичем, и что поддается воспроизведению",—это Институт может и должен дать как можно скорее. Такое собрание сочинений Вл. Ильича было бы действительно фундаментом для научного овладения ленинизмом, чтобы тем более верно осмыслить и действовать в свете и в направлении его заветов.

Но партия и рабочий класс не может ждать, пока выйдет такое полное собрание сочинений Ленина. Потребности борьбы, задачи воспитания масс в духе ленинизма и большевизма, отражение натисков, которые идут на ленинизм,—все это требует того, чтобы наиболее важное из ленинского литературного наследства, добытое, добываемое и изучаемое Институтом, было опубликовано теперь же, не дожидаясь того, пока выйдет полное собрание сочинений.

Исходя из этого, Институт Ленина предпринял выпуски „Ленинских сборников", которые должны периодически в строго-научной форме знакомить коммунистические передовые ряды пролетариата с результатом собирания и научной разработки Институтом ленинского литературного наследства.

Основными материалами 1-го „Ленинского сборника" являются письма

Ленина к Горькому, обнимающие период 1908—1913 гг., т.-е. эпоху реакции и начала подъема революционного рабочего движения.

Это было время, когда Ленин выковывал большевистскую партию и ее марксистское ленинское мировоззрение в огне беспощадной, непримиримой борьбы против политического ликвидаторства справа и слева, против всяких попыток внести в идеологию рабочего класса чуждые ему элементы, против всяческого идейного шатания и оппортунизма, которые в те годы пышно расцвели в рядах социал-демократии. В эту пору особенно проявилась, по выражению т. Каменева, „бешеная борьба Ленина против всех элементов буржуазной идеологии", а... его „сектантство" и „раскольничество", его идейная беспощадность явились необходимым и спасительным условием формирования подлинно-революционной идеологии борющегося пролетариата" („Лен. сб.", I, стр. 81).

Ленин лично хорошо относился к Горькому, высоко ценил его как большого художника, самородка из „низов", оказывающего своими произведениями услугу пролетарской борьбе, и в то же время знал как недостаточно твердого большевика, как недалекого политически, шатающегося идейно человека. В период, к которому относятся эти письма Ленина, Горький занимался вместе с Луначарским богостроительством, находился под философским влиянием Богданова и колебался политически между либерализмом и отзовизмом. Желая сохранить для партии Горького, как пролетарского писателя-художника, как крупную культурную силу, Ленин терпеливо воспитывает Горького идейно и политически. Но метод воспитания—чисто-ленинский. Ленин, со свойственной ему резкостью и определенностью, вскрывает перед Горьким весь вред, всю ошибочность богдановщины и луначарщины и разъясняет Горькому его философские заблуждения, беспощадно показывает его политические промахи. Письма Ленина к Горькому таким образом отражают тогдашнюю борьбу Ленина со всяческим ликвидаторством и политическими шатаниями социал-демократии, с другой стороны, борьбу за марксистское мировоззрение против теоретических шатаний, против попыток внести в него буржуазную идеологию. Правильно характеризует их поэтому т. Каменев, как „документы войны на идеологическом фронте".

* * *

Беспощадно борясь против ликвидаторства справа и слева, ставя эту борьбу в центре тогдашних большевистских задач, Ленин разъясняет Горькому значение этой борьбы. Это „очищение... партии от ее опасных „уклонений",—пишет Ленин 11/IV—10,—очищение тем более необходимое, что оно „вовсе не одна только „идейная" задача, вовсе не одна „литературщина" только, как думает. . . . . [1]) Потресов... Нет, это очищение неразрывно связано с самой гущей рабочего движения, которое учится постановке социал-демократической (так тогда именовалась наша партия. *П. С.*) работы в теперешнее трудное время, именно путем отрицания учится, путем отрицания ликвидаторства и отзовизма выходит на дорогу" (стр. 109).

„С отзовизмом мы уже покончили идейно в сущности до пленума. С ликвидаторством не докончили тогда, меньшевикам удалось на время скрыть змею (курсив Ленина. *П. С.*), а теперь ее вытащили на свет божий, теперь ее все видят, теперь ее будем уничтожать и уничтожим" (там же). Всякой попытке замазать, затушевать эту борьбу и необходимость полного разрыва с ликвидаторством и отзовизмом Ленин дает решительный отпор: „С впередовцами [2]) дел иметь не хочу" (116), и в ответ на попытку

---

[1]) Выпущено резкое ругательное слово.

[2]) Фракция Богданова-Луначарского, образовавшаяся из отзовистов, ультиматистов и богостроителей.

Горького собрать совещание с меньшевиками, поддерживающими ликвидаторов, для разработки плана объединения вокруг какого-нибудь органа, Ленин (27/V—11) пишет: „Объединение наше с меньшевиками вроде Мартова абсолютно безденежно... Ежели мы станем учинять „съезд" для столь безнадежного плана—выйдет один срам (я лично даже на совещание с Мартовым не поеду)" (стр. 119)... „Ей же-ей, не объединяться, а размежевываться надо" (стр. 120).

Ленин резко подчеркивает Горькому (в августе—сентябре 1912 г.), что нужно отговаривать рабочих от того, чтобы итти на так называемую „августовскую конференцию", созванную блоком меньшевиков, впередовцев, троцкистов и пр. для борьбы с ленинцами-большевиками.

По отношению ленинцев линия Троцкого в этот период сводилась к враждебной позиции и действиям. Еще в начале 1908 г., когда Ленин хотел пригласить его для работы в большевистской газете „Пролетарий", Троцкий прислал письмо: „По поручению тов. Троцкого", извещалась редакция „Пролетария", что он писать отказывается, „занят". На это Ленин замечает: „Это позерство, по-моему. И на Лондонском съезде (1907 г. *П. С.*) он держался позером. Не, знаю уж пойдет ли он с большевиками",—и добавляет затем—„борьба с меньшевиками может обостриться. А Троцкий хочет стоять выше борющихся фракций" (89 стр.).

В 1910 году Ленин, говоря о необходимости очищения партии „путем отрицания ликвидаторства и отзовизма", характеризует позицию т. Троцкого: „Только. . . . . [1]) Троцкий воображает, что можно это отрицание обойти, что это лишнее, что рабочих это не касается, что вопросы ликвидаторства и отзовизма ставятся не жизнью, а печатью злых полемистов" (стр. 109).

Еще задолго до августовской конференции т. Троцкий пытался не только идейно занять вне и надфракционную позицию, но и объединить против большевиков ликвидаторов и отзовистов. 3/I—11 г. Ленин пишет Горькому: „. . . . . [2]) Троцкий соединяет голосовцев [3]) и отзовистов против нас. Война" (стр. 113).

Так определяет т. Ленин свою позицию, позицию большевиков-ленинцев, по отношению к ликвидаторам справа и слева и по отношению к Троцкому.

Партийная обывательщина, подогреваемая ликвидаторами, троцкистами, впередовцами и т. д., однако, готова была усмотреть в непримиримости позиции Ленина и борьбы его и его сторонников против всех оттенков оппортунизма—личную склоку, личную борьбу, личные нападки. Горький, который порядком страдал болезнью партийной обывательщины, тоже склонен был объяснять эту борьбу склокой вождей. И он получил за это от Ленина заслуженную отповедь: „Эмигрантщина и склока неразрывны, но склока отпадает... склока—это аксессуар" (стр. 108), за ней скрываются глубокие принципиальные расхождения. Их нужно уметь найти.

„Нет, кроме шуток,—обращается Ленин к Горькому, — нехорошую Вы манеру взяли, обывательскую, буржуазную—отмахиваться: вы все „склокисты". Посмотрите-ка на новую эсеровскую литературу: „Почин", „Известия заграничной областной организации" — сравните с „Революционной Мыслью", с „Революционной Россией", а там еще с Ропшиным [4]) etc. Вспомните „Вехи" [5]) и полемику (quasi-полемику) с ними Милюкова, Гредескул а(который ныне открыл, что не нужна вторая революция в России) и т. д., и т. д.

Сопоставьте все это в целом, всю сумму идейных течений 1908—1912 годов у с.-р., трудовиков, беззаглавцев, кадетов с тем, что было и есть у

[1]) Редакция сборника заменила точками резкое слово по адресу т. Троцкого.
[2]) Выпущено резкое слово.
[3]) „Голос Социал-Демократа"—газета меньшевиков ликвидаторского направления.
[4]) Все органы различных эмигрантских групп эсеров. Ропшин — псевдоним Савинкова.
[5]) Контр-революционный сборник статей о русской интеллигенции.

с.-д. (кто-нибудь, когда-нибудь—историк, вероятно, сделает эту работу непременно). Вы увидите, что все, буквально все, вне социал-демократов решали те же самые, буквально те же самые вопросы, из-за которых откололись у нас группки от партии в сторону ликвидаторства и отзовизма.

О склоке у с.-д. любят кричать буржуа, либералы, эсеры, которые к „больным вопросам относятся не серьезно, плетутся за другими, дипломатничают, пробавляются эклектизмом. Разница социал-демократов от всех них та, что у с.-д. склокой облечена борьба групп с глубокими и ясными идейными корнями, а у них склока внешне приглажена, внутренне пуста, мелочна, мизерна. Никогда, ни за что не променял бы я резкой борьбы течений у с.-д. на прилизанную пустоту с.-р. и К°" (стр. 122).

В другом, следующем письме, Ленин пишет Горькому: „Если вы признаете, что „склока" наша вызвана непримиримым различием—тогда нельзя (курсив Ленина. *П. С.*) говорить и ликвидатору и его врагу: „оба вы склокисты". Тогда дело тех, кто понял идейные корни „склоки", не участвуя в ней, помогать массе разыскивать корни, а не оправдывать массу за то, что она рассматривает споры, как „личное генеральское дело..." (стр. 124).

Но трудность положения, ожесточение борьбы, нападки и т. д. нисколько не колеблют бодрость и уверенность Ленина в победе своего дела: „Развитие партии, развитие социал-демократического движения,—пишет он в 1910 году,—идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения. Очищение... партии от ее опасных „уклонений", от ликвидаторства и отзовизма идет вперед неуклонно" (стр. 109).

В письме от начала мая 1913 г., Ленин восклицает: „Идет вперед—вопреки всему наше дело, и рабочая партия строится революционная, с.-д-ская, против либеральных ренегатов, ликвидаторов. Будет и на нашей улице праздник" (стр. 138).

* * *

Не менее решительную и жестокую борьбу ведет Ленин в эти годы против Богданова, Луначарского и иже с ними по вопросам мировоззрения. Ленин великолепно видел и стремился показать это каждому пролетарию, что подлинный большевик должен быть революционным марксистом, диалектическим материалистом по своему мировоззрению; что махизм, богдановщина и т. д. есть антипролетарские течения, поднявшиеся в период упадка революции; что попытка ими обосновать большевизм есть внесение буржуазной идеологии в пролетарское учение, есть заражение его реакционными бреднями, поповщиной, труположством.

Еще в 1904 г. Ленин писал Богданову из Женевы в Париж, что он не согласен с его философскими писаниями и считает правильными взгляды Плеханова. Когда же Богданов выпустил свою третью книгу „Эмпириомонизма", Ленин „засел,—как он сам пишет,—внимательно за нее". Прочитав, озлился и взбесился необычайно: „Для меня еще яснее стало, что он идет архи-неверным путем, немарксистским. Я написал ему тогда „объяснение в любви", письмецо по философии в размере трех тетрадок. Выяснял я там ему, что я, конечно, рядовой марксист в философии,—скромно замечает Ленин,—но что именно его ясные, популярные, превосходно написанные работы убеждают меня окончательно в его неправоте по существу и в правоте Плеханова..." (стр. 91). „Теперь,—продолжает Ленин,—вышли „Очерки философии марксизма" [1]). Я прочел все статьи... и с каждой статьей прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм. И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты и эмпириосимволисты в болото. Уверять читателя, что „вера" в реальность внешнего мира есть „мистика" (Базаров), спутывать самым безобразным образом материализм и кантианство (Базаров и Богданов), проповеды-

[1]) Вышло в 1908 г. Письмо Ленина датировано 25/II—08.

вать разновидность агностицизма (эмпириокритизм) и идеализма (эмпириомонизм), учить рабочих „религиозному атеизму" и „обожанию" высших человеческих потенций (Луначарский), объявлять мистикой энгельсовское учение о диалектике (Берман), черпать из вонючего источника каких-то французских „позитивистов", агностиков или метафизиков, чорт их поберет, с „символической теорией познания (Юшкевич).—Нет, это уж чересчур... Я себя дам скорее четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе и коллегии, подобные вещи проповедующей" (стр. 91—92). Поэтому Ленин пишет в этом письме: „Некую драку... по вопросу о философии я считаю теперь совершенно неизбежной" (стр. 93). Неизбежной теперь в (1908 г.) именно потому, что своей книгой „Очерки философии марксизма" Богданов, Луначарский и К° ознаменовали поход против основ марксистского мировоззрения—против идейного оружия пролетарской революционной партии. Горький, увлеченный „учением" Богданова-Луначарского, пытается оспаривать перед Лениным материализм и хочет связать его с мещанством.

Ленин отвечает: „Насчет материализма, именно как миропонимания, думаю, что несогласен с вами по существу. Именно не о материалистическом понимании истории" (его не отрицают наши „эмпирио"), а о философском материализме. Чтобы англо-саксы и германцы „материализму" были обязаны своим мещанством, а романцы анархизмом,—это я решительно оспариваю. Материализм, как философия, **везде у них в загоне**. „Neue Zeit", самый выдержанный и знающий орган, равнодушен к философии, никогда не был ярым сторонником философского материализма, а в последнее время печатал, без единой оговорки, эмпириокритиков. Чтобы из материализма, которому учили Маркс и Энгельс, можно было вывести мертвое мещанство, это неверно, неверно. Все мещанские течения в социал-демократии воюют всего больше с философским материализмом, тянут к Канту, к неокантианцам, к критической философии. Нет,—подчеркивает Ленин,—та философия, которую обосновал Энгельс в „Анти-Дюринге", мещанства не допускает и на порог" (стр. 89).

Далее Горький пытался отговорить Ленина от „брака с махистами" и хотел примирить его с Богдановым и др. Ленин отвечает: „Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и **вреде** известной проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы не поднял шуму, если бы не убедился безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым днем больше по мере ознакомления с первоисточниками мудрости Базарова, Богданова и К°), что книга их—нелепая, вредная, поповская, **вся**, от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авенариуса. Плеханов **всецело** прав против них по существу, только не умеет или не хочет сказать это **конкретно**),—обстоятельно, просто, без излишнего запугивания публики философскими тонкостями. И я во что бы то ни стало скажу это **по-своему**. Какое же тут примирение может быть, милый А. М.? Помилуйте, об этом смешно и заикаться. Бой **абсолютно** неизбежен... Нейтральности в таком вопросе быть не может и не будет".

В апреле 1908 г. Горький зовет Ленина приехать для переговоров с богдановцами. Ленин отвечает: „Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедывать соединение научного социализма с религией, я **не могу** и не буду. Время тетрадок (см. выше. *П. С.*) прошло". Великолепно понимая, что идейная реакция против марксизма, развивавшаяся в рядах большевиков будущими „впередовцами", является отражением общественной реакции и несет с собою опасность разбольшевичивания партии, Ленин считал необходимым „не по-плехановски", а по своему, по-Ленински, по-большевистски дать этой реакции самый решительный, незамазанный, резкий отпор. И он садится за изучение философии, пишет свою книжку „Материализм и эмпириокритицизм", отдавая себя весь, целиком, по-

ленински этой ударной задаче. „Газету я забрасываю из-за своего философского запоя,—пишет Ленин 16/III—08,—сегодня прочту одного эмпириокритика и ругаюсь площадными словами, завтра—другого и матерными" (стр. 97: „Дайте полаяться по философски, помогите пока „Пролетарию",—обращается он к Горькому в конце апреля).

Первое время этих философских разногласий пало на эпоху обостренной борьбы с ликвидаторством. В этой борьбе была дорога каждая единица, особенно крупная. Поэтому Ленин, считая абсолютно неизбежной и необходимой жестокую драку с компанией эмпириокритиков, считал нужным вести ее, однако, „на стороне", не в партийных органах, так, чтобы не мешать политической фракционной борьбе против ликвидаторства. Очищение от ликвидаторства, уничтожение его стояло на первом плане. Поэтому пишет тогда (начало 1908 г.) Ленин: „Мы должны подраться из-за философии так, чтобы „Пролетарий" и большевики, как фракция **партии, не были этим задеты**" (стр. 94). Нужно „отделить драку от фракции". „Конечно, на живых людях это отделение сделать трудненько, больненько,—сознается Ленин,—но сделать это необходимо". „Вы,—обращается Ленин к Горькому,—пишете: меньшевики выиграют от драки. Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, А. М.. Они выиграют, если бековская (большевистская. *П. С.*). фракция не отделит себя от философии трех большевиков (Базарова, Богданова, Луначарского. *П. С.*). **Тогда** они выиграют окончательно. А если философская драка будет итти вне фракции, то меньшевики будут окончательно сведены на политику, и тут им смерть" (стр. 99). Таким образом требование отделить философскую драку от фракционной диктовалось соображениями стратегии борьбы с ликвидаторами.

Но уже в начале 1909 г. совершенно отчетливо выяснилось, что с группой Богданова-Луначарского большевикам абсолютно не по дороге. Эта группа продолжала свою реакционную проповедь и предприняла шаги к организационному обособлению, учредив свою школу на Капри.

В середине 1909 г. расширенная редакция „Пролетария" („большевистский центр") резко осудила это течение, как порывающее с основами марксизма, приносящее вред социал-демократической работе, указала, что оно обусловлено ростом религиозных настроений контр-революционной буржуазии, что большевистская фракция не должна иметь с ним ничего общего.

Тогда богдановцы выступают открыто как особая фракция, с органом „Вперед" и ведут против большевиков-ленинцев идейный, политический и организационный поход, встречая себе, как мы видели, поддержку ликвидаторов, троцкистов и др. Горький открыто становится на их сторону.

Уже с IV—08 г. в переписке Ленина и Горького наступает перерыв вплоть до 11/IV—10. Несомненно, что на этот перерыв повлияло развитие указанных выше событий.

В переписке после 1910 г. мы находим не менее резкую отповедь Горькому по вопросам философии и особенно религии. Горький отходит от впередовцев, но продолжает нещадно путаться в охвостьях их „теорий".

В письме от начала февраля 1913 г. Ленин пишет Горькому: „Насчет учения о материи и ее строении вполне с вами согласен, что писать об этом надо, и что это—хорошее средство против „яду", который сосет русская бесформенная душа". Только напрасно зовете вы этот яд „метафизикой". Его надо звать „**идеализмом** и агностицизмом. А то, ведь, метафизикой махисты называют материализм. И как раз **куча** виднейших современных физиков **по случаю** „чудес" радия, электронов и т. п. протаскивает **боженьку** и самого грубого и самого тонкого, в виде философского идеализма" (стр. 134).

Особенно резко отзывается Ленин об остатках у Горького богостроительских увлечений. Страницы писем, посвященные оценке богостроительства, представляют классический документ Ленинской критики всяческой религии.

Горький в своей статье (в „Речи") по поводу Достоевского написал: „А „богостроительство" надобно на-время отложить — это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не посеяв не пожнешь. Бога у вас нет, вы еще не создали его. Богов не ищут—их создают".

„Выходит,—пишет Ленин Горькому 14 ноября 1913 г.,—что вы против „богоискательства" только „на-время". Выходит, что вы против „богоискательства" только ради замены его богостроительством.

„Ну, разве это не ужасно, что у вас выходит такая штука?"

Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства, или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый чорт отличается от чорта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов, против всякого идейного труположества (всякий боженька есть труположество—будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построенный боженька, все равно), а для предпочтения синего чорта желтому,—это во сто раз хуже, чем не говорить совсем".

„...В таких странах", как Америка, Швейцария и т. п. „народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистецького, духовного, построяемого боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией,—именно поэтому это—самая опасная мерзость, самая гнусная зараза". Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные „идейные" костюмы идея боженьки. Католический поп, растлевающий девушек..., гораздо менее опасен именно для „демократии", чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп идейный и демократический, проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого попа легко разоблачить, осудить и выгнать,—а второго нельзя выгнать так просто, разоблачить его в тысячу раз труднее, „осудить" его ни один „хрупкий и жалостно-шаткий" обыватель не согласится".

„И вы,—обращается Ленин к Горькому,—зная „хрупкость" и жалостную шаткость" (русской: почему русской? а итальянская лучше?) мещанской души, смущаете эту душу ядом, наиболее сладенькими, и наиболее прикрытыми леденцами и всякими раскрашенными бумажками. Право это ужасно".

„Богостроительство,—продолжает Ленин,—не есть ли худший вид самооплевания? Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим образом, занимаясь вместо „деяний" как раз самосозерцанием, самолюбованием, при чем „созерцает"-то такой человек самые грязные, тупые, холопские черты или черточки своего „я", обожествляемые богостроительством.

„С точки зрения не личной, а общественной, всякое богостроительство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства, хрупкой обывательщины, мечтательного „самооплевания" филистеров и мелких буржуа, „отчаявшихся и уставших" (стр. 145—146).

Горький пытался оправдаться, но оправдываясь он только „разъяснял" себя:

„Вы „раздосадованы", — пишет ему в ответ Ленин, — вы не можете понять, как проскользнуло слово „на-время"—так вы пишете—и в то же самое время вы защищаете идею бога и богостроительства".

„Бог есть комплекс тех выработанных племенем, нацией, человечеством, идеей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм" (цитата из письма Горького, приведенная Лениным. *II. С.*).

„Эта теория,—подчеркивает Ленин,—явно связана с теорией или теориями Богданова и Луначарского. И она—неверна и явно реакционна. Наподобие христианских социалистов (худшего вида „социализма" и худшего извращения его) вы употребляете прием, который... повторяет фокус-покус поповщины: из идеи бога убирается прочь то, что исторически и житейски в ней есть (нечисть, предрассудки, освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничество и монархия, с другой), при чем вместо исторической и житейской реальности в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (бог=„идеи будящие и организующие социальные чувства").

„Вы,—обращается он к Горькому,—хотите этим сказать „доброе и хорошее", указать на „правду-справедливость" и тому подобное. Но... раз вы его написали, оно пошло в массу, и его значение определяется не вашим добрым пожеланием, а соотношением общественных сил, объективным соотношением классов. В силу этого соотношения выходит (вопреки вашей воле и независимо от вашего сознания), выходит так, что вы подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II и г.г. Струве, ибо на деле идея бога им помогает держать народ в рабстве. Приукрасив идею бога, вы приукрасили цепи, коими они сковывают темных рабочих и мужиков".

„Неверно, что бог есть комплекс идей, будящих и организующих социальные чувства. Это—Богдановский идеализм, затушевывающий материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом,—идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу... Теперь и в Европе, и в России всякая, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

„Ваше определение,—говорит Горькому Ленин,—насквозь реакционно и буржуазно".

„Почему... реакционно? Потому, что поддерживает поповско-крепостническую идею „обуздания" зоологии. В действительности „зоологический индивидуализм" обуздала не идея бога, обуздало ее и первобытное стадо, и первобытная коммуна. Идея бога всегда усыпляла и притупляла „социальные чувства", подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства)". Никогда идея бога не „связывала личности с „обществом" (как утверждал Горький. *II. С.*), а всегда связывала угнетенные классы верой в божественность угнетателей.

„Буржуазно ваше определение (и не научно, не исторично), ибо оно оперирует огульными, общими, „робинзоновскими" понятиями вообще—а не определенными классами определенной исторической эпохи"...

„Что „богостроительство есть процесс дальнейшего развития и накопление социальных начал в индивидууме и в обществе" (слова Горького. *II. С.*). Это восклицает Ленин, — прямо ужасно!! Если бы в России была свобода, ведь, вас бы вся буржуазия подняла на щит за такие вещи, за эту социологию и теологию чисто-буржуазного типа и характера" (стр. 149—151).

Таковы эти великолепные страницы Ленина по поводу религии вообще и богостроительства в частности.

* * *

Письма к Горькому показывают нам Ленина и как руководителя, организатора партии. Он неустанно следит за работой, направляет ее, печется о ней (см. стр. 85—125 и др.). Письма позволяют нам видеть и некоторые личные черты Ленина и прежде всего его неусыпную заботу о товарищах.

„Берегите здоровье"... „установите прижим (режим) построже". „Отдыхайте лучше". „Желаю всей душой отдохнуть и поправиться вам получше".

Но и здесь говорит в нем вместе с тем руководитель партии: „Право, съездите-ка вы, — обращается он к Горькому, — к первоклассному врачу в Швейцарии (я могу узнать имена и адреса) или Германии, — позаймитесь месяца 2 серьезным лечением в хорошей санатории. А то расхищать зря казенное имущество, т.-е. хворать и подрывать свою работоспособность — вещь недопустимая во всех отношениях“ (стр. 142).

* * *

Среди других материалов, данных в I „Ленинском сборнике“, весьма интересны: „Запись—Как чуть не потухла „Искра“. Документ—Как чуть не потухла „Искра“ относится к 1900 году, к началу организации газеты „Искра“. Он рисует столкновение Ленина с Плехановым, по поводу некоторых, вытекающих из характера Плеханова, его дезорганизаторских поступков при создании первой общерусской социалистической газеты „Искра“. Эта запись важна для истории создания „Искры“, но она интересна и потому, что бросает нам свет на личность Ленина и Плеханова. Плеханов был идейным учителем молодого Ленина. Ленин чрезвычайно ценил и уважал его. С особой, как пишет сам Ленин, „влюбленностью“ в Плеханова приехал к нему он с товарищами сговориться о создании газеты „Искра“.

И вот Плеханов обнаруживает в общепартийном деле, при встрече с молодыми, неискренность, дипломатию, интриганство, мелкое самолюбие и тщеславие, желание выдвинуть свое „я“, оттеров и подчинив себе всех других.

Но именно эти „дезорганизаторские качества“ Плеханова заставили Ленина и „молодых“ (Мартова и Потресова) выступить со всей резкостью против Плеханова. В. И. не допускал, чтобы в общем, партийном деле руководствовались не интересами дела, а интересами своего я, тщеславием, властолюбием. Особенно недопустимо это со стороны руководителей партии. Поэтому, когда В. И. обнаружил, что Плеханов, к которому он до этого относился исключительно хорошо, почти влюбленно, занимается интриганством и стремится не столько зажечь „Искру“, сколько желает в ней властвовать неограниченно, держа всех в атмосфере „ультиматумов“, то Владимир Ильич и молодые особенно возмутились и хотели порвать с Плехановым. „Мою „влюбленность“ в Плеханова,—пишет В. И.,—как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, ни перед кем я не держал себя с таким „смирением“—и никогда не испытывал такого грубого „пинка“ (стр. 39).

„Раз человеком, с которым мы,—продолжает В. И.,—хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход, тут уже нечего сомневаться, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он человек неискренний. Это открытие—это было для нас настоящим открытием!—поразило нас громом, потому что мы... были до этого момента влюблены в Плеханова. Возмущение наше было бесконечно велико“.

„...Это,—продолжает В. И.,—был самый резкий жизненный урок, обидно-резкий, обидно-грубый. Младшие товарищи „ухаживали“ за старшим из громадной любви к нему, а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриг и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно двигать по произволу, а то так даже и неумелыми streber'ами (карьеристами), которых надо посильнее припугнуть и придавить... Внезапность краха вызывала естественно начало и преувеличений, но в основе своей эти горькие слова были верны“ (41).

Только твердое, горячее желание „не дать делу погибнуть от дезорганизационных качеств“ Плеханова заставили В. И. установить на основе „договора“ (он приведен в „Сборнике“) формальные отношения между Лениным, Мартовым, Потресовым и гр. „Освобождение Труда“ во главе с Плехановым, которые дали возможность „Искре“ не потухнуть, а разгореться.

Мы сознательно ограничили себя рассмотрением указанных документов сборника. Обстоятельства места не позволяют затронуть всех документов сборника, как принадлежащих перу Вл. Ильича, так и написанных и составленных руководителями и ответственными сотрудниками Института.

„Ленинские сборники“ являются действительно научной, тщательно и с большой любовью выполненной разработкой великого литературного наследства В. И. Ленина.

П. Сапожников.

Д. Рахман. Джон Локк. Его учение о познании, праве и воспитании. субъективная и объективная психология. С предисловием Л. И. Аксельрод (Ортодокс). „Червоний Шлях“, 1924. Стр. 182.

Русская философская литература о Д. Локке крайне бедна. Крупнейший английский мыслитель, впервые в истории новой философии поставивший во всем объеме проблему теории познания, почти не был у нас объектом изучения [1]). Книга Д. Рахмана имеет целью восполнить этот пробел. Задачи автора широки; они сводятся к тому, чтобы, как гласит подзаголовок книги, охватить учение Локка о познании, праве и воспитании. Задача эта количественно выполнена не в равной мере: на учение Локка о праве и государстве уделено десять страниц (158—168), на учение о воспитании всего восемь страниц (169—176). Остальная часть книги занята изложением общих основ учения Локка и общими суждениями автора о субъективной и объективной психологии.

Внешне вся книга построена так, что говорит, собственно, не автор, а тот философ или ученый, о котором хочет говорить автор: цитаты идут сплошной вереницей на протяжении всей книги, а между ними расположены связующие сентенции и примечания автора. Особенно выпукло такой метод изложения представлен в той части книги, где автор хочет изложить взгляды физиолога Павлова. Оригинальные сентенции и примечания автора, а также и те места книги, в которых он в положительной форме излагает свои взгляды, написаны легким „наездническим“ стилем, исключающим серьезный и спокойный анализ мыслей Локка и отнюдь не способствующим их пониманию.

Интерес к объекту монографии и даже некоторая доля увлечения ее героем являются, несомненно, одним из залогов удачи монографии. Но такое увлечение своим героем не должно закрывать глаза на его предшественников, не должно нанести ущерб объективности в изучении героя монографии. Между тем, именно такое несчастье случилось с автором новейшей монографии о Локке. Д. Рахман, весьма взывающий к объективному методу исследования, предается субъективной оценке Локка, теряет историческую перспективу, забывает о предшествующем развитии хотя бы английской философии. Для него с Локка начинается история новой философии, а до Локка, якобы, царила сплошная схоластика и метафизика.

Говоря о теории врожденных идей, автор замечает: „Необходимо было разрушить все старое, чтобы воздвигнуть новое. Для всего этого нужно было ополчиться против старых консервативных теорий. Локк горячо взялся

[1]) Из оригинальной русской литературы Локку посвящена глава в „Введении в философию“ А. Деборина; из авторов немарксистов Локком занимался один В. Серебренников.

за эту работу. И это было вполне своевременно" (стр. 19). Что же, значит, Локк начинает борьбу с метафизикой и идеализмом? А где же Ф. Бэкон? где Гоббс? Нельзя же эту самую борьбу с метафизикой, против которой не всегда удачно так „ополчается" автор, начинать с Локка, а до него видеть лишь пустое место. Еще вопрос, насколько вперед подвинул Локк дело научной философии, т.-е. материализма, по сравнению с Гоббсом. На стр. 36, говоря о туманном (почему „туманном"? *И. Л.*) споре реалистов с номиналистами, автор, упомянув об Оккаме, заявляет: „но окончательно порывает в этом вопросе со схоластическими бреднями Локк". Здесь опять увлечение своим героем и забвение того, что уже было сделано до него. Разве не Гоббс, если уже говорить только об Англии, покончил с этим спором, утвердив номинализм? Или, может быть, по мнению автора, и номинализм—схоластические бредни?

Сильные места Локка, по справедливости, подчеркиваются автором, но места слабые или замалчиваются, или вовсе оставляются без внимания. На стр. 26—27 замалчивается роль локковской рефлексии, как самостоятельного источника познания. Это—одно из самых слабых мест у Локка, здесь его психологизм, его отход от эмпиризма. Однако автор не подвергает этот пункт учения Локка материалистической критике, а скользит дальше—к учению Локка о первичных и вторичных качествах. Здесь снова забыто то, что уже Галилей и Декарт прочно утвердили учение о субъективности чувственных качеств.

По вопросу о признании Локком непознаваемости субстанции у автора путаница. Непознаваемость субстанции ставится Локку в заслугу, в то время как здесь опять отход Локка от материализма. „Наша идея,—цитирует Д. Рахман Локка,—которой мы даем имя **субстанция**, есть не что иное, как **предполагаемая**, но неизвестная подпорка тех качеств, которые мы находим существующими" (стр. 35), и далее автор оставляет без малейшей критики слова Локка: „Все наши идеи различного рода субстанций суть не что иное, как собрание простых идей вместе с предположением **чего-то**, чему они принадлежат и в чем существуют, хотя мы не имеем никакой ясной и раздельной идеи этого **предполагаемого** нечто". В том-то и беда Локка, что он оказывается феноменалистом, что эта его критика понятия субстанции проложила путь не только феноменалисту Кондильяку, но и субъективному идеалисту Беркли. Где материалистическая точка зрения—у тех, кто считал субстанцию „предполагаемым и неизвестным нечто" (как Локк) или кто видел ее в объективно сущей, познаваемой, хотя и не познанной, материи (как французские материалисты)? Между тем, Д. Рахман, сочувственно замечая—„это что-то („непознаваемая" сущность вещей),—иронизирует Локк,—и есть субстанция", сам присоединяется к феноменалистической точке зрения.

Внутреннее противоречие Локка состоит в том, что он, отрицая познаваемость субстанции, сам говорит о такой „субстанции", как бог, или о материи. Д. Рахман знает это и замечает: „Несмотря на свое резкое отрицание схоластических „истин", Локк продолжает, однако, оруговать понятиями: субстанция, сущность вещей и т. п. Он все еще ищет эту пресловутую «вещь в себе» (стр. 44). Как должен понимать читатель „пресловутость" вещей в себе? У Д. Рахмана смысл таков: вещь в себе—метафизика. Но диалектический материализм не есть наивный реализм, он не отрицает вещей в себе, он лишь считает их познаваемыми. Это должно быть известным автору; или, может быть, пресловутая вещь в себе есть, с его точки зрения, тоже „пресловутое" „нечто", „предполагаемое" метафизиками-материалистами в качестве субстанции вещей, но тогда следует прямо говорить об этом.

Отнюдь не следует бояться старых терминов, в них нужно лишь вкладывать современное содержание. Онтология, как учение о сущности вещей, лежащей, якобы, по ту сторону явлений и познаваемой лишь умозрительным путем, есть, конечно, дурная метафизика, отдающая средневековьем. Но онтология, как учение об общих основах бытия, не устарела, и диалектический **материализм** не был бы материализмом, если бы отмахивался от решения основной философской, именно онтологической, дилеммы: материя—дух. Точно также космологическая проблема (необходимость—свобода, причинность—целесообразность) получает определенное решение с точки зрения диалектического материализма, а не отметается им как „схоластические бредни". Для Д. Рахмана же то или иное решение проблемы идентифицируется с самой постановкой проблемы: „Локк,—заявляет он,—как представитель восходящего класса, не мог допустить таких туманностей (опять **туманности**! Для кого? *И. Л.*), как онтология и космология" (стр. 72). Это уже определенно энчменовские нотки и с ними научному материализму не по пути.

Об энчменизме Д. Рахмана речь будет еще впереди, а сейчас необходимо отметить необычайную упрощенность социологических схем Рахмана, которая отдает той „суздальской дубоватостью", над которой в свое время потешался Г. В. Плеханов. На-лицо сложная проблема деизма Локка. У Д. Рахмана она получает такое разрешение: Локк—идеолог восходящей буржуазии. „Признавая... что бытие бога для буржуазного мира более чем необходимо, Локк прибегает к помощи „творца", который наделяет души и тела необходимыми силами, способностями и качествами. Здесь опыт, понятие отодвигается на задний план и его место занимает умозрение... Да, социальное положение обязывает. И Локк так ревностно служит своему классу, что считает бытие божие более достоверным, чем бытие всякой другой реальной вещи" (стр. 58). Социальное положение, конечно, обязывает; но почему же один идеолог восходящей буржуазии, Локк, остается деистом, а другие, Ламеттри, Гольбах и т. п., оказываются атеистами? Очевидно, что свалить деизм Локка только и просто на его „буржуазность" (это в какое же время?!) не значит объяснить его. И сентенция автора: „вот как рационализирует Локк во славу божию и в угоду своему классу" ни в чем не поможет его „обоснованию".

Д. Рахман находит у Локка увлечение математическим методом. Пусть так! Каково же „социологическое обоснование"? Оно все то же: Локк—идеолог восходящей буржуазии; буржуазия, ясное дело, торгует, ей нужно знать математику, чтобы считать, ну, ясно же, что Локк не мог не увлекаться математическим методом! „Его (Локка) образец,—говорит Д. Рахман,—математика. Или, **проще говоря**, его идеал—расчетливый купец. И именно с этой точки зрения Локк ценил математику" (стр. 66). А почему другой идеолог восходящей буржуазии, Дидро, как раз наоборот, математики не ценил? Ведь и во Франции купцам нужно было быть расчетливыми? Это уже не важно Д. Рахману, ибо, ведь, книга написана о Локке, а не о ком другом.

Локк не был диалектиком. Почему? Ну, ясно же почему, ведь Локк был представителем интересов буржуазии! Опять буржуазия все объяснила Рахману. Он так и пишет: „Ясно, что Локку, типичному выразителю интересов буржуазии, органически был чужд диалектический метод" (стр. 85). Совсем не ясно! А почему во Франции „типичные выразители интересов буржуазии" доходили до элементов диалектики (Робинэ, Дидро, Дом Дешан)? А почему Гегель дал теорию диалектики? Он, может быть, был „типичным выразителем интересов пролетариата"? Не так все это просто, как кажется автору книги о Локке. Немного бы больше диалектики, и тогда можно было бы избежать таких суздальских топорных постановок вопроса. При изучении того или иного мыслителя нужно обращать внимание не только на **общее**, что, конечно, прежде всего определяет мыслителя, но и на **особенное** и **единичное**, в которых это общее преломляется.

Автор любит рубить с плеча и по стилю, и по содержанию. Он, говоря его же словами, ополчился против субъективного метода в психологии, против самонаблюдения, и пошел рубить с плеча. Допустили мы метод интроспекции,—значит мы уже идеалисты; допустили мы самонаблюдение,—ясно, что мы уже пришли к богу. „Достаточно допустить,—говорит автор,—метод самонаблюдения, довериться интроспекции, чтобы невольно прийти к явному идеализму“ (стр. 47). Отрицает ли марксизм метод самонаблюдения? Конечно, нет, не отрицает, он считает его подчиненным объективному методу, но отнюдь не отбрасывает его. Это хорошо выяснила и Л. И. Аксельрод в предисловии к рецензируемой книге. Мир вовсе не сводится к миру объектов. Автор забыл, что материалистическая диалектика учит не только об единстве субъекта и объекта, но и о различии их. Человека следует изучать не только как объекта, но и как субъекта, и, как будет угодно автору, но абсолютно ненаучно его утверждение, что „наука, именуемая психологией,—фактически не имеет предмета изучения“, что она—лишь „одна мистификация“. Конечно, предмет научной психологии—не душа, как некая субстанция, но внутренний мир человека, как субъекта, реагирующего и определяемого внешним миром. Автор забыл о социальной психологии, или он, быть может, хочет ее заменить коллективной рефлексологией? Стремясь к „простоте“, автор хочет быть более монистичным, чем сама действительность. „Всякое учение,—говорит он,—говорящее об одних законах, управляющих мертвой природой, и о других, регулирующих жизнь растений и животных, и, наконец, о третьих законах, которые занимаются исключительно человеком,—это иморалистическое учение должно быть отброшено, как явно антинаучное“ (стр. 112). Да, законы мира одни, но обнаружение их различное. Д. Рахману стоило бы поучиться у старого диалектика Гегеля, иначе он за категорией единства забыл категорию различия. Законы одни, но биологические законы при перенесении их в мир общественных явлений требуют поправок, иначе автору придется стать на буржуазную точку зрения социального дарвинизма. Впрочем, он сам на стр. 142 аннулирует сказанное им на стр. 112 и таким образом переходит к „плюрализму“! Такой переход встречается с автором не раз. На стр. 55 Локк оказывается скептиком, а на стр. 69 он же борется со скептиками.

Мы видели, что Д. Рахман устами Локка и своими собственными отрицает существование онтологии („никакого решения онтологической проблемы нет и быть не может“, стр. 71,—вот это научный материализм! *И. Л.*), космологии и психологии. На стр. 71 он считает „без сомнения, большим шагом вперед“ со стороны Локка то, что в его классификации наук нет места философии. У самого Д. Рахмана место философии (мы не спорим о словах) не занимается, скажем, диалектикой. Но зато все и вся наполняет рефлексология, теория Павлова. На одни цитаты из Павлова у автора книги о Локке уходит под-ряд 22 страницы. И все без малейшей критики. Енчменизм вышел из неправильно понятой и некритически принятой теории Павлова. К этому близок и Д. Рахман с его отрицанием философии. Биологизм и физиологизм заполняют место многого из того, что ему „неподведомственно“.

По словам Д. Рахмана, только у Павлова „наконец материализм восторжествовал“. Надо думать, что Маркс не дошел до торжества материализма? Или у Маркса был диалектический материализм, а у Д. Рахмана вульгарный? При изучении человека „надо применять такой же метод, как и „ко всей остальной природе“, ибо человек „ничем существенным от природы, его окружающей, не отличается“. Значит, человека можно изучать так же, как камень, дерево, животное? Или Д. Рахман забыл о специфических социальных связях? Выбросил человека из общества? Но тогда он уничтожил самое общество с его классами, уничтожил самого человека.

Д. Рахман без малейшей критики пересказывает Павлова с его прирожденными рефлексами свободы, цели, рабской покорности. Чем же этот прирожденный рефлекс рабской покорности лучше врожденной идеи Декарта или врожденного инстинкта собственности у Челпанова. А может быть, у большевиков был и есть прирожденный рефлекс революционной цели (ведь у нас уже договаривались до этого!)? Или может быть все дело в том, чтобы у буржуа вызвать условный рефлекс революционной цели—и тогда дело коммунизма обеспечено? Это ли не возрожденная енчменада? Рахман сознается, что „перенести метод (объективный, столь выдвигаемый и единственно признаваемый автором) Павлова на такое социальное существо, как на человека,—вещь очень трудная“, но этой „трудностью“ и исчерпывается вся критика Д. Рахмана. А этого мало!

Д. Рахман „ополчается“ на такие понятия, как чувства, воля, восприятие и т. п. Все это ненаучно, можно и должно говорить только о рефлексах. Посмотрим же, как он применяет на практике изгнание субъективного метода самонаблюдения. В биографических главах книги мы узнаем о симпатиях маленького Локка к революции, о том, что ему была не по нутру диктатура (стр. 153), о том, что ему не нравилась гражданская война и т. д., и т. п., словом, мы видим, что автор широко применяет метод самонаблюдения, ибо каким же иным способом, как не интроспекцией, мог он добыть эти данные.

Резюмируем в нескольких словах наши выводы. Книга Д. Рахмана о Локке не обогащает соответственной литературы; она легковесна и поверхностна по своему содержанию; трактуя о теории Павлова, она не дает необходимой критики его, а местами обнаруживает такие положения, под которыми охотно бы подписался творец „теории новой биологии“ Э. Енчмен.

И. Л—л.

Макс Адлер. Энгельс, как мыслитель Перев. с немецкого С. И. Цедербаум. С предисловием проф. М. Б. Серебрякова. „Книга“. 1924 г. Стр. 102.

Перевод и этой работы М. Адлера ничего не прибавляет к нашей марксистской литературе. Разбирать подробно все отступления М. Адлера и скучно, да и вряд ли имеет смысл. Часть их разобрана в предисловии М. Б. Серебрякова. Мы остановимся поэтому лишь на одной главе книги—главе, посвященной диалектике. Ее по справедливости можно назвать вертепом нелепостей.

М. Адлер одинаково отрицательно относится к обоим основным началам философии Маркса и Энгельса, хотя хочет быть марксистом,—и к материализму, и к диалектике. Начнем с диалектики, к которой венский философ еще чувствует как бы некое смутное влечение.

Что это влечение, однако, совершенно бесплодно, и не в состоянии породить ничего хорошего, свидетельствуется из первой же попытки М. Адлера показать применение диалектики в современной науке:

„Если современное естествознание, оставляя за собою спор сторонников атомистической теории и энергетической теории, идет к тому, чтобы вместо этих последних остатков метафизического мышления поставить лишь констатирование определенных, выражаемых математически отношений явлений между собою, т.-е. к тому, чтобы понимать их лишь в их закономерных функциях, то Энгельс в этом усмотрел бы с полным правом торжество диалектики в том смысле, в каком преобразовали ее он сам и Маркс в орудие научного мышления“ (стр. 83).

Написать это—значит ничего не понимать в том действительном значении, которое диалектика имеет в марксизме. В чем здесь дело, легко видеть из дальнейшего развития мысли М. Адлера:

„Как далеко, впрочем, сам Энгельс продвинулся на этом пути, доказывает вообще его замечательное письмо к Марксу от 30 мая 1873 года, основная мысль которого очень близка к основной идее современного естествознания, сводящей все тела, предметы в природе к количественно выраженным взаимным отношениям явлений, в которых уже вообще нет места для субстанции" (стр. 83).

И в подтверждение своей точки зрения наш злополучный автор приводит следующую цитату из энгельсовского (с Шорлеммером) письма Марксу: „Сегодня утром,—пишет Энгельс,—мне пришло в голову следующее диалектическое построение по поводу естественных наук: предмет естественной науки—движущаяся материя, тела. Тела нельзя отделить от движения. О телах ничего нельзя сказать, не касаясь движений, не касаясь различных отношений к другим телам. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно из себя представляет. Естествознание, таким образом, познает тела, рассматривая их в их соотношении друг к другу, в движении. Познание различных форм движениями есть познание тел" (стр. 84).

Выводить из этой цитаты, что Энгельс сводил задачу естествознания к установлению определенных математических функций—значит не быть органически в состоянии понять Энгельса, так как в данном случае Энгельс совсем не противопоставляет субстанцию отношениям, тела—явлениям и их отношениям, а, наоборот, диалектически их рассматривает. Тело обнаруживает себя в движении и соотношении с другими телами, и в изучении отношений между движущимися телами познаются сами эти тела. То есть субстанциональный момент не устраняется, а, наоборот, диалектически утверждается. Само собой разумеется, что это вполне согласуется естествознанием, имеющим дело с реальными вещами, а не с математическими функциями, имеющими лишь служебное значение в познании этих реальных вещей, движущейся материи.

Не лучше, чем с диалектикой, обстоит дело и с материализмом Энгельса под пером М. Адлера.

Понимая, что диалектика у Маркса и Энгельса—„не представляет собой готовой философской схемы", привносимой извне к вещам нашим мышлением, а „самоосвещением действительности", М. Адлер самую действительность объявляет „естественным процессом в человеческом мышлении" (85). Получается нечто вроде какой-либо из фантастических картин тысяча и одной ночи: применяемый нашим мышлением диалектический метод есть отражение действительности, развивающейся в нашем же мышлении! И эта фантасмагория не сводящего концы с концами кантианца выдается за марксизм!

Естественно после этого, что для М. Адлера Энгельс стоит в области теории познания „на метафизической почве, а именно на почве наивного реализма" (80), так как он не понимает, что можно быть материалистом, признавать объективно вне нас существующий „нами познаваемый" мир, и не быть наивным реалистом. Для него альфа и омега в философии Кант—величайший из всех революционеров. Он не видит рядом с революционной—реакционную сторону в кантовском учении, одной рукой устраняющем бога из сферы чистого разума, а другой—подготовляющем место вере.

Наоборот, в отношении Гегеля, он присоединяется к глупейшему замечанию Германа Когена, что, „пожалуй, ничто в домартовскую эпоху не содействовало так презрительному отношению к философии, как реакционные слова Гегеля: действительность разумна и разумное действительно" (стр. 31).

Нам нет нужды напоминать читателю о великом революционном значении этой формулы Гегеля, именно в период перед революцией 1848 г. поставившей недосягаемый для буржуазной философии идеал—найти силы для своего осуществления в жизни.

М. Адлер заявляет, в пику всем, стремящимся видеть в Энгельсе того, кем он был на самом деле—материалиста, что Энгельс никогда не рассматривает мышление, как продукт мозга. „Нигде Энгельс не делает своим этот слабый пункт материализма" (88).

Но все это рассуждение—совершеннейшая чепуха. Словно в насмешку над горе-философом в „Анти-Дюринге" Энгельс буквально говорит, что „мышление и сознание суть продукты человеческого мозга". Невежество—не есть аргумент.

И в другом месте наш несчастный автор стремится обосновать тот же тезис о нематериализме Маркса и Энгельса цитатой из Энгельса о том, что диалектический материализм „вообще уже не является философией, но просто мировоззрением, которое ищет доказательств и проявляется в реальных науках" (стр. 89).

Он не понимает, что сами реальные науки могут быть материалистичны и диалектичны, а мировоззрение диалектического материализма—их методом.

Если первая часть книги М. Адлера и представляет еще кое-какую ценность—изложение духовной эволюции Энгельса (да и то недостаточное с точки зрения марксизма), то вторая часть ничего не может дать для изучающего подлинных Маркса и Энгельса.

Она только лишнее свидетельство тому, что современная социал-демократия переживает не только кризис, но и увядание.

Н. К.

Ф. В Астон. Изотопы. „Современные проблемы естествознания". Кн. 14. 161 стр. Москва. 1923 г.

Новые идеи в химии. Сборник № 9. Изотопы. 120 стр. Издание „Образование". Ленинград 1924 г.

Открытие изотопов, за которое Астон получил в 1922 году Нобелевскую премию, является поразительным даже в наше время, столь богатое поразительными открытиями. Открытие Астона оформляет наши взгляды на материю, позволяя мысленно проникнуть в ядро атома, о котором до тех пор было известно очень мало.

В 1803 г. Дальтон высказал свою теорию атомов. Эта теория целиком была принята учеными и вошла в науку, как основа наших знаний о строении вещества. Только в одном пункте новое время внесло в нее поправку. Дальтон говорил, что атомы одного элемента все подобны между собой и обладают одинаковым весом. Астон доказал, что атомы какого-либо элемента хотя и подобны, но могут обладать различным весом.

Через десять лет после появления теории Дальтона Проут предположил, что атомы всех элементов образованы из атомов водорода. Отсюда следовало, что атомные веса всех элементов должны выражаться целыми числами. Но химики рядом точных измерений выяснили, что это совершенно не соответствует действительности, и что атомные веса многих элементов выражаются дробными числами. Таким образом теория Проута была отброшена. Ученые рассуждали так: каждый из элементов образован из атомов одинакового веса; следовательно, у некоторых элементов веса отдельных атомов должны быть дробными. Но есть и другая возможность, на которую указал Астон: элементы так образованы из смеси атомов различных весов, что хотя индивидуальные веса отдельных атомов—всегда числа целые, их среднее оказывается дробным. Почему же такая мысль не приходила в голову ученым, отбросившим теорию Проута? Было трудно допустить, что атомы ведут себя одинаковым образом, имея различные веса; ученые были уверены, что атомы с различным весом должны легко разделяться, напр., посредством диффузии и т. под. процессов. Теперь мы знаем, что это не так, теперь мы знаем,

какая трудная задача отделить, например, атомы неона с весом 20,0 от атомов с весом в 22,0, т.-е. даже при разнице в 10%. Кроме того, до последнего времени невозможно было экспериментально установить неоднородность атомов какого-либо элемента. Это стало возможным только посредством „способа парабол" Дж.-Дж. Томсона, т.-е. посредством метода отклонения положительных лучей или летящих наэлектризованных атомов в электрическом и магнитном поле.

С явлением изотопии встретились впервые в области радиоактивных явлений. Содди высказал революционную мысль, что могут существовать элементы химически тождественные, однако различные по радиоактивным свойствам и по атомному весу. Так, например, химически тождественными оказались ионий, торий и радиоторий; радий и мезоторий I; свинец и радий Д. Такие элементы по почину Содди были названы изотопами. Дальнейшее достижение установило тождество спектров изотопов, и таким образом было доказано, что изотопы идентичны во всех физических и химических свойствах и различаются только атомным весом и радиоактивными свойствами.

Астон открыл нерадиоактивные изотопы, доказав таким образом, что значение изотопии универсально, а не связано только с радиоактивными веществами. Исследование нерадиоактивных изотопов стало возможным вследствие усовершенствования Астоном метода анализа положительных лучей. Астон построил спектограф, позволяющий сводить в один фокус летящие положительные частицы с одинаковой массой и дающий „масс-спектры" атомов. Периодическая таблица химических элементов содержит как элементы, атомный вес которых выражен целым числом, так и элементы с дробным атомным весом. Астон выяснил, какое значение имеет эта смесь целых и дробных чисел. Его исследование масс-спектров привело к тому замечательному результату, что элементы с целым числом, выражающим атомный вес, не имеют изотопов, а элементы с дробным атомным весом разлагаются на изотопы с целыми числами атомных весов. Таким образом Астон показал, что атомный вес элемента—не то же самое, что вес атома, и что последний во всех случаях выражается числом целым. Это дает возможность соединить теорию Дальтона с теорией Проута и признать, что атомы всех элементов действительно составлены из атомов водорода. Но вес атома водорода выражается не целым числом, а дробным! По этому поводу Астон высказывает ряд интересных соображений. Масса положительного электрона или протона и масса отрицательного электрона зависят, как это следует из классической электродинамики, также от взаимного расстояния между ними и уменьшаются с уменьшением этого расстояния. Но в ядре сложных атомов протоны и электроны „упакованы" настолько тесно, что аддитивный закон масс не имеет места, и масса ядра должна быть меньше, чем сумма масс составляющих его зарядов.

Ядро водорода состоит из одного свободного протона; его планетарный электрон слишком удален от ядра, чтобы вызвать уменьшение массы; поэтому ясно, что масса атома водорода должна быть больше, чем четверть массы атома гелия или чем шестнадцатая массы атома кислорода. При образовании молекулы H_2 и H_3 из H (молекулы H_3 открыты Дж.-Дж. Томсоном по способу парабол) имеет место аддитивность массы. При образовании же атома гелия, т.-е. при тесном соединении четырех протонов с двумя электронами потеря равна приблизительно 0,7% всей массы.

Объяснение явлений изотопии заключается в теории ядрового атома. Ядро атома содержит α-частицы и β-частицы.

α частица несет два положительных заряда и имеет массу в 4 единицы. Вылетая из ядра, она уменьшает, следовательно, массу атома на 4 единицы и заряд на 2. При вылете из ядра электрона (β-частицы) положительный заряд ядра должен увеличиться на единицу. В 1913 г. Содди и Фаянс дали закон, связывающий элементы с определенными клетками Мен-

делеевской системы; согласно этому закону, вылет α-частицы сопровождается образованием нового атома, отвечающего клетке с номером на 2 единицы меньше, чем у исходного элемента, а вылет β-частицы дает элемент с номером, на единицу бо́льшим. Отсюда следует, что всякий элемент, являющийся результатом ряда изменений, заключающегося в потере вдвое большего числа частиц β, чем частиц α, должен быть изотопом по отношении к исходному элементу и должен занять прежнее место в периодической таблице.

Книга Астона содержит историю и теорию изотопов, а также описание экспериментальных работ.

Сборник № 9 „Новых идей в химии" представляет хорошее дополнение к книге Астона, так как содержит, кроме перевода двух работ Астона, перевод работ Демпстера, Бренстеда, Хевеши и др., относящиеся к анализу положительных лучей различных элементов или же к способам разделения изотопов.

Имеет значение также статья С. А. Щукарева в сборнике, подходящая к изотопии с теоретической точки зрения. Две указанные книги — единственное, что мы имеем на русском языке об изотопах, если не считать отдельных журнальных статей.

И. Орлов.

В. Лебединский. Вильям Томсон—лорд Кельвин. Ленинград 1924 г.

Умерший 30 декабря 1691 года знаменитый химик Роберт Бойль завещал сумму в 50 фунт. стерлингов ежегодно для уплаты теологу или проповеднику, который произнесет 8 проповедей в год в „защиту христианской религии против заведомо неверных, именно: атеистов, деистов, язычников, евреев и магометан". За это почтенное дело взялся молодой, но талантливый Ричард Бентли, который 7 марта 1692 г. приступил к так называемым „Лекциям Бойля" на тему: „Опровержение атеизма". В вступительном слове Бентли впервые формулировал новый метод борьбы с наукой. „Священные книги,—сказал Бентли,—не годятся для опровержения атеизма. Эти книги не пользуются ведь авторитетом у атеистов. Но есть другие книги, свидетельство которых они должны будут признать более повелительными и необходимыми, именно мощные томы самой видимой природы и вечные таблицы здорового разума, в которых они, если только намеренно не захотят закрыть глаза, смогут прочесть свою собственную глупость, написанную божьим пальцем более ясно и грозно, нежели глупость Валтазара, написанную рукой на стене".

Бентли построил поэтому свое „Опровержение атеизма" на „Математических началах" Ньютона, смысл и текст которых был под его давлением искажен во втором издании 1713 г. В это же время выступил епископ Беркли („Теория зрения" и др. соч.), который систематически уже обосновал борьбу с наукой на почве самой науки.

С тех пор бесчисленное количество ученых, так или иначе связанных с интересами господствующих классов, всегда почитали своим священным долгом вкрапливать некоторые дозы идеалистической соли в свои научные труды. Конечно, это было только „слово", „философия", которая совершенно не касалась самой творческой научной работы. Можно указать случаи, когда в популярных работах ученый высказывал одни взгляды, а в научных, противоположные [1]).

---

[1]) Напр., Г. Ми. В популярной работе об эфире, он, подлаживаясь к господствующим взглядам, внушает читателю скепсис. В научных же работах он определенно стоит на точке зрения эфира.

В. Лебединский—известный специалист по радиотехнике. Его стихия, это—бесконечная стихия эфира, волновое движение, которое он изучает в теории и практике. Казалось бы, что, имея такое непосредственное соприкосновение с эфиром, трудно усомниться в его действительном существовании. Но Лебединский, выйдя из лаборатории после дневных трудов, решает отдохнуть, занявшись приятными философскими размышлениями. Он преподносит их нам в форме биографии Кельвина-Томсона. Памятуя, очевидно, изречение великого Декарта о том, что сомнение—начало всякой философии, Лебединский впадает в состояние скепсиса, касательно природы, свойств и существования эфира, которые, без сомнения, известны ему гораздо лучше собственного тела. Но ведь cogito ergo sum, это—принцип подлинной философии, и Лебединский, философ, совершенно не смущаясь, иронизирует над попытками Томсона создать себе представление об эфире. В. Томсон как-то сказал, что если мы что-либо знаем о природе вещей, то это знание обнимает в первую очередь эфир, эфир—это то, что мы знаем достовернее всего. Но Лебединскому - философу очень смешным кажется, что эфир может быть похож на „сапожный вар шотландского башмачника". Правда, Лебединскому известно, что ноттингемский башмачник Грин придумал в 1828 г. („Опыт приложения математического анализа к теории электричества и магнетизма") так называемую формулу Грина, которой не брезгуют при изучении электромагнетизма и гидродинамики самые почтенные идеалисты. Но сапожный вар в роли эфира—это недопустимо, это грязный материализм. Лучше совсем уничтожить эфир, нежели допустить, чтобы он был похож на столь низкое тело природы, обладающее столь ничтожной духовностью. И Лебединский радостно пишет (стр. 32) о том, что Томсону не удалось дать „механического объяснения физического мира". „Если мы вспомним,—говорит Лебединский,—что никто не понимал так хорошо, как В. Томсон, того, что нужно было объяснить, и того, чем нужно было объяснить; и если мы видим, что он не смог этого сделать, то мы должны сказать, что это объяснение невозможно. XIX век закончился. Наступила эпоха нового направления мысли, которая через 10 лет начала выражаться в миропонимании Эйнштейна".

В этой фразе имеется описка: не XIX век закончился, а LXXIX, так как мир ведь был создан за 60 веков до нашей эры. Тогда именно гениальный Томсон был снабжен своими априорными формами мышления, которые, по существу, ведь не могут свести мир к механике. Впрочем, теория преформации подает нам надежду, что в яичнике праматери Евы заключался гений, который явится лишь через 1.000 лет, и ум которого будет находиться в таком же отношении к уму Томсона, в каковом сила мысли сапожника Грина находилась к силе мысли сапожного вара.

В. Лебединскому очень нравится Ньютоновская „Натуральная философия". Ее сущность в математических соображениях, органически заключенных „между двумя опытными фактами". „Высшей формулой ее применения являются: 1) точнейшее исследование стационарного процесса в лаборатории, 2) анализ его сложной формы, 3) технический результат" (стр. 9).

Но почему попытка построить механическую картину физического мира это не Ньютоновская натуральная философия? Если взять подлинную (а не фальсифицированную Бентли - Котсом) „натуральную философию" великого британца, то не трудно убедиться, что она построена на методе, прямо противоположном методу позитивизма. Ньютон исходил из атомистической концепции, а разве атомизм не есть механическая картина физического мира? Именно на основании понятия атома Ньютон построил свою механику, которую приложил к изучению „Системы мира". Правда, между атомами Ньютона имеются силы взаимодействия, но подлинный Ньютон полагал, что они обусловлены spiritus'ом (эфиром), заполняющим реальное пространство, как чувствилище бога. Если же Ньютон ограничился формальным законом тяжести, то только потому, что понимал невозможность сразу вырвать у природы все ее тайны; но длительные попытки вывести на основании гипотезы Декарта механизм тяготения показывают, что Ньютон не считал такую задачу бессмысленной: Ньютон неоднократно в самих „Началах" подчеркивает механическую природу тяготения. В. Лебединский радостно приветствует „новое" мировоззрение: принцип относительности, теорию квант. Если обратиться к истории, то это „новое мировоззрение" (в идеалистической интерпретации) имеет очень и очень почтенный возраст. Его можно найти в трудах Лейбница, Беркли, Юма, отчасти Канта; оно восходит к философии пифагорейцев. Что касается принципа относительности в его материалистическом, т.-е. физическом смысле, то он был формулирован еще Декартом. Физический же смысл принципа квант указан еще Ньютоном в 31 вопросе Оптики: отметив возможность многое объяснить как при помощи теории истечения, так и при помощи учения о волнах, Ньютон все же заключает: свет—не то и не другое, а некое особое „перипатетическое качество", с большой быстротой движущееся в пространстве. Ньютон прибавляет: природа содержит в себе также тайны, которые человек не может пока себе представить даже приблизительно. Этот великий диалектик очень глубоко понимал истинное движение нашего познания и, как физик, видел, что проблема света не столь проста, как это казалось его современникам, ожесточенно споривших по вопросу: или волновая теория, или теория истечения.

Брошюра В. Лебединского написана блестяще. Жаль поэтому, что автор не сумел стать на более объективную точку зрения в затронутых вопросах.

З. Ц.

Проф. Я. И. Френкель. Теория относительности. Издательство „Мысль". Ленинград 1923 г.

Относительно книга Я. И. Френкеля—одно из лучших „непопулярных" пособий по теории относительности.

Френкель излагает предмет с максимально возможной простотой и ясностью (хотя и формально) без общеизвестного „ученого чванства" и жреческой манеры облекать в таинственные покрывала самые простые по существу понятия. Так, основное понятие тензора, которое обычно служит орудием мистификации и устрашения непосвященных, сначала объясняется Френкелем в простой геометрической интерпретации, а затем лишь показывается физический смысл этого понятия. Большим достоинством работы является и то, что она в довольно подробной форме (54 стр.) дает необходимые вводные понятия классической механики и электромеханики; без уяснения основ этих дисциплин невозможно уяснить себе существо теории относительности. Этой теории посвящены остальные 250 страниц книги, при чем в специальной теории большое место уделено интерпретации Минковского, придающей „наглядно - геометрический" смысл „сверхпространству" релятивизма. Так как в „общей теории" это сверхпространство превратилось в релятивистский „кривой" эфир, то такой способ изложения (являющийся по существу историческим) придает учению относительности вид единой системы, что является не совсем правильным или совсем неправильным (с исторической точки зрения), несмотря на авторитет Эйнштейна, защищающий такое единство.

В этом пункте, как и в ряде других, очень ясно обнаруживается бесплодное в конце концов стремление современных классовых катехизаторов науки сочетать принципы идеализма с неумолимыми материалистическими выводами, которые получаются в итоге научного движения. Специальная теория Эйнштейна—Минковского, это—схоластико-идеалистическая интерпретация физической относительности, которая обнаружилась в теории Лоренца. Схоластицизм, т.-е.

В. Лебединский—известный специалист по радиотехнике. Его стихия, это—бесконечная стихия эфира, волновое движение, которое он изучает в теории и практике. Казалось бы, что, имея такое непосредственное соприкосновение с эфиром, трудно усомниться в его действительном существовании. Но Лебединский, выйдя из лаборатории после дневных трудов, решает отдохнуть, занявшись приятными философскими размышлениями. Он преподносит их нам в форме биографии Кельвина-Томсона. Памятуя, очевидно, изречение великого Декарта о том, что сомнение—начало всякой философии, Лебединский впадает в состоянии скепсиса, касательно природы, свойств и существования эфира, которые, без сомнения, известны ему гораздо лучше собственного тела. Но ведь cogito ergo sum, это—принцип подлинной философии, и Лебединский, философ, совершенно не смущаясь, иронизирует над попытками Томсона создать себе представление об эфире. В. Томсон как-то сказал, что если мы что-либо знаем о природе вещей, то это знание обнимает в первую очередь эфир, эфир—это то, что мы знаем достовернее всего. Но Лебединскому - философу очень смешным кажется, что эфир может быть похож на „сапожный вар шотландского башмачника". Правда, Лебединскому известно, что ноттингемский башмачник Грин придумал в 1828 г. („Опыт приложения математического анализа к теории электричества и магнетизма") так называемую формулу Грина, которой не брезгуют при изучении электромагнетизма и гидродинамики самые почтенные идеалисты. Но сапожный вар в роли эфира—это недопустимо, это грязный материализм. Лучше, совсем уничтожить эфир, нежели допустить, чтобы он был похож на столь низкое тело природы, обладающее столь ничтожной духовностью. И Лебединский радостно пишет (стр. 32) о том, что Томсону не удалось дать „механического объяснения физического мира". „Если мы вспомним,—говорит Лебединский,—что никто не понимал так хорошо, как В. Томсон, того, что нужно было объяснить, и того, чем нужно было объяснить; и если мы видим, что он не смог этого сделать, то мы должны сказать, что это объяснение невозможно. XIX век закончился. Наступила эпоха нового направления мысли, которая через 10 лет начала выражаться в миропонимании Эйнштейна".

В этой фразе имеется описка: не XIX век закончился, а LXXIX, так как мир ведь был создан за 60 веков до нашей эры. Тогда именно гениальный Томсон был снабжен своими априорными формами мышления, которые, по существу, ведь не могут свести мир к механике. Впрочем, теория преформации подает нам надежду, что в яичнике праматери Евы заключался гений, который явится лишь через 1.000 лет, и ум которого будет находиться в таком же отношении к уму Томсона, в каковом сила мысли сапожника Грина находилась к силе мысли сапожного вара.

В. Лебединскому очень нравится Ньютоновская „Натуральная философия". Ее сущность в математических соображениях, органически заключенных „между двумя опытными фактами". „Высшей формулой ее применения являются: 1) точнейшее исследование стационарного процесса в лаборатории, 2) анализ его сложной формы, 3) технический результат" (стр. 9).

Но почему попытка построить механическую картину физического мира это не Ньютоновская натуральная философия? Если взять подлинную (а не фальсифицированную Бентли - Котсом) „натуральную философию" великого британца, то не трудно убедиться, что она построена на методе, прямо противоположном методу позитивизма. Ньютон исходил из атомистической концепции, а разве атомизм не есть механическая картина физического мира? Именно на основании понятия атома Ньютон построил свою механику, которую приложил к изучению „Системы мира". Правда, между атомами Ньютона имеются силы взаимодействия, но подлинный Ньютон полагал, что они обусловлены spiritus'ом (эфиром), заполняющим реальное пространство, как чувствилище бога. Если же Ньютон ограничился формальным законом тяжести, то только потому, что понимал невозможность сразу вырвать у природы все ее тайны; но длительные попытки вывести на основании гипотезы Декарта механизм тяготения показывают, что Ньютон не считал такую задачу бессмысленной: Ньютон неоднократно в самих „Началах" подчеркивает механическую природу тяготения. В. Лебединский радостно приветствует „новое" мировоззрение: принцип относительности, теорию квант. Если обратиться к истории, то это „новое мировоззрение" (в идеалистической интерпретации) имеет очень и очень почтенный возраст. Его можно найти в трудах Лейбница, Беркли, Юма, отчасти Канта; оно восходит к философии пифагорейцев. Что касается принципа относительности в его материалистическом, т.-е. физическом смысле, то он был формулирован еще Декартом. Физический же смысл принципа квант указан еще Ньютоном в 31 вопросе Оптики: отметив возможность многое объяснить как при помощи теории истечения, так и при помощи учения о волнах, Ньютон все же заключает: свет—не то и не другое, а некое особое „перипатетическое качество", с большой быстротой движущееся в пространстве. Ньютон прибавляет: природа содержит в себе также тайны, которые человек не может пока себе представить даже приблизительно. Этот великий диалектик очень глубоко понимал истинное движение нашего познания и, как физик, видел, что проблема света не столь проста, как это казалось его современникам, ожесточенно споривших по вопросу: или волновая теория, или теория истечения.

Брошюра В. Лебединского написана блестяще. Жаль поэтому, что автор не сумел стать на более объективную точку зрения в затронутых вопросах.

З. Ц.

Проф. Я. И. Френкель. Теория относительности. Издательство „Мысль". Ленинград 1923 г.

Относительно книга Я. И. Френкеля—одно из лучших „непопулярных" пособий по теории относительности.

Френкель излагает предмет с максимально возможной простотой и ясностью (хотя и формально) без общеизвестного „ученого чванства" и жреческой манеры облекать в таинственные покрывала самые простые по существу понятия. Так, основное понятие тензора, которое обычно служит орудием мистификации и устрашения непосвященных, сначала объясняется Френкелем в простой геометрической интерпретации, а затем лишь показывается физический смысл этого понятия. Большим достоинством работы является и то, что она в довольно подробной форме (54 стр.) дает необходимые вводные понятия классической механики и электромеханики; без уяснения основ этих дисциплин невозможно уяснить себе существо теории относительности. Этой теории посвящены остальные 250 страниц книги, при чем в специальной теории большое место уделено интерпретации Минковского, придающей „наглядно - геометрический" смысл „сверхпространству" релятивизма. Так как в „общей теории" это сверхпространство превратилось в релятивистский „кривой" эфир, то такой способ изложения (являющийся по существу исторический) придает учению относительности вид единой системы, что является не совсем правильным или совсем неправильным (с исторической точки зрения), несмотря на авторитет Эйнштейна, защищающий такое единство.

В этом пункте, как и в ряде других, очень ясно обнаруживается бесплодное в конце концов стремление современных классовых катехизаторов науки сочетать принципы идеализма с неумолимыми материалистическими выводами, которые получаются в итоге научного движения. Специальная теория Эйнштейна—Минковского, это—схоластико-идеалистическая интерпретация физической относительности, которая обнаружилась в теории Лоренца. Схоластицизм, т.-е.

произвольное и насильственное приспособление факта к идеологии, очень хорошо виден в важнейшем § 16: „Основные преобразования теории относительности и их физический смысл“ (стр. 114). На основании принципа относительности движения (в ложной интерпретации) Френкель дает по способу Минковского общее выражение для трансформаций:

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon - v\tau}{\sqrt{1+\frac{v^2}{k^2}}}, \qquad \tau' = \frac{\tau' + \frac{\varepsilon v}{k^2}}{\sqrt{1+\frac{v^2}{k^2}}}$$

k^2 является совершенно произвольной величиной; теория относительности без всяких „логических“ оснований пишет: $k^2 = -c^2$.

Если ссылаться на опыт, то это будет учение Лоренца, но, ведь, сущность учения Эйнштейна — Минковского в „логическом преобразовании понятий“. Спрашивается, на основании какой логики $k^2 = -c^2$. Более того, абсурдность всего метода специальной теории обнаруживается, если буквально повторить логическую цепь учения при $k =$ скорости звука. Получаются заключения, совершенно абсурдные с точки зрения действительности. И спрашивается, что логически немыслимого заключается в представлении среды, обладающей по отношению к свету такими же свойствами, какие имеет воздух по отношению к звуку?

Ясно, что „логическое обоснование“ теории относительности на основании преобразования понятий не выдерживает никакой критики, и только в наше время упадка буржуазного общества подобного рода софизм мог иметь успех.

Общая же теория относительности представляет собою, в сущности говоря, своеобразную форму изучения полей тяготения на основании закона равенства тяжелой и инертной массы, т.-е. тождества „сил“ тяготения и сил инерции. Фактически она решает давно поставленную проблему „механизма“ тяготения, хотя решение это в общем формально. Но принцип, положенный в основу—сведение „сил тяготения“ к ускоренному движению—с полной очевидностью обнаруживает „механичность“ общей теории. Френкель, между прочим, дает оригинальный вывод основного уравнения общей теории, выражающего тождество инерциального импульса работы с импульсом работы тяготения (стр. 223). Но он рассматривает это тождество с абсолютной точки зрения, т.-е. отрицает за движением всякую реальность. Это, конечно, приводит к необычайной сложности. Чтобы найти выход из такого положения, сторонники „абсолютной относительности“, в том числе и Френкель, прибегают к довольно удивительной аргументации: „Совершенно очевидно, что с принципиальной точки зрения безразлично, считать ли звезды неподвижными, а земному шару приписывать вращательное движение вокруг оси неизменного направления, или, наоборот, считать землю неподвижной, а звезды—вращающимися вокруг нее.

Обе точки зрения одинаково правильны, но первая имеет перед второй то неотъемлемое преимущество, что она является несравненно более простой, как физически, так и математически“ (стр. 227).

Удивительное утверждение! „Равноправие“—и вместе с тем „неотъемлемое преимущество“. Трудно поверить, чтобы Френкелю и другим ученым мужам не пришел в голову вопрос о причине этой „простоты“. Впрочем, Френкель ссылается на пресловутую „экономию мышления“, т.-е. на чисто идеалистический принцип мышления. Эту же „экономию мышления“ мы находим в других местах. На стр. 122 Френкель глубокомысленно заявляет: если наша мысль отказывается примириться с относительностью (вариантностью) длительности, то лишь в силу глубоко укоренившейся привычки, не имеющей под собою, в сущности говоря, никакого „реального основания“. Здесь перед нами не только поразительная философия, но и необычайная логика.

Всякий грамотный человек знает, что укорениться, значит иметь основание, а по Френкелю выходит, что привычка, имеющая глубокое основание („глубоко укоренившаяся!“), не имеет никакого реального основания! Можно сообщить Френкелю, что один очень почтенный мыслитель (H. A. Lorentz) в своих „Гаарлемских лекциях“ [1]) несколько иначе смотрит на этот „корень без основания“, и, как нам кажется, более здраво и философски (см. стр. 23 нем. изд.): Лоренц думает, что наша способность представлять себе абсолютное время не является чем-то случайным, а имеет глубокие основания в природе вещей; поэтому он отвергает абсолютизацию скорости света.

Вообще говоря, в книге Френкеля отсутствует всякое критическое отношение к теории относительности, серьезнейший вопрос критической оценки гипотез общей теории относительности совершенно не затрагивается. В частности, вопрос о конечности мира решается очень легко с чисто божеским размахом: конечность мира устанавливается на протяжении нескольких страниц при помощи нескольких калькуляций. Заметим здесь, что все, говорящие об этом вопросе, совершают одну недопустимую ошибку, которая и приводит к желательной (для абсолютизации теории) конечности вселенной. Эта ошибка заключается в том, что явление тяготения рассматривается не как нечто производное, а первичное, иначе говоря, тяготение приписывается всякой материи. Отсюда, конечно, легко получить, что если вселенная бесконечна, силы тяготения бесконечны. Между тем сам Ньютон считал, что тяготение присуще только dura matter и тем „эфирам“, которые имеют сходство с обычной материей.

Что касается пространства, как „чувствилища бога“ (sensorium Dei), то Ньютон наполнял его первичным эфиром (квинтэссенцией)—spiritus'ом, который, являясь источником всех сил, а также сил тяготения, не может, конечно, сам обладать тяжестью. Таким образом совершенно очевидно, что тяготение, как определенный механизм, предполагает материю, не обладающую этим свойством.

В гидродинамике источники и стоки движения образуют поле взаимодействия (модель Римана), но сама текущая жидкость не дает между своими частями таких полей.

Френкель, повторяя без всякой критики мысль, поспешно брошенную Эйнштейном, доказывает этим, что теория относительности для него—скорее плод сердечных увлечений, нежели вывод суровой трезвости ума [2]).

Предупредим читателя относительно некоторых положений Френкеля, которые на первый взгляд могут показаться весьма радикальными, но на самом деле являются проведением пифагорейско-лейбницевской точки зрения. Френкель говорит (стр. 17): история флогистона показывает, каким образом формальная аналогия законов сохранения энергии и материи (точнее—масс) привела к материализации энергии. Мы познакомились ниже с примером противоположного недоразумения, выразившегося в энергетизации материи.

Подобное отождествление,—повторяет он в другом месте (стр 64),—столь же абсурдно с логической точки зрения, сколь и неосновательно с точки зрения физической. Материя есть совокупность вещей—электронов, энергия, величина, характеризующая их механические отношения или свойства. Вещи

[1]) H. A. Lorentz, Das Relativitätsprinzip, обработка Keesom'a, нем. изд. 1920 г.

[2]) Заметим, что с точки зрения теории тяготения Эйнштейна нет никакой необходимости принимать конечность мира. В самом деле, если тяготение обусловлено кривизной и обратно, то ведь могут существовать „неискривленные“ кривые пространства и вообще области, где кривизны нет—и бесконечности. Эйнштейн, действительно, считает пространство цилиндрическим. В работе же Фридмана („Основы теории тяготения“), одобренной Эйнштейном, совершенно отбрасывается „готовое“ пространство с заранее данными геометрическими свойствами.

или отношения представляют собой две логические категории, тесно связанные, но ни в каком случае не могущие раствориться одна в другой.

„Поэтому энергетизирование материи является операцией столь же недопустимой (и, в сущности говоря, немыслимой), как и противоположная ей операция материализация энергии".

Френкель определяет физику, как электро-механику. Каков действительный смысл этих утверждений? Они делаются понятными, если принять во внимание, что общая теория относительно ти, став на точку зрения пространства, как физического тела, вариантного характера протяжения, длительности и физических сил, подорвала этим основу учения Канта о пространстве, времени и причинности, как априорных формах сознания.

Идеалистическая философия в поисках выхода из такого критического положения постепенно переходит к точечной философии Пифагора-Лейбница, к „физической монадологии". Именно у Лейбница мы находим понятие квази-непрерывного пространства в сочетании с точечным характером материи. И вот Френкель неоднократно повторяет в своих сочинениях, что существует основание полагать электрон математической точкой.

Таким образом электрон у Френкеля является физической монадой, метафизически непротяженной, но образующей протяжение при помощи своих отношений, или, как говорит Френкель, свойство тяготения переносится от электронов на электромагнитное поле. И так как свойства пространства, кривизна, например, обусловливаются электро-магнитным полем (точнее: энергией) то это пространство является, с одной стороны, физическим, а с другой—обладает характером чистой релятивности.

Отметим, что эта точка зрения совпадает с тем, что Эйнштейн говорит в известной речи: „Эфир и принцип относительности".

Критикуя Лоренцову концепцию эфира, Эйнштейн указывает, что механический эфир Лоренца необходимо подвергнуть релятивизации. Сущность этой релятивизации, очевидно, заключается в Лейбницевском понятии пространства. Впрочем, нельзя сказать, что эта точка зрения последовательно проводится ее авторами: здесь обнаруживается обычное несоответствие между потребностями самой науки и необходимостью ее схоластической интерпретации.

Таким образом исходная точка зрения Френкеля чисто идеалистическая: электрон, как абсолютная мировая точка. Отсюда чисто „логически" развивается поставленная на голову физика. Так как „абсолютом" является заряд электрона, то „сила" определяется, как функция заряда и расстояния $\left(F = k^2 \frac{l_1 l_2}{r^2} \right)$, а потенциал, как некая „математическая функция" $\left(\varphi = -\sum \frac{kl_i}{r_i} \right)$. Конечно, так как без непрерывности нельзя построить теории Максвелла, то незаметно основной принцип нарушается, и потенциал преподносится в интегральной форме для случая „равномерно распределенного в пространстве заряда" ($\varphi = \int \frac{\varsigma dv}{r}$, где ς — плотность электричества, dv — элемент объема) оставляя в полной мгле вопрос о том, как „непротяженные точки" могут образовать „равномерное распределение электричества". У Лоренца электрон, как известно, это также отчасти точка, но в ином совершенно смысле, именно, как точка (абстракция) непрерывного пространства центр схождения силовых линий. Лоренц от пространства (поля) идет к электрону, а не наоборот.

Совершив первое нарушение принципа, Френкель его разрушает окончательно, переходя к Максвелловским представлениям и уравнениям. Если уж стоять на точке зрения физической монадологии, то подобно Веберу—Нейману необходимо создать свои уравнения электромагнитизма. Это вызывает трудности, и Френкель пишет (стр. 34): „мы оказываемся вынужденными

вернуться к Максвелловскому представлению энергии, как величины, связанной не с самими электронами, а с создаваемым ими электромагнитным полем — лишенной, однако, всякой материальной основы и локализируемой в пустоте".

Как видит читатель, концы не сведены с концами. Что это за энергия, лишенная „материальной основы" и „локализированная в пустоте"? Это очевидно, некий „корень без основания" или „экономия мышления".

Ведь материя это все то, что занимает место (локализировано) в пространстве и времени. Каким же образом нечто „локализированное в пространстве" (пустоте) не есть материя? Мы в своих статьях неоднократно отмечали сущность всей этой схоластической спекуляции.

Такова точка зрения Лоренца, к ней пришел путанным путем Эйнштейн. Таким образом истинный смысл фразы Френкеля в том, что электромагнитная энергия лишена основы „обычной материи" и представляет собою процессы в самом пространстве, как „первой материи" (вихревая теория!). Если читатель хорошо поймет эту сторону вопроса, то он легко разберется в тех важных понятиях, которые излагаются дальше (§ 5), именно понятиях энергии и массы, как свойств электромагнитного поля, понятиях электромагнитной энергии и количества движения, во взаимоотношении, наконец, между массой и энергией.

Френкель же излагает дело чисто формально. Этот формализм достигает кульминации в изложении специальной теории. Теория излагается, как некая „логическая система", при чем совершенно неожиданно выскакивает равенство $k^2 = -c^2$, о котором мы уже упоминали.

Скорость „C" почему-то должна играть исключительную роль и возводится в некий абсолют. Мы не будем говорить здесь о том, что подобное обоснование теории является софизмом,—это слишком очевидно из простого примера, приведенного выше.

Следующий скачок Френкель делает при изложении релятивистской электромеханики. Абсолютный релятивизм последователен только при отрицании реальности пространства (привилегированной системы координат). Выражая уравнения в форме Максвелла, мы разрушаем абсолютный релятивизм, это именно и делает Френкель.

Противоречие ученого доходит до высшей степени, когда в общей теории относительности он докатывается до пространства пяти измерений! „Однако подобное пространство пяти измерений не имеет никакого физического смысла, так как мы живем в четырехмерном пространственно временном мире. Для того, чтобы изучить этот мир, определить его свойства, нет ни малейшей надобности выходить за его пределы" (стр. 243). Если в этих догматических утверждениях есть какая-нибудь логика, то это, без сомнения, логика идеализма, которая все время перебрасывает ученого от одного неразрешимого (несинтезируемого) противоречия к другому. В книге значительное количество опечаток.

З. Ц.

Ю. А. Филипченко. Изменчивость и ее значение для эволюции. Гос. Изд. Ленинград 1924 г. 82 стр.

Надо приветствовать появление в свет нового издания этой книги: она является лучшим на русском языке изложением современного состояния затрагиваемых ею вопросов. Эта книга не нова для русского читателя: под несколько другим заглавием („Изменчивость и эволюция", изд. Панафидиной) она

впервые появилась в 1915 году и уже тогда выдвинула ее автора в ряды лучших русских популяризаторов.

Теперь она вновь и очень кстати появляется в свет в значительно освежен м и улучшенном виде: книжка обновлена новыми фактами и данными, опирающимися на новейшие работы, как, напр., на работы Моргановской школы, и удачно выдерживает свой прежний характер свежести и современности изложения. Но еще ценнее в этом издании то, что в нем автор значительно изменил к лучшему свое собственное отношение ко многим спорным вопросам эволюционного учения, в связи с чем изменилось и общее освещение материала книжки.

9 лет назад, отражая общее скептическое настроение, охватившее биологов того времени по отношению ко многим основным положениям эволюционной теории и к самому Дарвину, Филипченко явно не решался занять вполне определенную позицию по многим из этих вопросов, а в других случаях даже поддавался настолько этими настроениям реакции, так что легко оставлял в читателе сомнение в прочности позиции дарвинизма и эволюционной теории в целом.

Напомним хотя бы навеянные Кэтсоном сомнения в существовании „прогрессивных мутаций“ или те ограничения в роли естественного отбора, которые сугубо подчеркивались в первом издании. В настоящем издании Филипченко по многим вопросам занимает гораздо более твердую и определенную и, прибавим к тому же, гораздо более здоровую позицию. Правда, он сохранил почти все старые, не вполне исчерпывающие и удовлетворяющие нас формулировки, ограничивающие роль отбора, но вместе с тем вносит и новые абзацы, которые значительно смягчают их смысл и являются как бы преднамеренным ответом автора на новейшие попытки исказить роль и значение Дарвина и его учения; приводим, как более характерный, отрывок, характеризующий современную позицию Филипченко, где он дает весьма удачную оценку Дарвиновых построений в их исторической перспективе.

„В настоящее время роль отбора, как регулятора и закрепителя уже возникших изменений, не возбуждает никаких сомнений, но возникает вопрос—какие именно изменения закрепляются, и, во-вторых, не может ли он сам произвести необходимые изменения? Как мы видели раньше, групповые изменения стали хорошо известны лишь сравнительно недавно, а модификации или простые вариации были всем знакомы значительно раньше. Вполне понятно поэтому, что первоначально при объяснении общего хода эволюционного процесса все внимание было обращено именно на эти чисто индивидуальные изменения. Правда, сам Дарвин не раз подчеркивал, что „изменчивость ненаследственная не проливает никакого света на происхождение видов и совершенно бесполезна для человека“ (а простые вариации, как мы сейчас увидим, именно ненаследственны). Однако у последователей и продолжателей Дарвина те „вариации“, на которых он основывался в своей теории, превратились в наши индивидуальные изменения, и в конце концов создался взгляд, будто сам Дарвин основывался в своей теории на индивидуальных изменениях...“ (курсив наш. *Б. З.*).

Не менее крупным шагом вперед надо считать опровергаемые теперь самим Филипченко (стр. 71) кажущиеся затруднения в якобы отсутствии „прогрессивных мутаций“ и его правильная оценка другой ложной дилеммы, которая не изжита до сих пор, якобы теория Дарвина должна быть заменена мутационной теорией Де-Фриза. И здесь Филипченко правильно отмечает, что вообще теория Дарвина и Де-Фриза отнюдь не исключают одна другую, как это многим казалось в начале, а скорее взаимно дополняют друг друга. Если же принять во внимание существование особых ступенчатых мутаций, как мы их назвали, мутаций—в одних средних величинах, которые,

вероятно, особенно часто имеют место в природе, хотя и гораздо менее заметны, то многие из соображений Дарвина о „накоплении мелких, последовательных“, но непременно наследственных изменений приобретут для нас совершенно новый, но притом вполне современный смысл.

Как видно из этих, весьма характерных цитат, Филипченко сумел в этом своем последнем печатном выступлении найти здоровый и верный синтез для тех противоречий, которые вызывали в нем нерешительность девять лет назад; этим он обязан, конечно, в первую очередь тому, что за эти 9 лет наука об изменчивости и наследственности организмов сумела накопить много новых фактов, бросающих новый свет на еще недавно темные области.

Но надо сказать, что кое-где в книге все же сохраняются места, которые не вполне нас удовлетворяют не столько в силу их прямой неверности,—этого мы бы не сказали пока,—сколько потому, что автор недостаточно полно высказался по ним и тем оставил поле для ложных истолкований. Так, сюда относится противоречивая в разных местах оценка роли отбора, а тем более заключительные абзацы книги, которые автор оставил неизмененными и в которых он склоняется в сторону эндогенных факторов эволюции, не развивая этой мысли до конца. Чувствуется также, что автор не нашел еще твердой позиции по отношению к проблеме наследования благоприобретенных признаков, где можно обнаружить известное противоречие между разными абзацами в его изложении.

На протяжении всей книжки автор остается верен своему принципу—излагать, главным образом, факты и избегать, по возможности, „рискованных“ теорий и гипотез, и тем более выводов общего характера. Поэтому читатель не найдет в этой книге ответа на те проблемы общего мировоззрения, которые мы не можем не связывать с эволюционными теориями. Потому-то Филипченко так скуп на рассуждения по вопросу об авто- или энтогенезисе или на тему об общей роли принципа отбора. Но в этом, пожалуй, и большое достоинство книги: в ней настолько четко и ясно отделена фактическая часть книги от толкований излагаемого в ней материала, что читателю легко усвоить богатое содержание, вложенное в нее, не смешивая с ним не всегда верные в своих деталях взгляды автора.

Уже первое издание книги мы рекомендовали, как основное пособие для студентов совпартшкол, рабфаков и вузов в целях первого ознакомления с современным состоянием учения об изменчивости, несмотря на ясную для нас невыдержанность позиции автора. Тем более следует рекомендовать эту книгу тем же кругам читателей в ее настоящем освеженном и улучшенном виде, при чем с прибавлением: раз есть это новое издание, то следует оставить ради него теперь ставшее устарелым и вредным первое издание.

С точки зрения подбора фактов и изложения материала мы имеем лишь одно замечание относительно ненужности упоминания о средних категориях уклонения, которое делает автор в начале своей книги. Автор совершенно прав, что усвоение этого понятия требует большей подготовки, чем та, на которую рассчитывает вся книжка в целом. Но еще меньше дает то приближенное, и в силу этого еще менее ясное определение этого понятия, которое дается в книге: оно так и остается непонятым читателем, возбуждая в то же время в нем беспокойство, что он не понял чего-то очень важного в книжке. Между тем упоминание о средних уклонениях совершенно не необходимо для того, чтобы читатель понял все остальное содержание книжки—лучше всего было бы его совершенно выпустить.

Б. Завадовский.

Эд. Бернштейн. Социализм и демократия в Великой Английской революции. Перевод Ч. и И. Леонтьевых, проверенный по 3-му немецкому изданию. Предисловие В. А. Десницкого-Строева. Госиздат. Ленинград. 1924 г. 314 стр.+IV.

Эта работа Бернштейна хорошо известна под названием „Общественное движение в Англии XVII века", под которым она вышла при первом ее издании на русском языке в 1899 г. Это название ее объяснялось цензурными условиями, которые никак не могли допустить выхода книги под таким крамольным названием, как „Социализм и демократия", хотя бы в XVII столетии.

Серьезных изменений в новом ее издании почти нет.

Небольшое изменение имеется в введении: приводимая здесь Бернштейном цитата из Маркса в старом издании выдавалась за мысль автора (издатель очень боялся Маркса). В остальном разница между новым и старым изданием сводится к несколько иной группировке материала—так как прежде было всего 11 глав, а теперь—17; некоторые более крупные главы разбиты на две и на три, так, по старому изданию, главы третья, шестая, девятая и одиннадцатая. Название книги „Социализм и демократия" совершенно не ясно ограничивают круг вопросов, поэтому мы не имеем здесь изложения хотя бы важнейших событий Великой Английской революции; точно так же нет здесь и анализа сущности самой революции, хотя в введении, которое в новом издании составляет первую главу, Бернштейн и приводит чрезвычайно интересную параллель между Великой Английской революцией и Великой Французской революцией, которую Маркс поместил в „Новой Рейнской Газете".

„В 1648 г. буржуазия заключила союз с новым дворянством против короля и господствующей церкви, в 1789 году так же буржуазия соединилась с народом против короля, дворянства и господствующей церкви... В обеих революциях буржуазия являлась классом, действительно стоящим во главе движения. Пролетариат и не принадлежащие к буржуазии группы населения либо еще не имели никаких отдельных от буржуазии интересов, либо не представляли еще самостоятельно развившихся классов или подклассов. Поэтому... они все-таки боролись только за интересы буржуазии, хотя и не из буржуазных побуждений".

Этой цитатой он ограничивается для характеристики общего характера революции и переходит уже к основной теме. Материал у него расположен следующим образом: глава 2—рисует экономику, политику и идеологию Англии до XVII столетия, главы 3, 4 и 5—выясняют взаимоотношения трех важнейших элементов революции: король—армия—парламент, главы 6, 7 и 8—дают анализ течения и группировок в Великой Английской революции, главы 11, 12 и 13—практическую деятельность этих группировок и, наконец, последние главы характеризуют квакерское движение.

На 2-й главе, первой по существу, следует остановиться. Глава эта, названная „Англия до середины XVII столетия", должна была дать основной фундамент для понимания развертывающихся течений и событий. Между тем, она чрезвычайно мало выясняет эти условия. Об экономике Англии мы имеем несколько общих мест вроде того, что Англия была тогда страна земледельческая, что промышленность была слабо развита и т. п. Таким же шаблоном отличается и анализ классов и классовых противоречий накануне революции. Это безусловно составляет один из крупных недостатков книги, ибо если при всякой работе марксист должен дать соответствующий твердый фундамент, то особенно нужно это сказать при анализе столь сложных явлений, какие имели место во время Великой Английской революции, когда классовая борьба была завуалирована столкновениями на религиозной почве. Поэтому, не ставя своей задачей научное исследование в области социально-экономического положения Англии до революции, он все же должен был дать законченную картину. Это обстоятельство показывает характерную для Бернштейна, который никогда диалектиком не был, манеру мыслить и который, благодаря этому, не сумел понять и особенностей данной конкретной обстановки. Читая эту его главу, совершенно непонятно, откуда выросло такое могучее движение и что его питало. Приводимый им случай восстания Кета несколько характеризует эту революционную обстановку, в которой создалось крестьянское восстание на почве отгораживания. „Мы снесем огороды и заборы, засыплем канавы, вернем общинные земли и сравняем с землей все без исключения загородки, возведенные с позорной низостью и бесчувственностью".

В этой же главе он выясняет сущность пуританства. Совершенно правильно он указывает, что пуританство не было движением одного только класса, оно объединяло революционные усилия различных классовых групп, но все же нельзя устранить, как делает Бернштейн, его классовый характер.— По нашему мнению, пуританство в Великой Английской революции можно сравнить с третьим сословием Великой Французской революции, поэтому сюда незачем примешивать и высшее духовенство, и дворянство, хотя бы отдельные его представители и входили сюда. Характерной чертой пуританства являлась его проповедь аскетизма. Бережливость была возведена в христианскую добродетель. Это чрезвычайно характерно для периода первоначального накопления. „Они копили деньги, накопляли их тем больше, что не хотели давать ни гроша священникам или монахам, торгующим отпущениями".

Наиболее серьезную часть книги составляют те главы, которые говорят о различных течениях Великой Английской революции, и среди них особенно главы, посвященные движению левеллеров.

Недостатком в изложении здесь является лишь то обстоятельство, что оно не раскрывает диалектики классовых сил. Пуритане распадаются на пресвитериан и индепендентов, индепенденты на джентльменов и левеллеров, и т. д.

Мы имеем у него чисто механическое описание распадения больших группировок на мелкие, но почему и как усложняется фронт классовой борьбы—такого анализа у него нет, или он расчленен так незаметно, что все-таки цельного впечатления не получается.

Все эти группировки различались как бы по различным требованиям религиозной реформы, так, например, пресвитериане, которые желали „государственно-организованной церкви, в которой мирской элемент должен был фигурировать в общинах и церковных собраниях в виде выборных представителей, старейших или пресвитеров", а другая группировка индепендентов, т.-е. независимых, требовала независимости для каждой общины, но, на самом деле, разногласия между ним и обусловливались различием их социального положения. В вопросе о социальных корнях пресвитериан у Бернштейна получается путаница, которая характеризует его, как ревизиониста. так напр. на стр. 61 мы читаем: „Антагонизм этот (между пресвитерианами и индепендентами) вытекал не из противоположности классовых интересов.

Пресвитериане имели большинство в парламенте—против них выступают индепенденты. Но по социальному своему составу они тоже неоднородны: здесь и средняя буржуазия, и мелкая, и ремесленники, и крестьянство, и нищие (пауперы). От них выделяется более состоятельная часть—это джентльмены, по преимуществу сельская, средняя и мелкая буржуазия. Их вождь—Кромвель. Левеллеры или уравнители представляли в массе своей крестьянство, из них главным образом и состояла армия. Вождем левеллеров был Лильбурн. Бернштейн вообще очень много внимания и места уделяет Лильбурну. Он чрезвычайно часто регистрирует все случаи, когда Лильбурну предлагали выгодные места, и отказывался следить за расстройством его торговых дел; но подчеркивание этих случаев не столь характеризует революционера Лильбурна, сколько не-революционера Бернштейна. Основным требованием Лильбурна и его единомышленников был так называемый

Эд. Бернштейн. Социализм и демократия в Великой Английской революции. Перевод Ч. и И. Леонтьевых, проверенный по 3-му немецкому изданию. Предисловие В. А. Десницкого-Строева. Госиздат. Ленинград. 1924 г. 314 стр.+IV.

Эта работа Бернштейна хорошо известна под названием „Общественное движение в Англии XVII века", под которым она вышла при первом ее издании на русском языке в 1899 г. Это название ее объяснялось цензурными условиями, которые никак не могли допустить выхода книги под таким крамольным названием, как „Социализм и демократия", хотя бы в XVII столетии.

Серьезных изменений в новом ее издании почти нет.

Небольшое изменение имеется в введении: приводимая здесь Бернштейном цитата из Маркса в старом издании выдавалась за мысль автора (издатель очень боялся Маркса). В остальном разница между новым и старым изданием сводится к несколько иной группировке материала—так как прежде было всего 11 глав, а теперь—17; некоторые более крупные главы разбиты на две и на три, так, по старому изданию, главы третья, шестая, девятая и одиннадцатая. Название книги „Социализм и демократия" совершенно не ясно ограничивают круг вопросов, поэтому мы не имеем здесь изложения хотя бы важнейших событий Великой Английской революции; точно так же нет здесь и анализа сущности самой революции, хотя в введении, которое в новом издании составляет первую главу, Бернштейн и приводит чрезвычайно интересную параллель между Великой Английской революцией и Великой Французской революцией, которую Маркс поместил в „Новой Рейнской Газете".

„В 1648 г. буржуазия заключила союз с новым дворянством против короля и господствующей церкви, в 1789 году так же буржуазия соединилась с народом против короля, дворянства и господствующей церкви... В обеих революциях буржуазия являлась классом, действительно стоявшим во главе движения. Пролетариат и не принадлежащие к буржуазии группы населения либо еще не имели никаких отдельных от буржуазии интересов, либо не представляли еще самостоятельно развившихся классов или подклассов. Поэтому... они все-таки боролись только за интересы буржуазии, хотя и не из буржуазных побуждений".

Этой цитатой он ограничивается для характеристики общего характера революции и переходит уже к основной теме. Материал у него расположен следующим образом: глава 2—рисует экономику, политику и идеологию Англии до XVII столетия, главы 3, 4 и 5—выясняют взаимоотношения трех важнейших элементов революции: король—армия—парламент, главы 6, 7 и 8—дают анализ течения и группировок в Великой Английской революции, главы 11, 12 и 13—практическую деятельность этих группировок и, наконец, последние главы характеризуют квакерское движение.

На 2-й главе, первой по существу, следует остановиться. Глава эта, названная „Англия до середины XVII столетия", должна была дать основной фундамент для понимания развертывающихся течений и событий. Между тем, она чрезвычайно мало выясняет эти условия. Об экономике Англии мы имеем несколько общих мест вроде того, что Англия была тогда страна земледельческая, что промышленность была слабо развита и т. п. Таким же шаблоном отличается и анализ классов и классовых противоречий накануне революции. Это безусловно составляет один из крупных недостатков книги, ибо если при всякой работе марксист должен дать соответствующий теоретический фундамент, то особенно нужно это сказать при анализе столь сложных явлений, какие имели место во время Великой Английской революции, когда классовая борьба была завуалирована столкновениями на религиозной почве. Поэтому, не ставя своей задачей научное исследование в области социально-экономического положения Англии до революции, он все же должен был

дать законченную картину. Это обстоятельство показывает характерную для Бернштейна, который никогда диалектиком не был, манеру мыслить и который, благодаря этому, не сумел понять и особенностей данной конкретной обстановки. Читая эту его главу, совершенно непонятно, откуда выросло такое могучее движение и что его питало. Приводимый им случай восстания Кета несколько характеризует эту революционную обстановку, в которой создалось крестьянское восстание на почве отгораживания. „Мы снесем огороды и заборы, засыплем канавы, вернем общинные земли и сравняем с землей все без исключения загородки, возведенные с позорной низостью и бесчувственностью".

В этой же главе он выясняет сущность пуританства. Совершенно правильно он указывает, что пуританство не было движением одного только класса, оно объединяло революционные усилия различных классовых групп, но все же нельзя устранить, как делает Бернштейн, его классовый характер.—По нашему мнению, пуританство в Великой Английской революции можно сравнить с третьим сословием Великой Французской революции, поэтому сюда незачем примешивать и высшее духовенство, и дворянство, хотя бы отдельные его представители и входили сюда. Характерной чертой пуританства являлась его проповедь аскетизма. Бережливость была возведена в христианскую добродетель. Это чрезвычайно характерно для периода первоначального накопления. „Они копили деньги, накопляли их тем больше, что не хотели давать ни гроша священникам или монахам, торгующим отпущениями".

Наиболее серьезную часть книги составляют те главы, которые говорят о различных течениях Великой Английской революции, и среди них особенно главы, посвященные движению левеллеров.

Недостатком в изложении здесь является лишь то обстоятельство, что оно не раскрывает диалектики классовых сил. Пуритане распадаются на пресвитериан и индепендентов, индепенденты на джентльменов и левеллеров, и т. д.

Мы имеем у него чисто механическое описание распадения больших группировок на мелкие, но почему и как усложняется фронт классовой борьбы—такого анализа у него нет, или он расчленен так незаметно, что все-таки цельного впечатления не получается.

Все эти группировки различались как бы по различным требованиям религиозной реформы, так, например, пресвитериане, которые желали „государственно-организованной церкви, в которой мирской элемент должен был фигурировать в общинах и церковных собраниях в виде выборных представителей, старейших или пресвитеров", а другая группировка индепендентов, т.-е. независимых, требовала независимости для каждой общины, но, на самом деле, разногласия между ним и обусловливались различием их социального положения. В вопросе о социальных корнях пресвитериан у Бернштейна получается путаница, которая характеризует его, как ревизиониста. так напр. на стр. 61 мы читаем: „Антагонизм этот (между пресвитерианами и индепендентами) вытекал не из противоположности классовых интересов.

Пресвитериане имели большинство в парламенте—против них выступают индепенденты. Но по социальному своему составу они тоже неоднородны: здесь и средняя буржуазия, и мелкая, и ремесленники, и крестьянство, и нищие (пауперы). От них выделяется более состоятельная часть—это джентльмены, по преимуществу сельская, средняя и мелкая буржуазия. Их вождь—Кромвель. Левеллеры или уравнители представляли в массе своей крестьянство, из них главным образом и состояла армия. Вождем левеллеров был Лильбурн. Бернштейн вообще очень много внимания и места уделяет Лильбурну. Он чрезвычайно часто регистрирует все случаи, когда Лильбурну предлагали выгодные места, и отказывался следить за расстройством его торговых дел; но подчеркивание этих случаев не столь характеризует революционера Лильбурна, сколько не-революционера Бернштейна. Основным требованием Лильбурна и его единомышленников был так называемый

„Народный договор", суть которого заключалась в том, что представители армии и „благонамеренные" делегаты от жителей должны образовать комитет для составления конституции, основного закона, которому должны подчиняться и члены парламента. Высшим органом должно быть представительное собрание из 400 человек, при чем всеобщее избирательное право существует для всех, за исключением лиц, получающих заработную плату и нищих (стр. 14). Из этого мы видим, что левеллеры не имели влияния на городских рабочих, и справедливо пишет Бернштейн: „Все движение в самом деле не вызвало никаких самостоятельных волнений среди городских рабочих, но зато, достигнув кульминационного пункта, повлекло за собой несколько попыток аграрно-коммунистических восстаний" (103).

Бернштейн подробно разбирает разнообразные теории среди левеллеров. В главе 8-й он специально рассматривает „атеизм и экономический радикализм в лагере левеллеров". Представителем такового он считает Ригарда Овертона. Он считает, что в лице Овертона соединяются и последовательно националистические, и, можно даже сказать, материалистические взгляды с политическим и социальным радикализмом" (стр. 105).

Так, Овертон сравнивает человека с животным и показывает на многих примерах, что все почти духовные способности человека существуют и у животных, отличаясь только степенью своего развития и сложностью. В памфлетах левеллеров характерную черту составляет крайне враждебный тон, не только враждебный монархии, дворянству, церкви и классу богачей, но и юристам и адвокатам, которых они называют „гусеницами" общества. Второй характерной чертой этих памфлетов—это указание, что право собственности взялось от Вильгельма Завоевателя, и поэтому по-настоящему нет собственности на землю, и что „собственность на землю богатых—это кража". Были среди левеллеров и сторонники социальных реформ, как, например, приводимый Бернштейном врач Чемберлен, который предлагал национализировать все земли, не имеющие собственников, как-то: казенные, церковные и т. д.

Несколько сходна с этим и теория Гарглиба, которая предлагала государству наблюдать за производством: частная собственность остается, но подчиняется известным обязательствам. В случае невыполнения она переходит в руки общества.

Таковы были теории левеллеров. Но и из них выделились наиболее неимущие слои—сельских батраков и отчасти пауперов и составили группу т. н. „истинных" левеллеров. Они стремились к претворению своей теории в жизнь. С этой целью они группами совместно перекапывали необработанную землю. Предводителями их были Вильям Эверард и Джерард Винстэнли. Началом своей деятельности они считали „восстановление древней общности пользования плодами земли". Мы уже видели, что тактика их была очень решительной. Однако по поводу их тактики мы у Бернштейна встречаем противоречия. Вначале Бернштейн охотно подхватывает, что и „Эверард, впрочем, объявил, что они не будут оказывать вооруженного сопротивления, но подчинятся властям и будут ждать, пока наступит их время, которое уже близко". Однако в своем манифесте, который носит название „Декларация бедного угнетенного народа Англии", мы читаем нечто совсем другое: „Если мы будем смирно лежать и позволим вам украсть наше право первородства, то мы погибнем, а если будем подавать петиции, то мы также погибнем, хотя так же, как и вы, ради свободы науки, платили налоги, предоставляли бесплатные квартиры и рисковали нашей жизнью" (123). И потому Бернштейн даже должен установить, что „яснее уж нельзя призывать к мятежу против землевладельцев или, пожалуй, вернее—к стачке сельскохозяйственных рабочих" (стр. 125). Вождь „истинных" левеллеров, Джерард Винстэнли был и их теоретиком. В его произведении „Закон свободы", изложенном в виде программы... мы имеем полную картину, как он мыслит

будущее общество. Он доказывает, что богатство невозможно без эксплоатации, и делает вывод, что „истинная республиканская свобода заключается в свободном пользовании землей".

Производство у него носит мелкий характер, так как крупного еще не знали, обмен продуктов—общественный. „Возникновение торговли—грехопадение человечества". Затем, всеобщее обучение и свободный брак. Великолепно у него то место, где он выступает против теологии, сверхчувственного, ибо если люди смотрят на небо, то они забывают бороться за свои права и задачи.

Описанием теории Винстэнли кончается теоретический анализ группировок в Великой Английской революции, за исключением квакеров, о которых он говорит в конце работы.

В остальных главах Бернштейн пытается выяснить взаимоотношение основных общественных элементов: король—парламент—армия. Когда первоначальное соотношение сил: на одном полюсе—король и феодальные элементы, на другом—парламент, армия и народ, по вопросу об отношении к королю, отношении к народному договору левеллеров, стремлению к захвату общинных земель „истинных" левеллеров изменяется, и до того действующие единодушно элементы распадаются, то изменяется и группировка действующих сил и центр тяжести борьбы уже переносится на борьбу между парламентом и армией; и как результат—парламент состоит индепендентов, которые и побеждают пресвитериан, опираясь на левеллеров. В этом состоит искусство Кромвеля, который при всей его решительности был большим оппортунистом. Бернштейн с большим удовольствием приводит эти места из его деятельности и при общем анализе деятельности левеллеров при сравнении их с Кромвелем главным образом отдает предпочтение Кромвелю в том смысле, что он был реальным политиком, а „они же следовали политическим теориям".

Вообще же при изложении событий можно сказать, что у Бернштейна получается чисто-хронологическая передача фактов.

Последние главы своей работы Бернштейн посвящает анализу квакерского движения. Он останавливается и на истории этой религиозной секты, которая основывала свою религию не на библии, а на внутреннем сознании, внутреннем свете, не признавая обрядовой старины. Проповедуя крайний аскетизм, они не имели в себе никаких элементов коммунизма. Они ограничивались лишь вспомоществованием своих бедных членов, а так как число желающих получить вспомоществование увеличивалось, то прием таких бедных членов в общину ограничивался. В результате „число богатых превышало норму". Впоследствии квакерство стало принимать чем дальше, тем больше характер чисто-буржуазного движения филантропического характера.

Подводя итог всей работы Бернштейна, нужно отметить, что его произведение безусловно является одной из лучших работ по истории Английской революции. Наша коммунистическая молодежь при обращении с работами Бернштейна совершенно справедливо с большой критикой подходит к ним, но все же нужно сказать, что его работу вполне можно рекомендовать, как работу, богатую большим фактическим материалом, работу, в которой все-таки в основном применен марксистский метод. Особенно можно рекомендовать в этой книге главы о левеллерах. В этой работе Бернштейн не выступает, как ярый оппортунист. Мы встречаем у него и революционные мысли, но все же, как мы указали при разборе отдельных глав, здесь уже вполне можно видеть элементы бернштейновского мировоззрения и его неспособность диалектически мыслить его оппортунизм и его преувеличение идеологических факторов.

При нашей бедности в марксистской литературе по Великой Английской революции, книга Бернштейна является нужным пособием для студентов комвузов и вузов.

Х. Лурье.

В. Гриневич. Народное хозяйство Германии. Очерк развития (1800—1924). Изд. „Научная Мысль". Берлин 1924.

Экономика с начала настоящего века вообще, в особенности в эпоху последней империалистической войны, а также в течение послевоенного периода, чрезвычайно богата новыми явлениями. Крайне интересно и необходимо порой остановиться, бросить взгляд на пережитое и подвести итоги. Лежащая перед нами книга Гриневича принадлежит именно к числу работ, где в суммарной форме подводятся такие итоги. Задача ее—дать обзор развития народного хозяйства Германии с начала XIX века вплоть до самого последнего времени,—изложение событий доведено в ней до апреля текущего года; уже одним этим она представляет большой интерес. Но в то же время a priori можно предположить, что с этой задачей едва ли справится автор: слишком уже обширна тема, чтобы исчерпать ее в одной книге. Нашему автору поневоле пришлось оставить целый ряд вопросов в стороне, совершенно не затрогивать их в своем изложении. Явление, совершенно неизбежное в такого рода исследованиях; весь вопрос в том, какова природа оставленных в стороне вопросов. „Ограниченные размерами книги,—пишет автор в предисловии,—мы поэтому оставили без рассмотрения весь обширный и сложный комплекс вопросов социальной политики и рабочего движения", и это, несмотря на то, что, как тут же признает сам автор, они оказали „глубокое влияние на народное хозяйство в последующих стадиях его развития". Кроме того, „нам пришлось—говорит автор—оставить без рассмотрения процесс взаимной борьбы отдельных хозяйственных групп из-за направления экономической и финансовой политики государства". В этом и заключается как раз основной недостаток книги. Ибо пытаться понять основные моменты хозяйственного развития любой страны, отвлекаясь от указанных автором сторон, значит лишить себя всякой возможности понять их и дать в лучшем случае лишь внешний обзор событий. Но и для этого не хватило места у автора; он дает, в сущности, лишь ряд очерков преимущественно описательного характера.

Книга Гриневича распадается на три части: первая посвящена историческому очерку развития народного хозяйства Германии от начала XIX столетия до начала мировой войны. Эта часть представляет меньше всего интереса: нового она ничего не дает. Мы имеем уже подобные исторические обзоры, укажем хотя бы на Зомбарта, Гельфериха. К числу ее коренных недостатков нужно отнести отсутствие в ней костяка, твердого теоретического фундамента; впрочем, это приходится повторить и по отношению ко всей книге. Так, например, на основной вопрос: какова основная движущая причина экономического развития?—автор дает следующий ответ: „В процессе экономической жизни часто невозможно установить, где начинается причина, где следствие" (стр. 31). Говоря о влиянии развития транспорта на развитие народного хозяйства, автор опять повторяет: „причина и в данном случае превращалась в следствие, а следствие—в причину" (стр. 35). Правда, дальше он находит основные причины как самого развития германского капитализма, так и быстрого его темпа; таковыми он считает: 1) необычайно быстрый рост населения при ограниченном пространстве страны и 2) удивительное сочетание естественных богатств недр. Но это значит поставить вещи на голову. Естественные богатства недр имелись на лицо и до XIX века, быстрый же темп роста населения, начавшийся с начала XIX века, сам является только следствием развития капитализма, т.-е. развития производительных сил страны. Иначе встает вопрос: почему же этот быстрый рост населения не имел места раньше, например, в XVI или XVII веке и не вызвал уже тогда развития капитализма? Эта теоретическая путаница приводит Гриневича к целому ряду ошибок и к чрезвычайно поверхностному подходу к явлениям экономики. Так, говоря о развитии сельского хозяйства Германии в начало XIX века, он сваливает в одну кучу и остатки феодальных отношений и зарождающиеся капиталистические отношения: для него оброки крепостных крестьян идентичны с капиталистической арендой (см. стр. 13), крупное сельское хозяйство вообще он отождествляет с капиталистическим хозяйством (стр. 14). Наконец, от него совершенно ускользнули специфические черты последней фазы развития капитализма—эпохи финансового, лучше сказать, монополистического капитала. Сущность империализма для него сводится, повидимому, к борьбе из-за рынков сырья (см. стр. 126) и только; поэтому для него время 1870 г. и до начала мировой войны представляет один период, характеризующийся одними и теми же общими чертами. Укажем еще, что в этой части совершенно почти отсутствуют указания на классовые взаимоотношения и классовую борьбу, совершенно не затрагивается диалектика изменения внутренних взаимоотношений этих классов как друг к другу, так и внутри каждого из них и связанные с этим процессы изменения организационно-хозяйственных форм капиталистического общества. Хотя Гриневич в предисловии обещал дать в своей работе „выявление внутренних процессов развития народного хозяйства", но приходится притти к заключению, что это обещание так и осталось не исполненным.

Вторая и третья части книги представляют больше интереса хотя бы потому, что они дают сводку нового материала. По содержанию же своему—это ряд отдельных очерков, охватывающих отдельные стороны народного хозяйства Германии за время войны и после нее, и то чисто внешне-описательного характера. Вторая часть, посвященная войне 1914—1918 гг., касается, во-первых, общей характеристики войны, как хозяйственной войны, затем продовольственного вопроса и системы принудительного хозяйства и военной мобилизации промышленности. И здесь социальный момент оставлен Гриневичем в стороне, дается только исторический очерк чисто фактического характера. Так, например, автор говорит: „В рамках нашей работы мы можем остановиться только на наиболее характерных и главнейших моментах государственного регулирования потребления наиболее важных предметов народного питания" (стр. 182). Но он дальше сам отмечает, что в этом регулировании (регулировании, напр., цен на мясные, на хлебные и корнеплодовые продукты), „как и в целом ряде других вопросов своей военно-хозяйственной политики, государство слишком считалось с интересами политически господствующих аграрных кругов" (стр. 190—191). Но этот чрезвычайно интересный вопрос остается совершенно неосвещенным в книге. Автор говорит только, как строилось это регулирование и продовольственного вопроса и регулирование производства (Zwangwirtschaft), но почему оно принимало те или иные формы, чьи интересы получали здесь свое осуществление и каким образом отзывалась эта система на положении различных классов,—у автора мы соответствующих ответов не найдем; беглых же намеков на этот очень существенный момент мы найдем у автора не мало.

Третья часть посвящена Версальскому договору и репарационному вопросу. Здесь мы находим, во-первых, изложение самого Версальского договора, с краткой историей его происхождения; автор тут же приводит иллюстрации влияния этого договора на народное хозяйство Германии, давая ряд интересных цифр, наглядно рисующих грабительский характер этого договора; а во-вторых, дает фактическую историю репарационного вопроса, доведенную до последнего времени, включая оккупацию Рура и кончая планом Дауэса.

Повторяем еще раз, что глубины теоретического исследования напрасно искать в книге Гриневича. Однако во многих местах сам автор говорит больше того, чем он хотел бы сказать. Восстановление хозяйственной жизни Европы автор мыслит только на основании капиталистических отношений (см. стр. 130), но при непременном условии осуществления полной „демократии" (стр. 385—386). Носителями этой демократии являются, между прочим,

и руководящие круги германского профессионального движения. Автор здесь, несомненно, пускает камень в огород Советской власти; во всяком случае, к сторонникам политики Советской власти его причислить нельзя. Но наряду с этим, останавливаясь на вопросе о заработной плате немецких рабочих, он высказывает, хотя и помимо своей воли, нечто совсем иное. Прежде всего ex officio он хвалит немецкий пролетариат, вернее, профсоюзную бюрократию, ее сознательность. „Сознание лежащей на них ответственности (во время войны. *В. П.*) за возможное понижение боеспособности страны и тех роковых последствий в случае военного поражения, которые в первую очередь падут на плечи трудящихся, побуждало профессиональные союзы рабочих добиваться необходимого повышения заработной платы, не прибегая к остановке предприятий" (курсив мой. *В.П.*) (стр. 290), т.-е. к забастовкам. Но в этом и заключался основной грех политики руководителей профдвижения, по своим объективным результатам сводившейся к предательству интересов рабочего класса. Ибо тот же Гриневич, страницей дальше, констатирует: „Эти данные (о числе конфликтов во время войны .*В. П.*) показывают, как эгоистическая политика предпринимателей, ухудшая с каждым годом войны жизненные условия рабочих, влекла за собою одновременно увеличение числа экономических столкновений" (стр. 291). Результат политики профсоюзных верхов при этих условиях мог быть только один. А именно, говоря словами Гриневича: „физическое истощение и голод, обострение классовых противоречий, особенно в крупных городах, где на фоне общего обнищания особенно резко бросалась в глаза вызывающая роскошь представителей новой, выросшей на военных прибылях, поставках и спекуляции буржуазии" (стр. 291). Не удивительно, что Гриневичу тут же приходится отметить рост революционного движения пролетариата, который выливался в самостоятельные, „дикие" выступления, помимо своих профсоюзов; т.-е., другими словами, из изложения самого же Гриневича вытекает, что подобная „демократическая" политика социал-демократических вождей сводится к защите существующих буржуазных отношений и острием своим направлена против пролетариата, и что в результате этого рабочему классу приходится искать иных путей для защиты своих классовых интересов.

В. Позняков.

Издатель: Государственное Изд-ство.

Под знаменем марксизма

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1924